

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ О НЕАПОЛЕ



АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
Неаполе

БАТЮШКОВ · ЩЕДРИН · КИПРЕНСКИЙ
БРЮЛЛОВЫ · ВЯЗЕМСКИЙ · ЖУКОВСКИЙ
СОЛОВЬЕВ · ПОГОДИН · АЙВАЗОВСКИЙ
БАРАТЫНСКИЙ · ЯКОВЛЕВ · ТУРГЕНЕВ
ГЕРЦЕН · АКСАКОВ · ЧИЧЕРИН · БУНИН
СУРИКОВ · НЕСТЕРОВ · ЧЕХОВ · ГЛАГОЛЬ
АННЕНСКИЙ · ЛУХМАНОВА · ШАЛЯПИН
РОЗАНОВ · ГУМИЛЕВ · ГОРЬКИЙ · ЛЕНИН
АНДРЕЕВ · ЛОПАТИН · ОСОРГИН · ГОГОЛЬ
ДОБУЖИНСКИЙ · МУРАТОВ · ВЕЙДЛЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

К21

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы "Культура России"

Художник ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

К21 Кара-Мурза Алексей Алексеевич

Знаменитые русские о Неаполе. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2015. — 516 с.

Жители Неаполя обожают миф о происхождении своего города: "Когда Бог раздавал земли, неаполитанцы опоздали и им ничего не досталось. Тогда Господь подарил им кусочек Рая". В божественное происхождение Неаполя и его окрестностей веришь, когда видишь неаполитанские грозы и сомневаешься, когда узнаешь плутоватых и азартных неаполитанцев. Веришь, когда местные рыбаки запросто вылавливают акул, и снова сомневаешься, когда от острого запаха раковин, лимонных корок и вина невыносимо болит голова. Для иностранных путешественников пышный и прекрасный Неаполь долго был пикантным дополнением к путешествию, но никак не целью. Лишь с XIX века сюда, в места dolce farniente («сладостного ничегонеделания»), потянулись художники, писатели, философы и историки. В книге Алексея Кара-Мурзы собраны уникальные материалы о пребывании в Неаполе, Сорренто, Каstellамаре, на острове Капри известных деятелей русской культуры и искусства XIX-XX вв. — Сильвестра Щедрина, Ивана Тургенева, Василия Розанова, Максима Горького, Николая Гумилева, Павла Муратова.

УДК 821.111.3

ББК 63.3(2)я48-7+63.3(4 Ита)-7

ISBN 978-5-98695-069-3

© Издательство Ольги Морозовой, 2015

© А. Кара-Мурза, 2015

© Д. Черногаев, оформление, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Русский Неаполь. Земной рай у подножия вулкана. 9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ НА БЕРЕГАХ НЕАПОЛИТАНСКОГО ЗАЛИВА

Константин Николаевич Батюшков.	27
Сильвестр Феофанович Щедрин	47
Орест Адамович Кипренский	66
Александр Павлович и Карл Павлович Брюлловы	77
Николай Васильевич Гоголь.	91
Василий Андреевич Жуковский	106
Петр Андреевич Вяземский	110
Михаил Петрович Погодин	114
Иван Константинович Айвазовский	121
Евгений Абрамович Баратынский	129
Владимир Дмитриевич Яковлев	145
Александр Иванович Герцен	159
Иван Сергеевич Тургенев	169
Иван Сергеевич Аксаков	178
Борис Николаевич Чичерин.	185

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Сергеевич Соловьев	191
Василий Иванович Суриков	199
Михаил Николаевич Нестеров	202
Иннокентий Федорович Анненский	224
Антон Павлович Чехов	231
Надежда Александровна Лухманова	236
Сергей Сергеевич Глаголь	238
Василий Васильевич Розанов	242
Николай Степанович Гумилев	250
Алексей Максимович Горький	253
Леонид Николаевич Андреев	293
Владимир Ильич Ленин	307
Герман Александрович Лопатин	317
Михаил Андреевич Осоргин	330
Павел Павлович Муратов	338
Мстислав Валерианович Добужинский	347
Иван Алексеевич Бунин	353
Федор Иванович Шаляпин	379
Владимир Васильевич Вейдле	395

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РУССКИЕ О НЕАПОЛЕ
И КАПРИ

407	ПРИЕЗД В НЕАПОЛЬ
423	ПАНОРАМА НЕАПОЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

433	УТРО В НЕАПОЛЕ
436	НЕАПОЛИТАНСКАЯ ЖИЗНЬ
448	НЕАПОЛИТАНЦЫ И НЕАПОЛИТАНКИ
456	ПРАЗДНИКИ В НЕАПОЛЕ
472	НЕАПОЛИТАНСКАЯ МУЗЫКА
474	НЕАПОЛИТАНСКАЯ ЛОТЕРЕЯ
477	НЕАПОЛЬ И РИМ
481	СУДЬБА НЕАПОЛЯ
492	ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕЗУВИЙ
525	ПОМПЕИ
549	ПОЕЗДКА НА КАПРИ
559	ЛАЗУРНЫЙ ГРОТ

Об авторе	575
-----------------	-----

РУССКИЙ НЕАПОЛЬ.
ЗЕМНОЙ РАЙ
У ПОДНОЖИЯ ВУЛКАНА

9

Vedi Napoli e poi muori
Итальянская поговорка

ИЗВЕСТНАЯ РУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА начала прошлого века Надежда Александровна Лухманова, много путешествовавшая по Европе, лишь об одном увиденном ею городе написала целую книгу — надо заметить, блестящую. Этим поразившим ее городом был Неаполь: “Неаполь так отличается от всех виденных мною городов, что, мне кажется, там особый мир... Тут соединение комфорта и совершенной простоты. Живешь как в большом городе и между тем — среди природы... Нигде не чувствуешь себя, как здесь, царем природы, человеком, которому подвластны и море, и земля, и горы; нигде не чувствуешь себя таким ничтожеством, робким маленьким созданием Божьим, которому нужна защита и покровительство...”

10

Иностранцы путешественники, в том числе и русские, не сразу оценили смысл и самостоятельное значение Неаполя. Для них он очень долго оставался лишь приятным легким десертом, неким необязательным, хотя и пикантным, дополнением к уже, казалось, освоенным вершинам итальянской культуры. Действительно, к Неаполю вряд ли приложима идея “паломничества”, столь характерная для поездок в Рим, Флоренцию, Венецию, Равенну. “*Vedi Napoli e poi muori*” (“Посмотри Неаполь — и умри”) — популярное изречение, неизменно присутствующее во всех путевых заметках, воспринимается скорее как удовлетворенная итоговая констатация пресыщенного гурмана, уже отведавшего основные блюда местной кухни и заказавшего напоследок рюмку граппы. Неаполь почти никогда не воспринимался как цель итальянского путешествия; как правило, он — лишь его конечная точка, даже если круговой билет по стране — “*circolare*” — затем снова, уже перед окончательным отъездом из Италии, приводил путешественника в Венецию, Милан или Геную.

I

Как самый южный пункт итальянского путешествия (еще южнее, к Бари или Сицилии, доезжали немногие), Неаполь и его окрестности поражали пришельцев с

севера прежде всего райской щедростью тропической природы, роскошью и интенсивностью ее порождений. На художника Сильвестра Щедрина незабываемое впечатление произвел размер рябиновых ягод в Сорренто: “Дерево точно как и наше, а ягоды — величиной с большой грецкий орех!” Николай Гоголь, в свое время воодушевленный римским воздухом, солнцем, небом, впервые побывав в Неаполе, был восхищен еще более: “Небо здесь светло-голубого цвета, но такого яркого, что нельзя найти краски, чтобы нарисовать его. Свет от солнца необыкновенный”. Историк Михаил Погодин изумился обилию и разнообразию цветов на неаполитанской Villa Reale: “Какие, какие цветники!” Там же, на Villa Reale, поэт Евгений Баратынский был очарован сочной зеленью неаполитанской листвы: “Лист здешних деревьев живописует все оттенки счастья!” Ему вторит другой поэт — Иннокентий Анненский: “Я не думал, что вид воды может доставить столько разнообразных и прекрасных впечатлений... Я таких деревьев, такой зелени никогда не видал... Но особенно хорош туман, не тот противный туман, среди которого мы натываемся на фонари и тумбы, а теплый, романтический туман, то голубой, то серебряный...” А художника Мстислава Добужинского застала врасплох огромной силы неаполитанская гроза, и он так и застыл посередине набережной, “не в силах оторваться от феерического зрелища летающих лент розовых молний в гигантской пепельно-лиловой туче...”.

11

Еще в начале XIX в. Константин Батюшков поразился красоте и некоему скрытому смыслу неаполитанского звездного неба: “Ночью небо покрывается удивительным сиянием... Млечный Путь здесь в ином виде, несравненно яснее. В стороне Рима из моря выходит страшная комета, о которой мы мало заботимся...” Спустя полвека загадочный небосвод — на этот раз над Сорренто — увлек Ивана Тургенева: “Луна светила невероятно ярко; большие лучистые звезды так и шевелились...” Наконец, уже в 1900-е, предреволюционные годы “каприйский мечтатель” Максим Горький любил по ночам водить своих гостей на вершины Monte Tiberio или Monte Solaro, чтобы наблюдать звездный небосвод над Капри. То были в большинстве своем русские эмигранты (среди них, как минимум, три будущих большевистских наркома — Луначарский, Красин, Дзержинский), не слишком религиозные, но социально нетерпеливые и потому предельно чувствительные к природным предзнаменованиям. Особый восторг эти русские испытывали в моменты, когда огромное ночное небо прорезали падающие звезды и хвостатые кометы, почему-то особенно яркие и частые в начале XX столетия. Впереди грезилась какая-то новая эра, и не было уже границ футуристическим мечтам и фантазиям: “Со временем мы, люди, будем заглядывать за пределы нашей атмосферы и смотреть на кометы вблизи. Будем мы также ходить по дну моря, среди водорослей, скал и погибших ко-

раблей — такие легкие прогулки по праздникам...” (из письма Горького Л. Андрееву, сентябрь 1907 г.).

Сила неаполитанских природных эффектов была столь впечатляюща, что даже писатель-философ Василий Розанов, на родине вроде бы не замеченный в склонности к революционаризму и мегаломании, восхитившись на Капри Лазурным гротом, возмечтал о строительстве нового, искусственного грота-дворца колоссальных объемов: “Едва выплыв назад, я стал думать, что, собственно, ничего не стоит при теперешних средствах техники повторить это чудо природы в огромных размерах. Природа показала путь, а человек может пойти за нею и создать не миниатюрно-прекрасное, но огромно-волшебное... Порох может вырвать из груди Капри не грот, а зал, систему залов, дворец. Вырвать полгруды из камня и вырвать другую половину ее из моря. Все будет то же! Сохранится синева стен и потолка; а главное — эта же вода, лазурная уже снаружи, вокруг острова, будет и в его внутренних залах. До чего просто, и отчего никто не попытается?!”

II

В отличие от Рима, Флоренции, Венеции, Пизы, Сьены, в Неаполе сегодня трудно представить себе тот архитектурный ландшафт, каким он увиделся нашим соотечественникам полтора столетия — сто лет тому назад. Это

неизбежный удел всех крупных приморских городов; современная портовая инфраструктура переименовала неаполитанскую гавань до неузнаваемости. Давно уже нет набережных Кьяйя и Санта-Лючия, которые так любили описывать Батюшков, Баратынский, Муратов, Добужинский, которые так удавались кисти Щедрина, пожившего начало целой художественной школе.

Но главное: крепко заснул после последнего извержения 1944 г. Везувий — основной (пренсипальный, как говаривали на западный манер в позапрошлом веке) элемент неаполитанского пейзажа. А ведь вулкан бодрствовал весь XIX и первую половину XX века, и многие персонажи данной книги (Батюшков, Щедрин, Гоголь, Герцен, Горький, Осоргин) встречали совсем иной Везувий, нежели мы, — Везувий активный, тревожный, будоражащий воображение. Степень активности вулкана была разной, но в любом случае она была несравнима с теперешней: “Везувий весь в огне по ночам” (Батюшков, 1819); “Перемена форм дыма от непрерывного извержения, равно и перемена освещения и красок — зрелище ни с чем не сравненное...” (Щедрин, 1828); “Огромнейший фейерверк, который не перестает ни на минуту. Давно уже он не выбрасывал столько огня и дыма. Громы, выстрелы и летящие из глубины его раскаленные красные камни, все это — прелесть!” (Гоголь, 1838); “Вдруг вся громада Везувия страшно дрогнула, и широкий сноп ослепительного огня вырвался из жерла... Багровые шары высоко взлетели к небу посреди

огненного дождя пепла” (Яковлев, 1847); “По мере того как садилось солнце, дым над жерлом Везувия краснел и струйка каленой и растопленной лавы медленно стекала по горе” (Герцен, 1848).

Интеллектуальная впечатлительность приезжих питалась не только мерцающей по ночам лавой Везувия, но и мертвыми остовами погибших под пеплом Помпей и Геркуланума. Рядом были и другие сильные раздражители: беспокойный вулканический остров Искья; крутые скалы Мизенского мыса и полумифологической Капреи (Капри); античные развалины в Байях, Поццуоли, на соррентийском мысу; дымящиеся сольфатары Флегрейских полей; легендарные озера Лукрино и Аверно, где, по словам Вергилия, находился вход в ад, — все вместе это порождало особый культурно-психологический настрой, стимулирующий тягу к творческим экспериментам.

Не случайно именно неаполитанские берега побуждали русских художников к масштабным историко-аллегорическим проектам. Уже немолодой Орест Кипренский сделал в Неаполе свою последнюю большую ставку: картина “Сивилла Тибуртинская” — о древней пророчице, предсказавшей цезарю Августу пришествие мессии. К несчастью для великого портретиста, искушение новой художественной формой не оправдалось — неаполитанская “Сивилла” обернулась в итоге самой большой неудачей художника. Зато в полной мере оправдался риск Карла Брюллова: замысленный на бе-

регах Неаполитанского залива (хотя и написанный потом в Риме) “Последний день Помпеи” стал всеевропейским триумфом русской исторической живописи.

III

16

Надежда Лухманова сказала как-то о неаполитанцах: “Смех и слезы, религиозный экстаз и самый грубый реализм, мольба и злобная вспышка так мало разграничены у итальянцев, что даже не знаешь, где кончается одно и начинается другое”. Нечто подобное писал позднее Николай Бердяев о противоречивости (“антиномичности”) “русской души”. А в статьях и письмах Герцена можно найти просто текстологические совпадения в характеристиках и русских, и неаполитанцев: “Не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта... лишнее требуем, лишнее жертвуем... возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору...”

Любопытно, что, сами того не замечая, многие русские гости произвольно начинают сравнивать неаполитанский берег с родной Россией. Гоголь любовно называет Неаполь Семереньками; Баратынский уподобляет нищих неаполитанских лаззарони русским блаженным... Но есть и совсем очевидные параллели: колоннаду неаполитанского собора San Francesco di Paolo редко кто из русских наблюдателей не сравнил с Казан-

ским собором в Санкт-Петербурге. Ну а уж кони Клодта перед воротами Palazzo Reale — один к одному такие же, как и на Аничковом мосту...

Если даже повседневный Неаполь своим “неудержимым натиском жизни” (выражение П. Муратова) неминуемо вовлекал близких по духу русских в атмосферу всеобщего возбуждения, то что же говорить о самих неаполитанских праздниках! В “Письмах из Италии” Сильвестра Щедрина, педантично записывавшего свои неаполитанские впечатления, то и дело встречаются фразы такого типа: “Весь город как будто сошел с ума; везде стреляли из пистолетов, пускали разные фейерверки; везде народ прискакивал от шутих, пускаемых по земле...”

17

Очень схожи сделанные почти через столетие зарисовки Павла Муратова: “Живя в Неаполе, начинаешь понимать, какое непреодолимое отвращение от всего будничного, упорядоченного и правильного заложено в этом народе... Когда нет более значительных ресурсов веселья, он в воскресенье вечером раскладывает на перекрестке костер... Чтобы вышло как можно шумнее, туда бросают хлопушки... Зрелище получается действительно очень красивое, когда смотришь с какого-нибудь высокого места на огромный город и видишь вспыхивающие в синеве вечера бесчисленные костры, выбрасывающие высоко оранжевый дым и золотые искры”. И далее — явная параллель с родным, отечественным отношением к жизни: “При такой врожден-

ной любви к беспорядку естественно, что этот народ с трудом поддается основанной на законе гражданственности...”

18

Максим Горький, певец “русского босячества”, искренно полюбил веселых и беззаботных неаполитанских лазарони. Он вообще ценил “живое творчество масс” и полагал умение сделать из жизни праздник одним из главных достоинств человека. В каком-то смысле понятия “революция”, “социализм” были для Горького синонимами “праздника”. Вот как он описывал одно из спонтанно родившихся, а потому особо для него ценных каприйских веселий: “Собственно говоря, праздника никакого не полагалось по святцам, но была хорошая погода, и люди сочли это достаточно серьезной причиной для безделья и радости. Какой они устроили фейерверк изумительный!.. На горе, темной ночью, огонь играл целые симфонии. Целый день гремела музыка, народишко шлялся по острову и орал, как пьяный...” И тут же делает абсолютно логичный для себя вывод: “Итальянцы будут хорошими социалистами, мне кажется”.

Владислав Ходасевич, в середине 1920-х проживший несколько месяцев в Италии рядом с Горьким, стараясь проникнуть в психологию “первого пролетарского писателя”, вспоминал, что Горький как-то по-особому ревниво относился к итальянским празднествам с их музыкой и трескотней фейерверков. По вечерам он выходил на обращенную в сторону Неаполя террасу соррентийской виллы “Сорито” и созывал всех смотреть,

как вокруг залива, то там, то здесь, взлетают, разрываясь, ракеты и римские свечи: “Горький волновался, потирал руки, покрикивал: «Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!»”

Ходасевич обратил внимание, что Горькому нравились решительно все люди, “вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, — вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами”: “Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих, а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики» имели для него какое-то злое и радостное символическое значение...”

19

Буйная и непокорная природа, легендарная история Неаполитанского залива делали и для русских праздничное возбуждение непременно элементом повседневности, провоцировали на опасные приключения. Яркий пример — “экстремальные рыбалки”, любимая забава русских на Капри. Недаром самыми большими их друзьями среди островитян были рыбаки из семьи

Спадаро, об отчаянной смелости которых ходили легенды и чьи фотографии даже продавались в сувенирных лавках по всему побережью. Во время таких рыбалок считалось особой удачей и доблестью поймать на живца акулу, подтянуть ее к борту, оглушить веслом и втащить в лодку — в любви к этому спорту были замечены многие русские, но особо отличались, конечно, волжане: Горький, Шаляпин, Ленин. Писатель Михаил Коцюбинский описал одну из таких русско-каприйских рыбалок: “Поймано много рыбы, одних акул штук пятнадцать—двадцать (их тут едят)... Наконец, вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместились бы две человеческие головы, и светит, и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным...”

Или другой пример “русского экстрима” — рискованные походы на лодках в уже упомянутый каприйский Grotta Azzurra, проникнуть в который через маленький проем в скале можно лишь при полном штиле. Между тем тридцатилетний Александр Герцен, например, вместе с молодым генералом-декабристом Алексеем Тучковым рискнули плыть к гроту в непогоду, взяли к тому же с собой женщин (хотя и не из робких) — и боролись с волнами шесть часов!..

Русский журналист-эмигрант Михаил Осоргин, впоследствии один из классиков русского литературного

зарубежья, вообще чудом не погиб, выбираясь из грота при сильной волне. А вот легендарному революционеру-народнику Герману Лопатину, несколько раз бежавшему с русской каторги, побывавшему в жизни во всех мыслимых и немыслимых переделках, увы, не повезло. Всякий раз, бывая на Капри, он стремился попасть в Лазурный грот, однако безуспешно, и эти неудачи, судя по позднейшим письмам, очень долго бередили его гордость и самолюбие.

IV

В первой трети XX в. берега неаполитанского залива дважды сыграли исключительную роль в российской культурно-политической жизни. В самом начале столетия небольшой островок Капри стал подлинным интеллектуальным центром русского большевизма во главе с Александром Богдановым. Этот по-своему замечательный человек, философ и социальный мыслитель, долгое время конкурировал с Лениным за лидерство в партии — многие современные исследователи не без оснований называют его одним из основоположников современной теории управления. Группой Богданова вынашивались на Капри планы не верхушечно-заговорщицкого, а всеобъемлющего, тектонического по масштабу социального переворота, освященного не сектантской верой в вождя и в прямое насилие, а новой

“революционной религией”. Увлеченные идеями социальной евгеники о выведении “новой породы человека”, Богданов и близкие к нему Луначарский и Горький организовали в 1909 г. на Капри “партийную школу”, призванную готовить кадры для будущего переворота. Всю жизнь склонный к социальному экспериментаторству, Богданов и погиб в 1928 г. во время неудачного медицинского опыта на самом себе.

Второй раз неаполитанский берег стал одним из культурных центров уже ранней советской социальности — речь, разумеется, идет о “горьковском Сорренто”. Горький уехал из Советской России в Италию не как оппонент Сталина (в середине 20-х годов только набирающего силу), а как личный неприятель пока еще всемогущего Зиновьева. Впоследствии Сталин и Горький станут ближайшими, хотя и негласными, союзниками: некоторые пронизательные аналитики режима будут даже говорить о “дуумвирате Сталина — Горького” — двоевластии политика и литератора. Романтик рабочего активизма, Горький по сути дела стал “теньвым идеологом” и форсированной индустриализации, и насильственного раскрестьянивания.

В победившем в России большевистском строе было как бы несколько символических центров. Кремль, как воплощенный символ абсолютной власти... ГУЛАГ, как оборотная сторона режима, черная дыра, куда, как в воронку, засасывались истинные и мнимые враги ком-

мунистической стройки... Но был и еще один, третий центр раннего советизма — “горьковский Сорренто”.

Кто только из советской литературно-художественной элиты не перебивал у Горького на вилле “Сорито”! Мейерхольд, Прокофьев, Коненков, А. Н. Толстой, Катаев, Леонов, Асеев, Форш, Коган, Уткин, Жаров, Безыменский, Вс. Иванов, Бабель, Гладков, Маршак... Это были люди разной степени таланта, личной порядочности и политического конформизма. Но всех их советский режим без особых проволочек выпускал в Италию, “к Горькому”, хорошо зная, что при всем показном фронтдерстве для интеллигента нет ничего слаще, чем доверие власти. Сталин умел быть по-кавказски щедрым (“других писателей у нас нет...”) и был достаточно умен, чтобы в годы своего восхождения к высшей власти создать богемно-интеллектуальную “отдушину”, вполне безопасную и крайне полезную для себя. Побывать в Сорренто у Горького означало пройти обряд инициации, посвящения в клан адептов “соцреализма”, получить официальный сертификат “инженера человеческих душ”. Горьковский Сорренто в течение нескольких лет оставался “положительным полюсом” раннего советизма, символическим оппонентом уже набравшего силу ГУЛАГа. Он был своеобразным “раем у подножия вулкана” — уже не природного, а социального Везувия, в котором копилась огненная лава репрессий, извергшаяся затем на головы граждан страны-полигона.

Со временем отпала нужда и в “горьковском Сорренто”, и в самом живом Горьком. “Vedi Napoli e poi muori” — “Посмотри Неаполь и умри”... То, что проделал кремлевский Мефистофель с душой писателя, романтического певца Италии и русско-неаполитанского “босячества”, оказалось действительно “посильнее, чем «Фауст» Гете”...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ
НА БЕРЕГАХ
НЕАПОЛИТАНСКОГО
ЗАЛИВА

КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ
БАТЮШКОВ

27

КОНСТАНТИН Николаевич Батюшков (29.05.1787, Вологда — 19.07.1855, Вологда) — поэт. По мнению биографов Батюшкова, он “в крови носил предрасположение к психозу”, ибо среди его родных многие страдали психическими расстройствами (в частности, мать вскоре после рождения Константина сошла с ума и была разлучена с семьей).

В 1797–1802 гг. Батюшков учился в частных петербургских пансионах, где получил гуманитарное образование, изучил французский, итальянский, латинский языки. Большую роль в воспитании будущего поэта сыграл его двоюродный дядя, известный писатель и государственный деятель Михаил Никитич Муравьев — попечитель Московского университета, товарищ министра просвещения; под его наставничеством Батюшков

увлекся античной поэзией и литературой итальянского Возрождения — Данте, Петраркой, Боккаччо, Ариосто, Тассо. Поступив на службу (по ведомству народного просвещения), Батюшков стал завсегдатаем литературных салонов; сблизился с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, А. Н. Олениным, Н. И. Гнедичем, П. А. Вяземским. Первые поэтические опыты Батюшкова имели успех у читающей публики.

Общее патриотическое движение, возникшее после поражения под Аустерлицем, увлекло Батюшкова, и в 1807 г., когда началась вторая война с Наполеоном, он поступил на военную службу ополченцем, участвовал в прусском походе (в сражении под Гейльсбергом был тяжело ранен — пуля задела спинной мозг). Участник Отечественной войны и заграничного похода 1813–1814 гг.

В 1816 г. неудачи по службе, любовные разочарования и эпизодические вспышки психического расстройства, сопровождавшиеся галлюцинациями, заставили Батюшкова выйти в отставку и уединиться в деревне. В эти месяцы он продолжает писать стихи, занимается переводами с итальянского, мечтает о поездке в Италию. Весной 1817 г. Батюшков писал своему другу Н. И. Гнедичу:

«Под небом Италии моей...», именно «моей». У Монти, у Петрарки я это живьем взял... Вообще, итальянцы, говоря об Италии, прибавляют «моя». Они любят ее, как любовницу. Если это ошибка против языка, то беру на совесть».

В 1818 г. указом императора Александра I Батюшков был возвращен на службу, получил чин надворного советника и был причислен к русской дипломатической миссии в Неаполе — в те годы столицы Королевства Обеих Сицилий.

Батюшков выехал в Неаполь в ноябре 1818 г. через Варшаву и Вену. В начале 1819 г. застал карнавалы в Венеции, потом в Риме. Исполняя поручение президента Академии художеств А. Н. Оленина, Батюшков взял в Риме покровительство над русскими стажерами, командированными в Италию «Обществом поощрения художников». В феврале 1819 г. в письме Оленину Батюшков выступил с проектом основания в Италии русской художественной Академии:

«Виделся с художниками... Воспитанники Академии ведут себя отлично хорошо и меня, кажется, полюбили... Скажу Вам решительно, что плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут содержать себя на приличной ноге. Здесь лакей, камердинер получает более. Художник не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна. Им не на что купить гипсу и нечем платить за натуру и модели. Дороговизна ужасная! Англичане наводнили Тоскану, Рим и Неаполь; в последнем еще дороже. Но и здесь <в Риме> втрое дороже нашего, если живешь в трактире, а домом едва ли не в полтора или два раза... Число четырех пенсионеров столь мало, что нельзя и ожидать Академии великих успехов от четырех молодых людей. Болезни, обстоятельства, тысячи причин могут



совратить с пути или похитить от художеств: что я говорю, есть суцая правда. Желательно иметь более десяти в Риме. Из десяти два, три могут удаться. Россия имеет нужду в хороших артистах, нужду необходимую, особенно в архитекторах, и я от чистого сердца желаю, чтобы казна не пожалела денег”.

32

В конце февраля 1819 г. Батюшков приезжает в столицу Королевства Обеих Сицилий и приступает к работе в русской дипломатической миссии. В Неаполе в то время было много русских: сюда приехал путешествовавший по Европе с большой свитой двадцатилетний великий князь Михаил Павлович — младший сын Павла I и брат императора Александра I.

В Неаполе Батюшков поселился на набережной Санта-Лючия и о своих первых впечатлениях о городе написал другу юности А. И. Тургеневу:

“Точно так, как Тиверий <римский император>, которого остров <Капри> пред моим окном, не знал, с чего начать послание свое к сенату, — так я, в волнении различных чувств, посреди забот и рассеяния, посреди визитов и счетов, при беспрерывном крике народа, покрывающего набережную, при звуке цепей преступников, при пении полишинелей, лазаронов <неаполитанских нищих> и прачек, не знаю, не умею, с чего начать Вам мое письмо... Каждый день народ волнами притекает в обширный театр восхищаться музыкой Россини и усладительным пением своих сирен, между тем как Везувий, наш сосед, готовится к извержению; говорят, в Портичи и в окрест-

ных местах колодцы начинают высыхать: знак, по словам наблюдателей, что вулкан станет работать...”

Сопровождая великого князя, Батюшков объездил берега Неаполитанского залива:

“Четыре недели сряду посвятил на обозрение окрестностей Неаполя, любопытных во всех отношениях, единственных, несравненных. Четыре раза был в Помпеях и два раза на Везувии: два места, которые заслуживают внимание самого нелюбопытного человека...”

(Письмо Н. М. Карамзину.)

“Два раза лазил на Везувий и все камни знаю наизусть в Помпеях. Чудесное, неизъяснимое зрелище, красноречивый прах!”

(Письмо Н. И. Гнедичу.)

Во время этих поездок Батюшков особенно сблизился с сопровождавшим Михаила Павловича в заграничном путешествии бывшим наставником Александра I, швейцарским ученым и просветителем Фридрихом Цезарем Лагарпом:

“В бытность великого князя я познакомился с Лагарпом, который бодр телом и духом <в 1819 г. Лагарпу было 65 лет. — А. К. >. Он всходил на Везувий без помощи проводника и, к стыду нашему, опередил молодежь...”

(Письмо А. И. Тургеневу 24.03.1819.)

Немало русских осталось в Неаполе и после отъезда Михаила Павловича. Празднества в городе продолжались —

33

на этот раз по случаю прибытия австрийского императора Франца I:

“Русских туча. Приезд императора был поводом к балам, концертам и гуляньям. Мы часто в мундиры облачаемся”

(Письмо Н. И. Гнедичу, май 1819 г.)

34

Среди крупных русских вельмож, с которыми ему приходилось тогда общаться в Неаполе почти ежедневно, Батюшков особенно часто называет графа Юрия Александровича Головкина (русского посла в Вене); генерал-фельдмаршала, князя Михаила Семеновича Воронцова; генерала от инфантерии, московского генерал-губернатора Алексея Григорьевича Щербатова; генерала императорской свиты, князя Александра Сергеевича Меншикова... Между тем основной мотив писем Батюшкова в Россию того времени — контраст между чудесной природой Неаполя, всеобщим весельем вокруг и собственным болезненно-меланхолическим настроением:

“О Неаполе говорит Тасс <Торквато Тассо> в письме к какому-то кардиналу, что Неаполь ничего, кроме любезного и веселого, не производит. Не всегда весело! Не могу привыкнуть к шуму на улице, к уединению в комнате. Днем весело бродить по набережной, осененной помаранцами в цвету, но ввечеру не худо посидеть с друзьями у доброго огня и говорить все, что на сердце. В некоторые лета это может быть нуждою для образованного, мыслящего существа... Здесь весна в полном цвете: миндальное дерево покрыто цветами, розы отцветают

и апельсины зрелые падают с ветвей на землю, усеянную цветами; но я принимаю слабое участие в пирах людей и природы: живу с книгами и думаю о Вас”.

(Письмо А. И. Тургеневу 24.03.1819.)

“Из моих окон вид истинно чудесный: море, усеянное островами. Он рассеивает мою грусть, ибо мне с приездом очень грустно. Говорят, что все иностранцы первые дни здесь грустят и скучают”

(Письмо старшей сестре Александре 1.04.1819.)

35

“Неаполь — истинно очаровательный по местоположению своему и совершенно отличный от городов Верхней Италии. Весь город на улице, шум ужасный, волны народа... Я рад глядеть на людей; дома, особливо одному, по вечерам грустно и скучно. Одно удовольствие — прогулка и этот Везувий, который весь в огне по ночам...”

(Письмо Н. И. Гнедичу, май 1819 г.)

“В Неаполе, говорят, весело. Я давно веселья не знаю и в глаза. Одно удовольствие — книги. Но чтение меня утомляет, я уже не имею того внимания, с каким в старину мог читать даже и глупости. Осталась во мне еще какая-то жажда все знать, жажда, которую не в силах утолить. Все меня мучит, даже мое закоренелое невежество. Сколько времени потерянного! Но вечера здесь для меня очень бывают скучны. Общество здесь не по мне вовсе. Не с кем обменяться мыслями, не только чувствами. Ино-

странцы говорят о Везувии, здешние жители — о Сан-Карло и Корсо. Здесь не любят с жаром искусства, науки, но все веселы, бегают, кричат, поют. И это имеет свою прелесть. Всякий счастлив по-своему, и всякий до черного дня наслаждается: они правы”.

(Письмо В. А. Жуковскому 1.08.1819.)

36

После окончательного разъезда русских из Неаполя Батюшков снимает новую квартиру на Санта-Лючия — меблированные комнаты у француженки Сент-Анж (одно время в этой же квартире вместе с Батюшковым проживал приехавший из Рима пейзажист Сильвестр Щедрин):

“Нанял прекрасные комнаты у добрых людей, французов. С мебелью и со всем, что нужно, в виду моря, но на таком месте шумном, что насилу могу спать. Говорят, что к шуму можно приучиться, поверю, когда привыкну...”; “До сих пор не могу привыкнуть и к здешнему шуму, тем более что я живу в стороне города самой шумной, на краю S. Lucia у окон моих вечная ярмонка, стук, и вопли, и крики, а в полдень (когда все улицы здесь пусты, как у нас в полночь) плескание волн и ветер. Напротив меня множество трактиров и купанья морские. На улице едят и пьют так, как у вас на Крестовском, с той только разницею, что если сложить шум всего Петербурга с шумом всей Москвы, то и тут еще это все ничего в сравнении со здешним...”

(Письмо Е. Ф. Муравьевой.)



Панорама Неаполя (гравюра начала XIX в.).

Здоровье Батюшкова в Неаполе, однако, оставляет желать лучшего:

“Для императора <Франца I> здесь даны были великолепные праздники. На одном из них я великолепно простудился... Страдаю две недели простудой и сижу дома... Надеюсь, что лето избавит меня от этой простуды, а бани теплые в Искии с купаньем в морской воде на прохладном берегу Каstellамаре укрепят меня немного”; “Между тем как Неаполь беспрестанно пустеет, иностранцы разъезжаются, и солнце становится нестерпимо, я хвораю, любезная тетюшка; три недели сидел между четырех стен с раздутым горлом и имел время думать о Вас”.

(Письмо Е. Ф. Муравьевой.)

Сталкивается Батюшков и с материальными проблемами, о которых пишет сестре Александре, настойчиво напоминая о необходимости регулярной присылки денег из России:

38

“Теперь начинаю помышлять о моих финансах... Здесь не знаю, что прожить буду, но менее десяти тысяч на наши деньги невозможно. Жизнь дешева, нельзя жаловаться. Прекрасный обед в трактире лучшем мы платим от двух до трех рублей, но издержки непредвиденные и экипаж очень дорого обходятся. Здесь иностранцев каждый долгом поставляет обсчитать, особенно на большой дороге. Как бы то ни было, надеюсь с помощью Божией прожить без долгов и не нуждаясь; желаю только маленькие доходы мои получать вовремя...”

Летом 1819 г. русское правительство назначило в Неаполь нового посланника — графа Густава Оттовича Штакельберга. Новый посол, нанявший для русского представительства большие апартаменты на набережной Киаия, поначалу благоволил к Батюшкову и даже позволил ему уехать на несколько недель подлечиться на близкий к Неаполю остров Искья, славящийся с античных времен своими термальными источниками. С Искьи Батюшков писал в Россию В. А. Жуковскому:

“Я не в Неаполе, а на острове Искья, в виду Неаполя; купаюсь в минеральных водах, которые сильнее Липецких; пью минеральные воды, дышу вулканическим воздухом, питаюсь смоквами, пекусь на солнце, прогуливаюсь под виноградными аллеями (или омеками) при веянии афри-

канского ветра и, что всего лучше, наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире: предо мною в отдалении Сорренто — колыбель того человека <Т. Тассо. — А.К.>, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни; потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные замками; потом Кумы, где странствовал Эней, или Вергилий; Байя, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Поциуоли и в конце горизонта — гряды гор, отделяющих Кампанию от Абруццо и Апулии. Этим не ограничится вид с моей террасы: если обращу взоры к стороне северной, то увижу Гаэту, вершины Террачины и весь берег, протягивающийся к Риму и исчезающий в синеве Тирренского моря. С гор сего острова предо мною, как на ладони, остров Прочида; к югу — Капри, где жил злой Тиверий... Ночью небо покрывается удивительным сиянием; Млечный Путь здесь в ином виде, несравненно яснее. В стороне Рима из моря выходит страшная комета, о которой мы мало заботимся. Такие картины пристыдили бы твое воображение. Природа — великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастью, никогда не найду сил выразить то, что чувствую: для этого нужен Ваш талант... Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов... Италия мне не помогает: здесь умираю от холоду, что же со мной будет на севере? Не смею и думать о возвращении. По приезде моем жарко принялся за язык италиянский, на котором очень трудно говорить с некото-

39

рою приятностию и правильностию нам, иностранцам. Но это для меня было бы не бесполезно, почти необходимо во всех отношениях; я хочу короче познакомиться с этой землею, которая для меня во всех отношениях становится час от часу любопытнее. Для самой пользы службы надобно узнать язык земли, в которой живешь. Вот почему все внимание устремил на язык италийский и, верно, добьюсь если не говорить, то по крайней мере писать на нем. Между тем, чтобы не вовсе забыть своего... я пишу мои записки о древностях окрестностей Неаполя, которые прочитаем когда-нибудь вместе... Когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потерян. Итак, все дни мои заняты совершенно. В обществе живу мало, даже мало в него заглядываю, кроме того, которое обязан видеть. Театр для меня не существует, и я в Неаполе не сделался неаполитанцем: вот моя история, милый друг... Здесь, на чужбине, надобно иметь некоторую силу душевную, чтобы не унывать в совершенном одиночестве. Друзей дает случай, их дает время. Таких, какие у меня на севере, не найду, не наживу здесь. Впрочем, это и лучше!"

По возвращении с Искьи Батюшков писал в Россию:

"О себе Вам скажу, почтенная тетушка, что я возвратился из Искьи в Неаполь. Здоровье мое поправилось после минеральных бань, и желаю только, чтобы это продолжалось. Я уже писал к Вам о прибытии нашего нового министра, который ко мне довольно благосклонен и хорошо расположен, по-видимому. Я, с моей стороны, ничего

не хочу упустить, чтобы заслужить его уважение, для меня лестное. Теперь за отсутствием моего товарища он иногда заставляет меня работать. Впрочем, Неаполь, к которому я мало-помалу привыкаю, точно такой, каким я его оставил. Еще балы не начались, и даже театры по случаю поста в память св. Януария были заперты. Их заменили концерты, которые не всегда удачны. Поверите ли, что здесь, в отечестве музыки, перевелись хорошие голоса..."

(Письмо Е. Ф. Муравьевой, сентябрь 1819 г.)

"Недавно начались оперы, и в Сан-Карле кричат по-прежнему: кричат, ибо здесь давно перестали петь. Везувий по ночам выбрасывает пламя, и я собираюсь прислать Вам несколько портретов этого проказника. Мы ожидаем тучу англичан из Северной Италии и из Альбиона".

(Письмо А. И. Тургеневу 3.10.1819.)

Стараясь ободрить пребывающего в глубокой меланхолии Батюшкова (а возможно, и подвигнуть его на новое сочинительство), всегда благоволивший к поэту Н. М. Карамзин писал в Неаполь:

"Зрейте, укрепляйтесь чувством, которое выше разума: оно есть душа души — светит и греет в самую глубокую осень жизни. Пишите, стихами ли, прозою ль, только с чувством: все будет ново и сильно. Надеюсь, что теперь уже замолкли Ваши жалобы на здоровье, что оно уже

цветет и плодом будет милое дитя с венком лавровым для родителя: поэма, какой не бывало на святой Руси! Так ли, мой добрый поэт? Говорю с улыбкой, но без шутки. Сохрани Вас Бог еще хвалить лень, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мне Батюшкова, чтоб я видел его, как в зеркале, со всеми природными красотами души его, в целом, не в отрывках, чтобы потомство узнало Вас, как я Вас знаю, и полюбило Вас, как я Вас люблю. В таком случае соглашаюсь долго, долго ждать ответа на это письмо. Спрошу: что делает Батюшков? Зачем не пишет ко мне из Неаполя? И если невидимый гений шепнет мне на ухо: Батюшков трудится над чем-то бессмертным, то скажу: пусть его молчит с друзьями, лишь бы говорил с веками!"

Между тем известны лишь два стихотворных фрагмента, сочиненных Батюшковым на берегах Неаполитанского залива. Один из них написан во время путешествия к античным развалинам в Байи (недалеко от Неаполя) в мае 1819 г.:

*Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебя багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где не жились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.*

Другое стихотворение, написанное Батюшковым в Неаполе летом 1819 г., является вольным переложением одной из песен из “Странствий Чайльд-Гарольда” Байрона:

*Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них — не знаю.*

Работе Батюшкова в Неаполе мешали не только болезни, но и внешние обстоятельства. Весна и лето 1820 г. были в Неаполе необычайно жаркими, даже по местным меркам. Батюшков писал Е. Ф. Муравьевой, что его здоровье “от несносных жаров очень расстроилось”, что “такого жаркого лета здесь еще не видали”, что “в течение последних месяцев почти не было дождя” и что вскоре он “отъезжает в Кастель-Амару, за город, куда от зноя все бегут”. Но в июле 1820 г. в Неаполе вспыхнули массовые волнения; по решению Европейского конгресса в Лайбахе против восставших неаполитанцев были посланы австрийские войска. Ухудшились и отношения Батюшко-

ва с начальством: потомственный дипломат, выходец из старинного лифляндского рода, граф Штакельберг был суровым и педантичным начальником, требовавшим от подчиненных беспрекословного повиновения. Самолюбие Батюшкова, хотя он и не слишком усердствовал на службе, несомненно, страдало: по-видимому, уже с начала 1820 г. он неоднократно просил разрешения уехать для лечения на воды в Германию или хотя бы перевестись в Рим, однако регулярно получал отказ. Осложнившаяся политическая ситуация в Королевстве Обеих Сицилий (в результате которой граф Штакельберг был вынужден на некоторое время покинуть Неаполь) способствовала Батюшкову — в конце концов он получил разрешение на перевод в римскую миссию, в подчинение посланника в Риме, семидесятисемилетнего Андрея Яковлевича Италинского — ветерана русской дипломатии, человека поистине энциклопедических знаний. В середине декабря 1820 г. Батюшков передал Италинскому письмо (на французском языке) следующего содержания:

“Господин посол! Его превосходительство граф Штакельберг, у которого я имел честь служить, повелел мне, перед тем как самому покинуть Неаполь, отправиться в Рим. Поскольку вулканический воздух Неаполя вреден для меня, я уже давно желал бессрочного отпуска или перевода в другую миссию, о чем и просил своего начальника. Теперь, когда я в Риме, я почел бы свои заветные желания исполненными, если бы Вы, Ваше превосходительство, соизволили удовлетворить мою весьма сми-



Набережная Кьяйя (гравюра начала XIX в.).

ренную и почтительную просьбу удостоить меня чести продолжать Императорскую службу под Вашим покровительством и ходатайствовать за меня в министерстве о милости быть причисленным к миссии Вашего превосходительства. Остаюсь с почтением, господин посол, Вашего превосходительства смиренным и покорнейшим слугой. Батюшков”.

Мудрый Италинский, по-видимому, сразу понял, что ходатайство Батюшкова о переводе в Рим — не что иное, как способ ухода (хотя бы временного) со службы. О дальнейших событиях биограф Батюшкова Л. Н. Майков писал:

“Италинский отнесся к больному поэту с большим участием и написал графу Нессельроде, уже сменившему Капо д’Истрия в управлении министерством иностран-

ных дел, письмо, в котором в самых теплых выражениях говорил о тяжкой болезни Батюшкова и его необыкновенных дарованиях и просил разрешить ему бессрочный отпуск для излечения и увеличить получаемое им содержание. Письмом от 28 апреля 1821 года граф Нессельроде уведомил Италинского, что на его ходатайство о Батюшкове последовало в Лайбахе милостивое согласие Государя”.

Всего полгода (с декабря 1820 г. до мая 1821 г.) Батюшков прожил в Риме, в скромной квартире на Пьяцца дель Пополо. Психическое здоровье его постоянно ухудшалось, вернулись галлюцинации. Последующее лечение на водах в Германии не принесло улучшения. В 1822 г. больной Батюшков вернулся в Россию. На неловкий вопрос одного из друзей, что написал он нового, он ответил:

“Что писать мне и что говорить о стихах моих? Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!”

Батюшкова, в те годы несколько раз покушавшегося на самоубийство, пытались лечить и в Крыму, и на Кавказе, и за границей, однако безрезультатно — психическое расстройство усиливалось.

Помешавшийся Батюшков прожил еще тридцать лет среди родных в своем вологодском имении. Он умер в 1855 г. от тифозной горячки и был похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре.

СИЛЬВЕСТР ФЕОДОСИЕВИЧ ЩЕДРИН

47

Сильвестр Феодосиевич Щедрин (13.01.1791, Петербург — 8.11.1830, Сорренто близ Неаполя) — художник-пейзажист. Отец, Феодосий Федорович Щедрин, — скульптор, стажировался в Риме и Париже, позднее принимал участие в скульптурном оформлении Адмиралтейства, фонтанов Петергофа, Биржи и Казанского собора. Дядя — Семен Федорович Щедрин, придворный пейзажист Екатерины II и Павла I; учился в Париже, потом четыре года в Риме; несколько лет возглавлял пейзажный класс Академии художеств, автор декоративных полотен с изображением парков Гатчины, Павловска, Петергофа. С. Щедрин, уже будучи в Италии, вспоминал, как покойный дядюшка водил его маленького в Эрмитаж и он, “пропуская все картины”, подолгу рассматривал картины Каналетто, поражаясь искусству итальянца строить перспективу и изображать воду.

В 1800 г. С.Щедрин стал воспитанником Академии художеств, а в 1811 г. окончил ее с золотой медалью, получив право на оплачиваемую заграничную стажировку. Из-за начавшейся новой войны с Наполеоном поездка была отложена, и лишь в июне 1818 г. Щедрин вместе с другими русскими стажерами (С.Гальбергом, М.Крыловым, В.Глинкой и В.Саоновым) отправился в Италию.

Русские стажеры (“пенсионеры”) приехали в Рим в середине октября 1818 г. и с трудом нашли комнаты в переполненном интернациональном “квартале художников” у Монте Пинчио по адресу: Via della Purificazione, № 61. С.Гальберг вспоминал:

“Изрядные и дешевые две комнаты достались Глинке и Подчашинскому <архитектору-поляку>, а я, бедный и разборчивый, но бессловесный, и Щедрин должны были, наконец, оба поместиться в одной тесной каморке, где и спим оба в одной постели, но это продолжится только до будущего месяца, а там старушка хозяйка наша обещала нам очистить еще одну комнату”.

Весной-летом 1819 г. Щедрин пишет с природы римские виды, а также водопады в местечке Тиволи под Римом. Именно пейзажи с изображением водных каскадов приносят первый успех русскому художнику:

“Все ищут в моих картинах воду, ибо многие знатоки нашли, что я оную пишу удачно, в самом деле я имею к оному склонность, почему и выезжаю в места, где есть реки и каскады...”

Для развития своего таланта Щедрин мечтает поехать поработать у моря, на берегах Неаполитанского залива, но средств на эту поездку не хватает. Помог случай: путешествовавший в те месяцы по Италии двадцатилетний великий князь Михаил Павлович заказал Щедрину несколько неаполитанских видов, поручив отъезжающему в Неаполь К.Н.Батюшкову, прикомандированному в то время к русской дипломатической миссии, организовать работу Щедрина на месте. В марте 1819 г. Щедрин писал отцу:

“Вы знаете, как я желал быть в Риме, а приехавши, стал рассчитывать, как бы побывать в Неаполе. Непредвиденный случай мне благоприятствовал... На обратном пути великого князя из Неаполя он призвал к себе и встретил сими словами: «Поезжайте в Неаполь и сделайте два вида водяными красками; Батюшкову поручено показать вам места». Через несколько дней объявили мне цену, вполне царскую, то есть 2500 рублей. Без этого неожиданного поручения мне трудно бы было на один пенсией прожить в Тиволи или во Фраскати, а уж тем более ехать в Неаполь. Батюшков же прислал мне сказать, что он у себя приготовит мне комнату и с прислугой, — и мне очень приятно находиться с человеком столь почтенным”.

В середине июня 1819 г. Щедрин приехал почтовым дилижансом в Неаполь. Переночевав в городской гостинице (“трахтире”), он наутро 16 июня представился русскому посланнику, а затем поселился в квартире Ба-

тюшкова на набережной Санта-Лючия. О своих первых впечатлениях от Неаполя Щедрин писал:

50

“Я живу на берегу морском, в самом прекраснейшем и многолюднейшем месте, ибо тут проезд в Королевский сад; под моими окнами ставят стулья для зрителей; на берегу множество разносчиков с устрицами и разными рыбами, крик страшный зевак, продающих тухлую минеральную воду, которую тут же черпают и подают проезжающим и проходящим. Зато целую ночь крик, и надобно привыкнуть, чтобы спать спокойно. Для меня противен разговор неаполитанцев, все, кажется, плачут или дразнятся, и язык самый худший из всей Италии. Но здесь в употреблении французский, и в трактирах все люди говорят по-французски. Жить здесь дороже, нежели в Риме, зато все на большую ногу, все убрано, украшено, хоть не везде хорошо; но квартиры чувствительно дороже”.

Письма Батюшкова, близко наблюдавшего в то время Щедрина, говорят о том, что уже к весне 1820 г. неаполитанские пейзажи Щедрина постепенно завоевывают признание ценителей живописи и богатых заказчиков. Батюшков писал, в частности, что Щедрин “довольно прилежен, ведет себя прекрасно и колотит деньгу”, а среди его первых заказчиков были русские — князь А. М. Голицын и посланник в Неаполе граф Г.О.Штакельберг. К лету 1820 г. Щедрин закончил и картины, заказанные ему великим князем, и смог предпринять первые одиночные поездки (верхом на ослике) вдоль Неаполитанского залива, где писал этюды. Именно в те месяцы

были созданы первые, глубоко оригинальные картины с видами Каstellамаре, Вико, большой и малой гаваней в Сорренто, быстро принесших Щедрина славу лучшего пейзажиста Неаполя и вызвавших впоследствии массу подражаний.

В середине сентября 1820 г. Щедрин съезжает от Батюшкова и поселяется неподалеку, тоже на Санта-Лючия, в собственной, достаточно дорогой квартире (здесь он потом жил всякий раз, останавливаясь в Неаполе):

51

“Здесь к квартирам нет приступу, а пуще, если местоположение хорошее; правда, можно в улицах сыскать довольно сходные, но зато (с позволения сказать), как свинье, и на небо не удастся взглянуть, что для живописца ландшафтного совсем невыгодно... Итак, я опять живу на набережной Санта-Лючия, на самом лучшем месте из целого Неаполя, вид из окошка имею прелестнейший: Везувий, как говорится, на блюдечке, море, горы, живописно расположенные строения, беспрестанное движение народа, гуляющего и трудящегося — все сие мне показалось наилучшим местом для пейзажиста. За то плачу 18 дукатов, что составляет около 75 скуди в месяце”.

(Письмо родным, сентябрь 1820 г.)

В своих письмах в Россию Щедрин рассказывает и о своем быте, и о круге своего общения в Неаполе:

“Здесь, маменька, совсем не то, что у немцев, — там все тихо, в самых больших собраниях сидят так смирно, как будто все спят, а здесь шум, крик, говорят все гром-



ко, а как начнут все браниться, то выноси всех святых... Хорошо, что итальянцы, разговаривая, употребляют много жестов: говоря о бездельце, подумаешь, что он говорит об войне гишпанцев и мавров"; "Здесь мало pittore <художников> первоклассных, с некоторыми я знаком довольно коротко, а с другими веду шляпное знакомство в кафе Sobetto, куда собираются иностранцы по вечерам; к сему шляпному знакомству принадлежат архитекторы немецкие, да и нет пристоупу к их разговорам, так гамкают, что сам черт не разберет"; "Здесь все русские, имея нужду купить что-нибудь, адресуются к грекам, которые оное охотно исполняют, а без них и Боже упаси, хуже наших гостинодворцев, облупят как сидорову козу, но с тою разницею противу наших сидельцев, что гораздо глупее, и наш мальчишка проведет всякого неаполитанца, который обманывает столь грубо, что нельзя не смеяться, и если даешься ему в обман, то не из другого, как жалая его простоты и нищенства, и к чести Неаполя надо приписать то, что вы здесь ничего не найдете хорошего, чтоб было их собственное произведение, ибо что есть, то это им доставляет или природа, или иностранцы".

Массовые народные волнения в Королевстве Обеих Сицилий заставили многих иностранцев в начале 1821 г. покинуть Неаполь и перебраться в Рим. Хотя англичане и французы предоставили свои корабли для эвакуации всех желающих в порт Чивитавеккья, Щедрин предпочел с группой немецких живописцев (как он выразился в одном из писем, "целою ватагою пруссаков-художни-

ков") добираться до Рима сухим путем. В марте 1821 г. он писал родным уже из Рима:

"Наконец, пришлось покинуть прелестный Неаполь, хотя не было никакой опасности и выдан был указ, в коем объявляют иностранцам, что оные могут оставаться спокойно; но кто может поручиться за беспорядки между разгоряченными неаполитанцами, которые слишком расхрабрились... Отъезд мой сопряжен был с хлопотами, в рассуждении моих картин. Кто был в Неаполе, тот знает, какие мытарства должно переходить. Во-первых, должно все вывозимые картины и этюды представить директору Музеума, который даст свидетельство, что вывозимые картины не есть антические, и за это должно заплатить два дуката (то есть два рубля серебром)..."

Холодная строгость папского города разительно контрастировала с веселым и шумным Неаполем, с которым Щедрин успел сродниться:

"Я избаловался в Неаполе, тишина римская для меня кажется чрезвычайной; пуще в пост, для экономии это очень хорошо, в Неаполе всякий вечер сидишь в театре, а здесь некоторые вечера с учителем итальянского языка, а иногда в кафе играем в домино... Сижу у себя в студии и повторяю виды неаполитанские по заказу; представляющие часть Неаполя с Везувием, писанным для великого князя, и до сей поры еще находятся охотники, — некоторых мне удалось склонять на что-нибудь новенькое, но тут беды нет: «как не зови, только хлебом корми»..."

На предыдущем развороте: Сорренто.

На вершине скалы — отель "Tasso", где часто останавливался и в 1830 г. скончался С. Ф. Щедрин (фото конца XIX в.).

Срок пенсионерства Щедрина (и так уже к тому времени продленный) окончательно истек в 1823 г. Однако, став уже известным и даже модным в Италии художником, Щедрин теперь мог прожить и без правительственной пенсии. К тому же он обзавелся в Италии влиятельными покровителями (первый среди них — граф Василий Алексеевич Перовский), которые могли смягчить высочайшее неудовольствие от невозвращения художника в Россию. И Щедрин принял решение остаться в Италии:

“В этих летах сидеть дома, да еще ландшафтному живописцу, — это лучшее время моей жизни, что я нахожусь в чужих краях между хорошими художниками всех наций, между товарищами и приезжающими русскими, которые оказывают возможные ласки. А в Петербурге что бы я был? Рисовальный учитель, таскался бы из дома в дом и остался бы навсегда в одном положении, нимало не подвигаясь вперед...”

В Риме Щедрин хотя и много работает (как в самом городе, так и в ближайших к нему маленьких городках — Тиволи, Альбано, Фраскати, Субиако), однако все время мечтает о возвращении в Неаполь:

“Неаполь для меня нужен. Я никогда не могу забыть сего прелестного местоположения”.

Наконец 13 июня 1825 г. он вновь приехал в Неаполь. В те дни он написал брату:

“После двухлетних сборов возвратился в Неаполь, мне удалось, так сказать, вырваться из Рима, который я

оставил 11-го числа нынешнего месяца. Мы благополучно приехали в третий день, зато должен был провести одну ночь на понтийских болотах в скверном постоялом доме, что также для меня было не противно, ибо случилось в первый раз в моем путешествии спать. Романические мыши летучие, пехотные клопы, блохи и комары не давали сомкнуть глаз; это маленькое путешествие я сделал с А. Тоном <братом архитектора К. Тона. — А.К.> и теперь живем вместе в трактире, но скоро по делам должны будем разъехаться, я отправлюсь в Сорренто, а Тон в Поццуоли”.

На берегах Неаполитанского залива прошли последние пять лет жизни Щедрина: в холодные месяцы он жил в самом Неаполе, а с апреля по октябрь работал на природе в маленьких городках вдоль побережья Тирренского моря (Кастелламаре, Вико, Сорренто) и на окрестных островах, возвращаясь в город обычно к середине октября — началу ноября. Именно в эти годы были написаны лучшие картины Щедрина — пейзажные виды Неаполя, Сорренто, Капри, Амальфи, а также пейзажи, объединенные в тематические серии — “Террасы”, “Веранды”, “Гроты”...

19 января 1825 г. в России умер отец художника — Ф.Ф.Щедрин. В декабре скончался император Александр и по случаю восшествия на престол Николая I все русские в Неаполе приняли присягу в присутствии министра-посланника. Изменился и сам город: австрийская оккупация привела к тому, что богатые путешествен-

ники стали меньше приезжать в Неаполь, а местное население еще более обеднело. 18 февраля 1826 г. Щедрин писал матери:

“Театры заперты, на пристани неаполитанской нет большие гаеров, буратинов, пульчинелей, и вечер не знаешь куда деваться, словом сказать, Неаполь сам на себя не похож, и я скучаю по Риму, утешаюсь только мыслю, что время приближается, когда я должен буду выехать за город... Также и нищих умножилось, я видал молодых людей, хорошо одетых, просящих подаяние; по вечерам же целые семейства стоят на перекрестках больших улиц, в некоторых местах стоят мужчины, держа шапку в руке, с покрывшею головою платком, чтобы не быть узванными...”

Щедрин в те месяцы находится в апогее своего успеха: его картины отлично раскупаются; чуть ли не каждый житель Неаполя и окрестных городков знает и любит “дона Сильвестро”. Но художника все более мучает болезнь, которая через несколько лет сведет его в могилу:

“...Болезнь моя была совершенно неаполитанская, разлитие желчи, чем здесь многие страдают. Доктор мне советовал много ходить, а другой — совсем быть без движения; а я ждал хорошей погоды, чтобы выехать за город... Какие здесь мерзкие погоды, вы себе представить не можете, — беспрестанные дожди, сырость, холод и ни одной души русско-христианской нет в Неаполе”.

(Письмо родным 1826 г.)

Летом 1827 г. Щедрин провел два месяца на острове Капри, где много писал с натуры, потом отправился в Сорренто и Вико:

“Здоровый воздух, добрые жители и прекраснейшее вино облегчают некоторым образом тяжелую ходьбу по горам...”

А 22 марта 1828 г. неожиданно проснулся дремавший несколько лет Везувий:

“Около двух часов пополудни поднялся ужасный столб дыму и стоял около часу над горой, подобно самым густым облакам; перемена форм дыму от непрерывного извержения, равно и перемена освещения и красок, было зрелище ни с чем не сравненное... Сколь большое удовольствие принесло мне сие зрелище, с другой стороны, было неприятно беспрестанное дрожание дверей и окошек во время дыму. Слухи о сем извержении дошли до Рима, оттуда множество иностранцев пустились в Неаполь, в том числе Брюллов и Габерцетель; но лишь Брюллов явился ко мне, то, как на смех, стихший вулкан перестал вовсе куриться, и он, пробыв дня четыре, возвратился опять в Рим”.

(Письмо брату 6.05.1828.)

В середине 1828 г., как и в предыдущие годы, Щедрин в течение семи месяцев работал вне Неаполя: был в Поццуоли, на Капри, в Вико, Сорренто, забирался еще дальше по побережью — в Амальфи. Князь Г. И. Гагарин, новый русский посланник в Риме (сменивший на этом

посту умершего А.Я.Италинского), писал о Щедрина президенту Академии художеств А. Н. Оленину:

“Щедрин в Неаполе. Я его почитаю лучшим пейзажистом в Италии. Никто так верно и бесподобно не выражает натуры, особливо морские виды. У меня есть его большая картина, представляющая Амальфи и весь залив, нельзя на нее довольно налюбоваться, и она убивает все прочие картины, возле нее висящие”.

На Новый, 1829 год в Неаполь приехала популярная среди русского образованного общества великая княгиня Елена Павловна — жена великого князя Михаила Павловича. Бывшая юртенбергская принцесса Фредерика Шарлотта Мария активно покровительствовала художникам — по рекомендации княгини Софьи Григорьевны Волконской (сестры декабриста, державшейся подальше от николаевского двора и жившей в Швейцарии и Италии) она приобрела два неаполитанских пейзажа Щедрина. В январе 1829 г. С. Щедрин писал брату:

“Новый год здесь все русские встретили отменно хорошо, поутру было представление великой княгине, где я не мог быть за неимением мундира, но ввечеру был приглашен к англичанину, которого и посетила ее высочество...”

В марте 1829 г. С. Щедрин королевским указом был удостоен звания почетного профессора Неаполитанского королевского института изящных искусств. Однако болезнь художника продолжала развиваться. Изменился характер многих картин Щедрина — он, в частности, увлекся ночными пейзажами (“Вид в окрестностях Сор-

ренто. Вечер”, “Лунная ночь в Неаполе” и др.), в чем, как отмечали критики, несомненно сказалось болезненное состояние. С целью излечения летом-осенью 1829 г. Щедрин совершил длительную поездку на север Италии и в Швейцарию — посетил Пизу, Лукку, Геную, Турин, Женеву. В путешествии его сопровождали две его покровительницы — княжна Елена Михайловна Голицына и графиня Екатерина Артемьевна Воронцова — старые девы, фрейлины великой княгини Анны Федоровны, которая после развода с великим князем Константином Павловичем жила в Италии.

Врачи уговаривали Щедрина ехать лечиться на воды в Карлсбад, но он предпочел Италию и в феврале 1830 г. вместе с Голицыной и Воронцовой приехал в Рим:

“Здесь довольно русских фамилий, у которых бывают собрания музыкальные и театральные; у самого министра также поставлен театр, но, к несчастью, я за болезней никуда не показываюсь...”

Потом пробовал лечиться на острове Искья, в Неаполе, в Вико, опять в Неаполе, в Сорренто, Амальфи, часто прибегая к услугам случайных людей и откровенных шарлатанов.

7 ноября 1830 г. умирающего Щедрина привезли в Сорренто. На следующий день в 9 часов утра он скончался в гостинице, в которой всегда останавливался. (В этом доме, где, по преданию, родился Торкватто Тассо и который до сих пор именуется “Домом Тасса”, сегодня расположен элитарный отель “Трамонтано”.)



Вот одно из свидетельств очевидца о последних часах Сильвестра Щедрина:

“Щедрин, оправившись несколько в Вико и Сорренто, перешел в Амальфи, где дался какому-то шарлатану, убедившему его продолжить лечение, чтобы вовсе искоренить болезнь: ежедневно задавал ему сильные лекарства и вместе с тем теплые ванны, чем довел Щедрина до такой слабости, что только на руках могли его донести в Сорренто, умирающего и в бессмятстве. Через несколько часов он пришел в себя и, извергнув ртом много черной желчи, испустил дух”.

Сильвестр Феодосиевич Щедрин был похоронен в Сорренто, в церкви Св. Винченцо, за главным алтарем. Среди местных жителей, всегда с огромным уважением относившихся к “дону Сильвестро”, долгое время бытовало поверье, что могила Щедрина — место священное, способное творить чудеса и исцелять больных детей. Впоследствии могилу перенесли на городское кладбище — над ней установлен памятник, сделанный по эскизу римского друга художника — скульптора Самуила Гальберга.

Слева: Отель “Tasso” (сегодня “Tasso-Gramontano”) в Сорренто, где скончался С. Ф. Щедрин (современное фото).

На следующем развороте: Берег Сорренто у Большой гавани. За развалинами античной виллы Агриппы Постума в скале вырублена церковь San Vincenzo, где был похоронен С. Ф. Щедрин (фото конца XIX в.).



ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ

66

ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ (24.03.1782, мыза Нежинская, близ Копорья, Петербургская губ. — 24.10.1836, Рим) — художник-портретист и исторический живописец. Выходец из семьи крепостных. За большую тягу к рисованию был отпущен на волю и в 1788 г. определен воспитанником Императорской Академии художеств, где благодаря выдающимся способностям был взят под личное покровительство тогдашним президентом Академии графом А. С. Строгановым. Окончил Академию с Большой золотой медалью.

В начале XIX в. Кипренский прославился в качестве блестящего портретиста, “русского Ван-Дейка”, наследника лучших традиций Ф. С. Рокотова, В. Л. Боровиковского и своих наставников — Г. И. Угрюмова и Д. Г. Левицкого.

67

Весной 1816 г., будучи уже известным художником, академиком и советником Академии художеств (заслужившим, согласно петровской Табели о рангах, потомственное дворянство), тридцатичетырехлетний Кипренский выехал в Италию в качестве пенсионера супруги Александра I — уединившейся от двора императрицы Елизаветы Алексеевны.

В 1817 г. Кипренский работал в Риме над композицией “Аполлон, поразивший Пифона”, где в аллегорической форме изобразил победу России над наполеоновской Францией. Следующая картина — “Молодой садовник” — была отослана в Петербург, где выставлялась в Эрмитаже. Позднее Кипренский написал “Девочку в маковом венке” (первый портрет его воспитанницы Мариуччи, которая позднее станет его женой) и картину “Ангел, прижимающий к груди гвозди от распятого Христа”, с успехом выставлявшуюся на международной выставке в Риме весной 1819 г. К началу 20-х годов слава Кипренского в Северной Италии выросла настолько, что Флорентийская Академия художеств заказала ему автопортрет для знаменитой коллекции автопортретов великих художников в галерее Уффици.

Один из младших товарищей Кипренского по русской художественной колонии в Риме, скульптор Самуил Гальберг, вспоминал:

“Орест Адамович Кипренский был среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более он любил far si bello <прихорашиваться>: рядился, завивался, даже румянил-

ся, учился петь и играть на гитаре и пел прескверно! Все это, разумеется, чтобы нравиться женщинам. Не знаю, был ли он счастлив, но доволен собою был...”

Весной 1822 г. Кипренский покинул Италию, некоторое время жил в Париже, а затем вернулся в Россию. Перед отъездом из Рима он обратился к государственному секретарю Папской области, кардиналу Э. Консальви, с просьбой до его возвращения поместить его юную воспитанницу Мариуччу в монастырскую школу с полным пансионом.

Кипренский возвратился в Италию в 1828 г.: сначала поселился в Риме (где регулярно навещал Мариуччу), а с конца 1829 г. и до апреля 1832 г. почти безвыездно жил и работал в Неаполе, в доме № 31 на набережной Санта-Лючия, рядом с квартирой Сильвестра Щедрина.

В Неаполе Кипренский поначалу вновь обратился к излюбленному им жанру, написав в 1829 г. портреты русского исторического живописца П. В. Басина, итальянца, доктора Мазарони, С. А. Голенищевой-Кутузовой, а также несколько портретных рисунков — “Портрет неизвестной с косынкой на шее”, “Портрет молодой девушки с крестом на шее” и др.

Вскоре, однако, следуя общим веяниям, Кипренский увлекся крупными историческими формами — в Риме в этом жанре начали работу Карл Брюллов и Федор Бруни. В Неаполе Кипренский задумывает большое аллегорическое полотно “Сивилла Тибуртинская”, в котором намерен показать образ пророчицы, вещающей миру

о грядущем счастье. В письме В. В. Мусину-Пушкину он написал о замысле картины, к которой приступил “с большим энтузиазмом и непонятным каким-то вдохновением”:

“Сивилла Тибуртинская — предсказавшая пришествие мессии Цезарю Августу. Она представлена в виде молодой девицы, вдохновленной свыше, облокотясь левой рукой о жертвенник; в правой руке держит свернутую хартию. Она освещена лампадой; но в отверстие окна виден храм Весты и Тивольский водопад при томном освещении луны”.

Задумав эту сложную композицию, Кипренский, с целью “хорошо выгучить краски и освещение при огне”, написал две подготовительные (хотя по существу самостоятельные) работы, где экспериментировал с изображением света — “Молодая цыганка, при свете свечи гадающая на картах” и портрет “Читающий при свече” (изображающий скорее всего его друга М. Постникова).

Чтобы улучшить свое финансовое положение, Кипренский работал в Неаполе и по заказам. Исполнил несколько морских пейзажей и этюдов Неаполитанского залива — самый известный из них “Вид Везувия со стороны моря” (1830). Написал Кипренский в Неаполе и несколько получивших известность жанровых картин — “Мальчик лаццарони”, “Девочка с виноградом”, “Девушка с колосьями и корзиною в руке” и др.

При содействии русского посланника графа Г. О. Штакельберга и королевского мажордома князя

Антонио Луккези-Палли Кипренский познакомился с неаполитанским королем Франческо I и получил от него заказ на жанровую картину. Сегодня эта работа (“Отдыхающие мальчики на набережной Санта-Лючия”) находится в неаполитанском музее “Палаццо Реале”.

70

Когда в начале октября 1830 г., по случаю именин Франциска I, в Неаполе открылась большая художественная выставка, Кипренский представил на нее три работы: привезенный еще из России “Портрет отца” (А. Швальбе), “Девочку в маковом венке” (написанную ранее в Риме) и неаполитанский “Пейзаж с видом Санта-Лючия”. Однако поскольку в Неаполе, в отличие от Рима или Флоренции, Кипренский был сравнительно мало известен, вокруг его работ разгорелась целая полемика: многие не верили, что “Портрет Швальбе”, например, написан современным, да к тому же русским, художником. Президент Неаполитанской Академии Никколини посчитал этот портрет неизвестным произведением Рубенса; другой искусствовед — Альбертини — утверждал, что это работа Рембрандта. Принадлежность картин кисти Кипренского мог подтвердить Сильвестр Щедрин, но он, тяжело больной, лечился в те дни то ли в Сорренто, то ли в Амальфи...

Кипренский впоследствии в подробностях описал всю эту курьезно-драматическую историю брату Сильвестра — Аполлону Щедрину:

“Здесь в октябре месяце была экспозиция. Я выставил тоже, и когда принес в студию портрет отца мое-

го и портрет девочки одной, писанный мною в Риме, то здешняя академия, рассматривая сии картины, со мною сыграла следующую штуку: г. президент академии, кавалер Никколини, объявляет мне от имени академии замечание, опытностью и знанием профессоров исследованное, якобы сии две картины не суть работы художника нынешнего века. Будто бы я выдал сии картины за свои; но в самом деле они писаны Рубенсом (портрет отца), а девочка совсем другим манером и другим автором древним писана; что картины сии бесподобные... и что в Неаполе не позволят они себя столь наглым образом обманывать иностранцу...”

71

Все, однако, кончилось благополучно:

“Кончить письмо надобно тем, что когда я принес другие сверх тех работы мои, писанные в Неаполе, и все в разных манерах, то они удостоверились, что в России художники не обманщики”.

Художественная выставка в Неаполе продолжалась до 31 октября, и выставленные на ней картины Кипренского очень понравились королевской чете. По словам самого Кипренского, “король, который всегда был ко мне милостив, быв о сем уведомлен, будучи болен, велел себя носить по студии, чтоб посмотреть выставленные вещи... Король, болезнью удрученный, удостоил взять меня за руку, весьма милостиво благодарил за выставленные работы, кои великое его величеству принесли удовольствие”.

(Письмо А. Х. Бенкендорфу.)



Многие предрекали присуждение Кипренскому специальной королевской премии, однако 8 ноября 1830 г. Франциск I, давно болевший, умер (по стечению обстоятельств в этот же день в Сорренто скончался и Сильвестр Щедрин). Однако не прошло и нескольких месяцев, и Неаполитанская Академия художеств, в знак признания художественных заслуг Кипренского, удостоила его звания члена-корреспондента. В выданном Кипренскому документе говорилось:

“Академия художеств на своем заседании от 8 августа 1831 года предложила удостоить звания своего члена-корреспондента по классу рисунка господина Ореста Кипренского, живописца. Поскольку Его Королевское Величество одобрил это предложение указом от 26 сентября того же года, Академия направляет своему члену настоящее письмо, которое скреплено печатью и подписями, проставленными согласно уставу Королевского общества. Неаполь, 3 марта 1832 г.”

Дошедшие до Кипренского в Неаполе известия о революционных событиях в Польше побудили его написать картину “Читатели газеты” — на фоне дымящегося Везувия художник изобразил группу эмигрантов-поляков, читающих политические новости. Многие были уверены, что, отправленная в Россию, эта картина наверняка вызовет неудовольствие в придворных кругах. Однако в Петербурге предпочли “не заметить” политической

На предыдущем развороте: Неаполь.
Via Marina della Carmine (фото 1860 г.).

подоплеки картины Кипренского — выставленная в Академии художеств, она имела большой успех и была впоследствии за крупную сумму приобретена у Кипренского графом Д. Шереметевым. О сильном впечатлении, которое картина произвела на петербургской выставке, Кипренскому написал в Италию сам конференц-секретарь академии В. И. Григорович:

“Несмотря на то что выставка сия была блестяща и многочисленна и изобиловала многими отличными произведениями русских и иностранных художников, картины Ваши, и в особенности «путешественники», восхищали зрителей, стечение коих было необыкновенно”.

Летом 1832 г. Кипренский с успехом выставил в галерее на Piazza del Popolo в Риме восемнадцать картин, написанных им в разное время. В 1833–1835 гг. он написал в Италии еще несколько работ, подтвердивших его славу “русского Ван-Дейка”, — портреты датского скульптора Бертеля Торвальдсена, портрет братьев-князей Ф. А. и М. А. Голицыных и свое последнее большое итальянское полотно — “Портрет графини Потоцкой, сестры ее графини Шуваловой и эфиопянки”.

В марта 1835 г. художник в последний раз ненадолго приезжал из Рима в Неаполь.

29 июня 1836 г. Кипренский принял католичество, а в июле того же года женился на Мариучче (полное имя Анна Мария Фалькуччи). В последние месяцы своей жизни он снимал в Риме квартиру на Via Gregoriana в Palazzo Claudio — доме, который известен тем, что там

ранее жил знаменитый французский художник Клод Лоррен. Осенью 1836 г. Кипренский тяжело заболел воспалением легких и вскоре скончался в своем римском доме. Живший в Риме русский художник-гравер Ф. И. Иордан вспоминал о дне похорон Кипренского:

“Был октябрь месяц. В Риме этот месяц посвящен веселью и езде в коляске трудящихся женщин, разукрашенных цветами, с бубнами в руках, распевających свои песни; в такой веселый октябрьский день собрались на квартиру покойного свои и некоторые чужие отдать достойному труженику последний долг. Явились могильщики, взяли гроб, снесли вниз, положили на носилки, покрыли черным покровом, взвалили себе на плечи, и целая ватага капуцин, по два в ряд, затагнули вслух свои молитвы. Мы же, с поникшими головами, следовали за гробом до церкви S. Andrea delle Fratte, где и поставили в память покойного Кипренского на стене мраморную доску...”

О. А. Кипренский был похоронен в римской церкви Sant'Andrea delle Fratte (на углу одноименной улицы и Via Capo le Case). В четвертой капелле справа от входа размещена плита с надписью на итальянском языке:

“В честь и память Ореста Кипренского, славнейшего из русских художников, профессора Императорской Академии художеств в Петербурге и Советника Неаполитанской Академии, поставили на свои средства все русские художники, архитекторы и скульпторы, сколько их было в Риме, оплакивая безвременно угасший светоч своего народа и столь высокие душевные достоинства”.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ И КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВЫ

77

АЛЕКСАНДР Павлович Брюллов (1798–1877) — архитектор; КАРЛ Павлович Брюллов (12.12.1799, Петербург — 23.06.1852, местечко Манциана под Римом) — художник. Отец Брюлловых — Павел Иванович Брюлло — потомок французских протестантов-гугенотов, бежавших в Германию; академик орнаментальной живописи. В 1809 г. братья Александр и Карл были приняты на казенный счет в Академию художеств, после успешного окончания которой “Общество поощрения художников” отправило их в 1822 г. на стажировку за границу сроком на три года и с ежегодной пенсией в 5 тысяч рублей каждому. Перед отъездом братьям по ходатайству “Общества” (которое поощряло только художников отечественных) была высочайше пожалована русская фамилия — “Брюллов”.

Братья Брюлловы выехали дилижансом из Петербурга 16 августа 1822 г. Проехав через Ригу, Берлин, Дрезден, они из-за болезни Карла задержались в Мюнхене до апреля 1823 г. Продолжив путешествие, Брюлловы, минуя Вену, добрались до Венеции. Далее через Падую, Верону, Болонью и Флоренцию 2 мая 1823 г. приехали в Рим, где поселились в квартале художников на углу Via delle Quattro Fontane и Via del Quirinale на Квиринальском холме возле папского дворца. В Риме Брюлловы быстро сдружились с другими русскими пенсионерами Академии художеств: Сильвестром Щедриным, Петром Басиным, Самуилом Гальбергом. Александр Брюллов писал в те дни родным в Петербург:

“Приехавши в Рим, мы очень скоро познакомились там со всеми русскими пенсионерами; но что я говорю! Нам и не надо было с ними знакомиться, даже Гальберг и Щедрин, с которыми мы никогда ни слова не говорили, и они нас первый раз в Риме только лично узнали, через пять минут были так знакомы, как будто мы были с ними знакомы с малолетства...”

Покровителем братьев Брюлловых в Риме стал князь Григорий Иванович Гагарин — русский посланник при Тосканском дворе, выполнявший дипломатические миссии и в Риме (а после смерти русского посла в Риме, А. Я. Италинского, занявший его место). В римском доме Гагариных собирались представители русской колонии, именитые путешественники, ставились домашние спектакли. В постановке “Недоросля” по Фонвизину

Карл Брюллов выступил не только как автор декораций, но и как исполнитель сразу двух ролей — Простакова и Вральмана. (Другие роли в этом спектакле исполняли Александр Брюллов, члены семьи Гагариных, а также русские пенсионеры Академии художеств — С. Щедрин, К. Тон, С. Гальберг, П. Басин.)

В мае 1824 г. Александр и Карл Брюлловы впервые оказались на берегах Неаполитанского залива. Несколько дней прожили в Неаполе, верхом на ослах поднимались на Везувий, ездили в Помпеи, путешествовали на лодке по окрестным островам, побывав на Капри, Прочиде и Искье. После этого Карл вернулся в Рим, а Александр вместе с А. Р. Львовым путешествовал по Сицилии, осенью 1824 г. снова приехал в Неаполь — его, как профессионального архитектора, захватила идея реставрации помпейских античных сооружений.

К 1826 г. А. Брюлловым были выполнены архитектурные чертежи интерьеров помпейских терм, изданные затем в гравюрах Сандса в Париже (авторский текст самого А. Брюллова к альбому был напечатан на французском языке в новом издании 1829 г.). Работа “Помпейские термы” принесла Александру Брюллову европейскую известность: во Франции он получил звание архитектора Его Величества и члена-корреспондента “Institut de France”; в Англии был избран членом Королевского института архитекторов; в Милане стал членом Академии художеств.

Между тем во время своих поездок в Неаполь Александр Брюллов стал знаменит не только как архитектор-

реставратор и знаток помпейских древностей, но и как талантливый художник. Он сделал несколько десятков акварельных рисунков Неаполя и его окрестностей, однако в отличие от Сильвестра Щедрина (чистого пейзажиста, работавшего в Неаполе и его окрестностях в те же годы) предпочитал размещать на фоне неаполитанских видов портреты богатых заказчиков. По рекомендации жившей тогда в Неаполе Елизаветы Михайловны Хитрово (дочери покойного фельдмаршала М. И. Кутузова и вдовы посланника во Флоренции Н. Ф. Хитрово) А. Брюллов с успехом исполнил портреты неаполитанского короля Франциска I и многочисленных членов августейшей семьи.

В 1830 г. Александр Брюллов вернулся в Россию, где вскоре был избран академиком архитектуры. Как признанный мастер архитектурного интерьера, он стал автором многих известных проектов — Петропавловской лютеранской церкви на Невском проспекте (1831–1833), Пулковской обсерватории (1834), Михайловского театра и здания Штаба гвардейских войск (1840), готической церкви для графини Палье в Парголово, дома графини Самойловой в Славянке и т. д. Талант А. Брюллова особенно проявился во время восстановления (после пожара 1838 г.) жилых интерьеров императорского Зимнего дворца.

В свою очередь, Карл Брюллов уже в 1823–1827 гг. стал известен в Риме как автор ряда портретов и виртуозных

жанровых картин “Итальянское утро” и “Итальянский полдень”. А после исполнения им следующей работы — копии в натуральную величину с фрески Рафаэля “Афинская школа” (над которой художник с перерывами работал четыре года) — император Николай I велел заплатить К. Брюллову сверх назначенной русским посольством цены в десять тысяч рублей еще пять и пожаловал ему орден Владимира 4-й степени (небывалый случай для “художника 14-го класса” согласно Табели о рангах!).

Позднее К. Брюллов признавался, что он решился писать огромное полотно “Последний день Помпеи”, только успешно пройдя школу копирования рафаэлевских фресок. Очень точно заметил в свое время высоко ценивший творчество Брюллова А. С. Пушкин:

“Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подвострастием списывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной Вулканом...”

Существует несколько версий относительно того, как зародился замысел грандиозного полотна “Последний день Помпеи”. Известно, что сам К. Брюллов внимательно следил за раскопками Геркуланума и Помпей, изучал поступившие в Неаполитанский музей археологические находки. Об обстоятельствах катастрофы — извержения Везувия в августе 79 г. н. э., погубившего Помпеи, — Брюллов знал из текста “Писем” Плиния



Младшего, которые в отрочестве читал в “Вестнике Европы”. Несомненно также профессиональное влияние на Карла его старшего брата, с которым он находился в постоянной переписке. Возможно, определенную роль в создании “Последнего дня Помпеи” сыграла незадолго до этого написанная картина англичанина Д. Мартина “Разрушение Геркуланума и Помпеи”, а также популярная опера Джованни Пачини с декорациями Алессандро Санквирико. Можно считать также установленным, что непосредственным толчком для написания “Тибели Помпей” явилась поездка в Неаполь и Помпеи, предпринятая К. Брюлловым летом 1827 г. вместе со своей покровительницей, графиней Марией Григорьевной Разумовской. Осенью того же года Брюллов писал в Петербург, в “Общество поощрения художников”:

“От начала июля до конца августа пробыл я в Неаполе. Краткость времени не позволила мне видеть ни всех островов, ни многих окрестностей города. Вообще славных в мире своими прелестными видами; но я старался извлечь всю возможную пользу из сего путешествия, наблюдая все, что имеет непосредственную связь с моим искусством. В особенности же старался я более ознакомиться с древностями Бурбонского музея, единственного по своему собранию ваз, бронз и фресок, найденных при открытии Геркуланума и Помпеи...”

В те же дни в Неаполе находился и “князь Сан-Донат”, русский богач Анатолий Николаевич Демидов, живший во Флоренции и женатый на графине Матиль-

На предыдущем развороте:
Неаполитанский порт (фото 1870 г.).

де де Монфор, дочери брата Наполеона — Жерома Бонапарта. Именно Демидов, увидев брюлловские наброски “Тибели Помпей”, сделанные для графини Разумовской, заключил с Брюлловым контракт на написание большого исторического полотна. Об обстоятельствах этого соглашения вспоминал ученик и биограф Брюллова — М. И. Железнов:

“Какая-то дама <графиня М. Г. Разумовская>, имя которой осталось мне неизвестно, после того как эскиз для Помпеи был уже написан, за обедом, на котором присутствовали Демидов и Брюллов, завела с Демидовым разговор о его поездке в Помпею и сумела поставить его в такое положение, что он, из угождения своей собеседнице, заказал Брюллову написать «Последний день Помпеи». Затем Демидов заключил с Брюлловым контракт, который обязывал Брюллова окончить заказ к концу 1830 года”.

Уже в марте 1828 г. К. Брюллов писал из Рима брату, Федору Брюлло, о том, что местом действия своей картины он избрал улицу Гробниц, наиболее сохранившуюся в разрушенных Помпеях и открытую итальянскими археологами за десять лет до приезда Брюлловых в Италию:

“Эскиз картины... приведен в порядок; сочинение следующее: «Последний день Помпеи». Пункт избрал в Strada dei Sepolcri. Картинная линия на перекрестке от гробницы Sciaro к гробнице сына какой-нибудь жрицы Цереры. Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая ни-

сколько и не прибавляя, стоя к городским воротам спиной, чтобы видеть часть Везувия как главную причину, без чего похоже ли было бы на пожар? По правую сторону помещаю группу матери с двумя дочерьми на коленях (скелеты сии найдены были в таком положении); сзади сей группы видна теснящаяся группа на лестнице, ведущей в *Sepolcri Sciaro*, накрывая головы табуретками, вазами (спасаемые ими вещи все взяты мною из музея). Возле сей группы — бегущее семейство, думая найти убежище в городе; муж, закрывши плащом себя и жену, держащую грудного ребенка, прикрывая другой рукой старшего сына, лежащего у ног отца; в середине картины упавшая женщина, лишенная чувств; младенец на груди ее, не поддерживаемый более рукой матери, ухватившись за ее одежду, спокойно смотрит на живую сцену смерти; сзади сей женщины лежит сломанное колесо от колесницы, с которой упала сия женщина; опрокинутая же колесница мчится конями, разъяренными от падающего раскаленного пепла и камней вдоль по дороге; управлявший колесницей, запутавши руку в вожжах, влечется вслед; между голов лошадей видно продолжение улицы *Augustale*, ведущей к Неаполю, которая хотя и не открыта, но я, следуя древним писателям и нынешним антиквариям, поворачиваю несколько влево за дом Диомедов, наполняя ее гробницами и отдыхающими, оставшимися сзади меня, что очень кстати. По правую сторону упавшей женщины — жрец, схвативши жертвенник и приборы жертвоприношения, с закрытой головой, бежит в беспорядочном направле-

нии; возле него я ввожу случай, происшедший с самим Плинием: мать его, обремененная летами, не будучи в состоянии бежать, упрасивает сына своего спастись, сын же употребляет просьбу и силу свою, чтобы влечь ее за собой. Происшествие сие, рассказанное самим Плинием в письме к Тациту, случилось в *Caro di Miseno*, но художник, помещающий на саженой холстине Помпею и Везувий, отстоящий на пять миль от оногo, может перетащить и из-за 80 миль пример детской и материнской любви, так кстати тут своей противоположностью прочим группам...

Таким образом, можно утверждать, что к весне 1828 г. общая композиция “Гибели Помпеи”, несмотря на последующие частные изменения, была в целом создана.

Работа Карла Брюллова над “Последним днем Помпеи” продолжалась в Риме, в мастерской на *Via San Claudio* (между *Corso* и *Piazza San Silvestro*) с 1827 по 1833 г. Сроки окончания картины, к неудовольствию Демидова, несколько раз переносились: Брюллова отвлекали частные заказы и новые поездки — в Венецию и Болонью (как он говорил, “для совета со старыми мастерами”)... О завершении своего главного творения Брюллов вспоминал так:

“Целые две недели я каждый день ходил в мастерскую, чтобы понять, где мой расчет был неверен. Иногда я трогал одно место, иногда другое, но тотчас же бросал работу с убеждением, что части картины были в порядке и что дело было не в них. Наконец мне показалось, что

свет от молнии на мостовой был слишком слаб. Я осветил камни около ног воина, и воин выскочил из картины. Тогда я осветил всю мостовую и увидел, что картина моя была окончена...”

Осенью 1833 г. картина Брюллова была выставлена для всеобщего обозрения. “У нас в Риме важнейшим происшествием была выставка картины Брюллова в его студии. Весь город стекался дивиться ей”, — сообщал из Рима философ Н. М. Рожалин своему другу С. П. Шевыреву. Работа Брюллова была объявлена “первой картиной золотого века в искусстве”. Большой Вальтер Скотт приехал в Рим, когда мастерская Брюллова была уже закрыта для публики, но целая депутация английских художников уговорила Брюллова дать возможность писателю посмотреть картину — тот пробыл в мастерской около часа и поздравил автора.

После Рима картина выставлялась в Милане (в Ломбардском зале Брерского дворца), затем — с меньшим успехом — в Парижском Салоне 1834 г. в Лувре, где Большое жюри, состоявшее из виднейших деятелей французского искусства, присудило автору “Последнего дня Помпеи” золотую медаль. Брюллов был избран почетным членом академий Болоньи, Флоренции и Пармы. Миланская Академия изящных искусств, прислав Брюллову диплом почетного члена, писала: “...Присоединив Вас к себе в качестве своего почетного члена, Академия только увеличила блеск своей славы...”.

В Россию “Гибель Помпеи” прибыла в конце 1834 г. и выставлялась в Эрмитаже, а затем в Академии художеств. А. Н. Демидов заплатил за картину 40 тысяч франков и преподнес ее в дар российскому императорскому дому. О триумфальном появлении картины в Петербурге поэт Е. А. Баратынский написал стихи:

*Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень —
И был “Последний день Помпеи”
Для русской кисти первый день!*

Когда в 1836 г. Карл Брюллов возвратился в Петербург, совершив из Италии путешествие через Грецию и Малую Азию на юг России и оттуда в Москву и Петербург, его ожидала почетная встреча в Академии художеств. Царь Николай I наградил Карла Брюллова орденом Анны 3-й степени.

Следующее посещение К. Брюлловым Италии состоялось лишь в 1850 г. Тогда, неожиданно прервав лечение от легочной и сердечной недостаточности на острове Мадейра, Брюллов снова приехал в Рим. Некоторое время прожил на Via del Corso у своего друга Анджело Титтони (соратника Гарибальди, видного участника революционного движения и полковника национальной гвардии, недавно отсидевшего несколько месяцев в заточении в замке Св. Ангела), а летом 1851 г. переехал в загородный дом Титтони в местечке Манциана в окрест-

ностях Рима. Там 23 июня 1852 г. Карл Павлович Брюллов скоропостижно скончался. Его тело было перевезено в Рим и 26 июня похоронено по обряду протестантской церкви (к которой принадлежал Брюллов) на кладбище Тестацчо.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

91

Николай Васильевич Гоголь (1.04.1809, Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губ. — 21.02.1852, Москва) — писатель, публицист. С юношеских лет, как многие молодые люди его поколения, был увлечен Италией, что находило выражение в весьма незрелых стихотворных опытах. Вот одно из его “итальянских стихотворений”, которое двадцатилетнему Гоголю удалось опубликовать в одном из центральных журналов:

ИТАЛИЯ

(1829)

*Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит.*

*Как спит земля красой упоена!
И страстно мирт над ней главой колышет,
Среди небес, в сиянии луна
Глядит на мир, задумалась и слышит,
Как под веслом проговорит волна;
Как через сад октавы пронесутся,
Пленительно вдали звучат и льются.*

92

Гоголь впервые приехал в Италию, будучи уже известным писателем, весной 1837 г. для продолжения работы над начатыми в Швейцарии и Франции “Мертвыми душами”. Жил в Риме, в квартале художников у Piazza Barberini — сначала на Via San Isidoro, затем на Via Felice (позже переименованной в Via Sistina). В жаркие летние месяцы старался покинуть Рим, уезжая либо на воды в Швейцарию или Германию, либо к морю.

В апреле 1838 г. Гоголь писал из Рима другу детства — А. С. Данилевскому:

“Ты спрашиваешь меня, куда я летом... Никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь”.

Первый раз побывал в Неаполе летом 1838 г. по приглашению своей знакомой по Италии, тридцатилетней княжны Варвары Николаевны Репниной-Волконской (впоследствии известной писательницы и мемуаристки). Весьма похоже, что Гоголь очень рассчитывал на это приглашение, о чем говорят его письма уехавшей в Неаполь Репниной:

“Итак, Вы уже в Неаполе. Как я завидую Вам! Глядите на море, купаетесь мыслью в яхонтовом небе, пьете, как мадеру, упоительный воздух. Перед Вами лежат живописные лазарони; лазарони едят макаронны; макаронны длиною в дорогу от Рима до Неаполя, которую Вы так быстро пролетели. Я думаю, как Вам теперь кажется печален наш бедный Рим с его монастырями, Колизеями, кардиналами и Пиациою Барберини... Я думаю, князь Григорий Петрович <Волконский> в больших теперь хлопотах: распределяет комнаты, повелевает одной сделаться детскою, другой быть столовою, третьей — гостинною, в которой — увы! — вряд ли достанется сидеть пишущему сии строки. Прошу извинить меня великодушно, что так нахально втиснул я сюда свою особу. Издавна уж так устроено людское самолюбие: всюду хочется всунуть свою рожу, хоть эта рожка ни на что не похожа. И в самом деле, до того ли Вам, будучи теперь так очарованными красотою Неаполя, чтобы думать о такой пешке, как я?”

93

Как бы там ни было, Репнины-Волконские пригласили Гоголя погостить в Неаполе, а также на их даче в курортном городке Каstellамаре (между Неаполем и Сорренто). 30 июля 1838 г. Гоголь писал из Неаполя матери:

“Здоровье мое недурно. Климат Неаполя не сделал на меня никакой перемены. Я ожидал, что жары здешние будут для меня невыносимы, но вышло напротив: я едва их слышу, даже не потею и не устаю; впрочем, может быть,

оттого, что не делаю слишком большого движения... На днях я сделал маленькую поездку по морю, на большой лодке, к некоторым островам и между прочим посетил знаменитый голубой грот на острове Капри. Скалы и утесы здесь картинны. Их такое множество. Но мне жизнь в Риме нравится больше, чем в Неаполе, несмотря на то что здесь гораздо шумнее”.

На даче Репниных-Волконских в Кастелламаре Гоголь продолжает писать первый том “Мертвых душ”, однако расстроенное здоровье и денежные затруднения мешают ему активно работать:

“О себе ничего не могу сказать слишком утешительного. Увы! Здоровье мое плохо, и гордые мои замыслы... О, друг! Если бы мне на четыре, пять лет еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому?.. Много думал я совершить... Еще донныне голова моя полна, а силы, силы... Но Бог милостив. Он, верно, продлит дни мои. Сижу над трудом <«Мертвыми душами»>, о котором ты уже знаешь: я писал к тебе о нем; но работа моя вяла, нет той живости... Недуг, для которого я уехал и который было, казалось, облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок. Это несносная болезнь. Она мне говорит о себе каждую минуту и мешает мне заниматься. Но я веду свою работу, и она будет кончена, но другие, другие... О, друг, какие существуют великие сюжеты! Пожалей обо мне!.. Мои обстоятельства денежные плохи, и все мои родные терпят то же, но черт побори деньги, если бы здоровье

только! Год как-нибудь, может, с помощью твоей... как-нибудь проплетется”.

(Письмо М. П. Погодину 20.08.1838.)

“Зима в Риме прелестна. Я так себя чувствовал хорошо! Теперь мне хуже: лето дурно, душно и холодно. Неаполь не тот, каким я думал найти его. Нет, Рим лучше. Здесь душно, пыльно, нечисто. Рим кажется Париж против Неаполя, кажется щеголем. Итальянцев здесь нельзя узнать; нужно прибегать к палке, — хуже, чем у нас на Руси... Живу я в Кастелламаре, в двух часах от Неаполя. Я здесь начал было пить воды, но оставил воды. Вод здесь страшное множество: один остров Искья весь обпарен минеральными ключами. Скалы прелестны. Время я провожу кое-как: я бы проводил его прекрасно, если бы не мое здоровье”.

(Письмо А. С. Данилевскому 20.08.1838.)

Позднее сама княжна В. Н. Репнина-Волконская в своих, получивших широкую известность, мемуарах о Гоголе вспоминала о том лете:

“В Кастелламаре у нас было две дачи, потому что у нас было большое общество. Когда брат мой <В. Н. Репнин> с семейством уехал, Гоголь оставался на его даче, где находилась одна из наших горничных, очень больная, для которой мать моя наняла сиделку; она же служила и Гоголю. Обедал он на нашей даче; обе принадлежали одному хозяину и разделялись дорогою. Гоголь часто сидел в моей

комнате. Туда приходил также молодой архитектор Д. Е. Ефимов, с которым Гоголь постоянно спорил. Гоголь тогда страдал желудком, и мы постоянно слышали, как он описывал свои недуги; мы жили в его желудке”.

В конце лета Гоголь получил письмо из Франции от А. С. Данилевского о том, что тот серьезно заболел, и, заняв деньги, отправился в Париж.

Последующие приезды Гоголя в Неаполь имели место уже в принципиально иной период его жизни. Известно, что к середине 1840-х годов в мироощущении Гоголя произошел поворот: несколько раз он был близок к смерти (самые известные случаи — в 1840 г. в Вене и в 1845 г. во Франкфурте), жег рукописи, составлял завещание, звал священника, чтобы собороваться... Настроения Гоголя тех лет отражают его письма из Италии близким людям:

“Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви к ней”.

(Письмо В. С. Шевыреву.)

“Для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого, близко. Малина и попы интересней всяких коллизеев...”; “У меня точно нет теперь никаких впечатлений и... мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии...”.

(Письмо А. С. Данилевскому.)

В те годы нарастают религиозно-мистические настроения Гоголя. Он все более погружается в чтение богословской литературы, а свою писательскую работу все более воспринимает как “предназначение свыше”, как некую “миссию”:

“Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушение не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!”

(Письмо С. Т. Аксакову.)

“Часто душа моя так бывает тверда, что, кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастья, ниспосылаемые человеку. Они хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосылаемые мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя”.

(Письмо Н. Шереметевой.)

П. В. Анненков, видевший Гоголя летом 1846 г. в Париже, вспоминал:

“Гоголь постарел, но приобрел особого рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа”.

В июне 1846 г. Гоголь уехал лечиться на воды в Грефенберг и Бамберг, а потом на побережье — в Остенде. Там он усиленно дорабатывал книгу, в которой хотел изложить свое новое миропонимание и на которую возлагал особые надежды, — “Выбранные места из переписки с друзьями”. На зиму он собирался ехать в Неаполь, куда его на этот раз пригласила Софья Петровна Апраксина — вдова флигель-адъютанта В. С. Апраксина и сестра друга Гоголя, графа А. П. Толстого.

В конце октября 1846 г. Гоголь покидает Германию и через Марсель и Ниццу направляется в Италию. Минувя, почти не задерживаясь, Геную, Флоренцию и Рим, 19 ноября 1846 г. он приезжает в Неаполь и поселяется на зиму в неаполитанских апартаментах Апраксиных-Толстых в палаццо Ферандини. 24 ноября 1846 г. Гоголь писал из Неаполя В. А. Жуковскому:

“Я прибыл благополучно в Неаполь, который во всю дорогу был у меня в предмете, как прекрасное перепутье. На душе у меня так тихо и светло, что я не знаю, кого благодарить за это... Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если

бы не приготовил Бог душу мою к принятию впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет <в 1838 г.> в нем и любовался им холодно. Но как только приехал в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя. Я приютился у Софьи Петровны Апраксиной, которой, может быть, внушил Бог звать меня в Неаполь и приготовить у себя квартиру. Без того, зная, что мне придется жить в трактире и не иметь слишком близко подле себя желанных душе моей людей, я бы, может быть, не приехал. Душе моей, еще немощной, еще не так, как следует, укрепившейся для жизненного дела, нужна близость прекрасных людей затем, чтоб самой от них похорошеть... Душа моя глядит светло вперед. Все будет так, как Богу угодно; стало быть, все будет прекрасно. Одно может случиться, по-видимому, поперечное моим делам: то есть что это замедленное появление моей книги может на несколько далее отодвинуть отъезд мой к святым местам. Но если так удивительно случится, то значит, что в этом воля Божья и что так действительно долженствует быть”.

Письма Гоголя той неаполитанской зимы позволяют заключить, что к 1846–1847 гг. он явно стал отдавать предпочтение прежде пренебрегаемому им Неаполю перед ранее столь обожаемым Римом, который он с некоторых пор стал демонстративно избегать:

“Во все время прежнего пребывания моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий

раз как бы на родину свою. Но теперь, во время проезда моего через Рим, уже ничто в нем меня не заняло... Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновение холода и сырости”.

(Письмо В. А. Жуковскому 24.11.1846.)

“Спешу к Вам написать несколько строчек из Неаполя, куда прибыл благополучно, хотя после долгого путешествия. В Неаполе так прекрасно и тепло. В душе моей стало так уютно и светло здесь, что я не сомневаюсь, что и с Вами будет то же, если Вы сюда заглянете... Русских здесь почти ни души; покойно и тепло, как нигде в другом месте. Солнце просто греет душу, не только что тело. Какая разница даже с Римом, не только с Парижем”.

(Письмо А. П. Толстому 24.11.1846.)

“Неаполь я избрал своим пребыванием потому, что мне здесь покойней, чем в Риме, и потому, что воздух, по определению доктора, для меня лучше римского, что, впрочем, я испытал: здесь я меньше зябну”.

(Письмо С. П. Шевыреву 8.12.1846.)

Зимой 1846–1847 гг. Гоголь занимался в Неаполе переделкой своих старых сочинений — эти “новые редакции” порой вызывали недоумение и протест даже у близ-

ких писателю людей. Он также старался внимательно следить за полемикой в России вокруг его “Переписки с друзьями” — книги, которая расколола русское общественное мнение на горячих поклонников и столь же радикальных противников Гоголя. (Известно, например, что при своей первой встрече в Риме Александр Герцен и художник Александр Иванов чуть было не поссорились из-за разницы взглядов на гоголевскую “Переписку”.)

В те зимние месяцы Гоголь был занят в Неаполе и еще одним важным для себя делом — подготовкой к давно вынашиваемой им поездке на Восток — в Палестину, к “святым местам”. Для реализации своих планов он очень надеялся на поддержку самого российского императора, к которому относился с большим пиететом. (Эти настроения особенно усилились после пребывания Николая I в Риме в начале 1846 г., когда Гоголь несколько раз тайком наблюдал за передвижениями царя и, как он сам выражался в письмах А. О. Смирновой, “любовался им издали и не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного благоволения, напоминать о своем существовании...”)

В начале декабря 1846 г. Гоголь составил в Неаполе письмо на имя Николая I с всеподданнейшей просьбой о выдаче “специального дипломатического паспорта”:

“Всемиловейший государь! Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многих трудных дел — моей, может быть неуместной, просьбой.

Еще более года суждено мне не видеть моего отечества: для укрепления моего в едва начинающемся поправляться здоровье моем потребен мне климат юга; для укрепления же моего здравия душевного, еще более мне нужного, чем телесное, потребно мне путешествие по святым местам, составлявшее издавна живейшее желание мое. Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочайшем повелении Вашем выдать мне паспорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я. Государь! Знаю, что осмеливаться Вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин Вашего государства, а я — ничто: дворянин, незаметнейший из ряда незаметных, чиновник, начавший было служить Вам и оставшийся поныне в 8-м классе, писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведениями. Но не я причиной ничтожности моей: десять лет тяжких недугов отрывали меня от тех трудов, к которым я порывался; десять лет тяжких внутренних страданий душевных лишили меня возможности подвизаться на полезных поприщах пред Вами. Но не пропали эти годы: великой милостью Бога устроено было так, чтобы совершалось в это время мое внутреннее воспитание, без которого не принесла бы пользу отечеству моя наиревностнейшая служба; великой милостью Бога вложены в меня некоторые необщи-

другим способности, которых не следовало мне выказывать, покуда не вызреют они во мне и не воспитаются, и которыми по возвращении моем из святой земли я сослужу Вам службу так же верно и честно, как умели служить истинно русские духом и сердцем. Тайный, твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих! Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами, вечно верноподданный Вам Николай Гоголь”.

В ответ на свою просьбу Гоголь вскоре получил письмо от министра двора, графа В. Ф. Адлерберга:

“Государь император изволил прочитать с особым благоволением всеподданнейшее письмо Ваше о выдаче Вам паспорта для путешествия по святым местам. Его величество высочайше повелеть мне соизволил: уведомить Вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого Вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось, но что, искренно желая содействовать Вам в благом Вашем намерении, государь император приказал министру иностранных дел снабдить Вас беспошлинным паспортом на полтора года для свободного путешествия к святым местам и, вместе с сим, сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в турецких владениях, Египте, Малой Азии, что государю императору угодно, дабы Вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровитель-

ство и попечение, и независимо от сих сообщений означенным лицам доставить Вам рекомендательные к ним же письма от него, графа Нессельроде <министра иностранных дел>”.

Между тем новые приступы болезни, разочаровывающие известия из России о многочисленных протестах против “нового Гоголя”, которого даже друзья обвиняли в “литературном отступничестве” и “мистицизме”, заставили Гоголя отложить еще на год поездку на Восток. В мае 1847 г. он через Рим, Флоренцию, Геную и Марсель приехал в Париж; потом снова лечился холодными водами под Франкфуртом и в Остенде.

В октябре 1847 г. Гоголь, имея целью провести на юге Италии еще одну зиму, снова приехал в Неаполь и поселился на этот раз в “Hôtel de Rome”. 5 декабря он писал своему другу, художнику А. А. Иванову в Рим:

“Я живу в Неаполе довольно уединенно и мирно, несмотря на то, что живу в трактире. Как-то лень искать квартиру, и я день за днем остаюсь в Hôtel de Rome. С Софьей Петровной <Апраксиной> вижу довольно часто”.

Отправиться в путешествие в Палестину Гоголь теперь планировал весной 1848 г., однако революционные события в Неаполе заставили его выехать раньше:

“Я полагаю выехать на днях — тем более что оставаться в Неаполе не совсем весело. В городе неспокойно: что будет — Бог весть”.

(Письмо А. А. Иванову 18.01.1848.)



Набережная Санта-Лючия в Неаполе. Справа “Hôtel de Rome”, где Н. В. Гоголь останавливался в 1847–1848 гг.

“Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находиться иностранцу, любящему мир и тишину. Притом пора и к святому гробу”.

(Письмо А. М. Вельгорской 23.01.1848.)

20 января 1848 г. Гоголь отплыл из Неаполя на пароходе “Саргі”. С заходом на Мальту, в Константинополь и Смирну он прибыл в Сирию, затем побывал в Иерусалиме. В начале марта 1848 г. он — через Бейрут и Константинополь — вернулся в Россию и более никогда за границу не выезжал.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ

106

Василий Андреевич Жуковский (29.01.1783, с. Мишенское, Тульской губ. — 7.04.1852, Баден-Баден, Германия) — поэт, переводчик, общественный деятель. Незаконнорожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи (в крещении — Елизаветы Дементьевны Турчаниновой). Учился в Московском благородном университетском пансионе. Уже первые поэтические опыты принесли Жуковскому литературную славу. Участник народного ополчения в 1812 г.

В 1821 г. путешествовал по Северной Италии. В середине 1820-х гг. близко подружился с русско-немецким художником Евграфом Романовичем Рейтерном (1794-

1865), участником антинаполеоновских войн (в битве под Лейпцигом потерявшим правую руку), много ездившем по Италии, в том числе по берегам Неаполитанского залива. (В 1841 г. 58-летний Жуковский женился на 20-летней дочке Рейтерна — Елизавете).

Весной 1833 г., после путешествия по Франции, Жуковский вместе с Рейтерном решают ехать в Италию. Одной из главных причин поездки было желание Жуковского увидеть Пизу и Ливорно — места в западной Тоскане, связанные с кончиной его любимого друга Александры Андреевны Протасовой (“Саши”, в замужестве Воейковой), умершей от чахотки в Пизе зимой 1829 г. и похороненной на греческом православном кладбище в Ливорно.

Все путешествие Жуковского одолевали, по его словам, “мысли, черные как ночь”. 11 апреля 1833 г. Жуковский и Рейтерн отправились на пароходе “Фердинанд” из Марселя в Геную, а затем в Ливорно. Жуковский записал в дневнике: *“Я отправился на кладбище. Долг свой милому праху Саши заплатил только биением сердца при приближении... Место тихое и ясное”*. Из Ливорно Жуковский ездил в Пизу: *“Случай меня привел остановиться в трактире окнами против окна, в коем сидела Саша, и против той башни, которая своим звоном оживила ее последнюю ясную минуту”*.

16 апреля Жуковский и Рейтерн приплыли на том же корабле в Чивитта-Веккиа — там, на пристани, их встретил Александр Иванович Тургенев, друг Жуковского еще

107

по Московскому университетскому пансиону, много работавший в римских архивах как историк дипломатических отношений. Втроем они отправились в Неаполь, где поселились в “Hôtel de Russie”. Жуковский записал в те дни в дневнике: *“Даже и на балконе сидеть было нельзя от довольно резкого холода... Дождик льет ливнем, и холодный ветер свищет в окна; от сильного ветра нет приюта; все окна с щелями, двери не затворяются — вот как Неаполь нас угощает!.. Еще нет Италии — все, что и где не природа и не искусство, отвратительно”*.

Через несколько дней, когда погода, наконец, наладилась, путешественники ездили в Геркуланум и Помпеи: *“Величественность и пустынность; тишина Везувия; лазурные пары, все обнимавшие, все в дыму жаркого дня... Тишина, пустота, цветы и растения — невыразимо”*. 26 апреля предприняли восхождение на Везувий. До самого кратера Жуковский не добрался — послал туда слугу Федора, а сам дожидался в хижине отшельника, рисуя виды Неаполитанского залив (к рисованию он пристрастился еще во Франции).

27 апреля Жуковский и Рейтерн (заболевший Тургенев остался в гостинице) наняли лодку с шестью гребцами и отправились в Вико, откуда на ослах ездили в Сорренто, где ночевали в гостинице “Donna Rosa”. На следующее утро они отправились через перевал, к берегам Салернского залива. Ездили на лодке вдоль побережья; Жуковскому особенно понравились виды Амальфи, Минори, Майори...

Жуковский написал в дневнике об обратном пути через перевал, посещениях Виетри и Кава-ди-Тиррено и возвращении в Помпею: *“Путешествие через Виетри, La Cava. Обед в La Cava. Оттуда в Помпею, где рисовали на развалинах торговой площади...”*.

2 мая Жуковский, Рейтерн и выздоровевший Тургенев выехали из Неаполя и на следующий день были в Риме. Еще через месяц Жуковский вернулся во Францию.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ

110

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (12.07.1792, Москва — 10.11.1878, Баден-Баден, Германия), князь — поэт, историк, публицист, государственный и общественный деятель. Член Императорской Академии наук (1841), основатель и первый председатель Русского исторического общества (1866). Сын князя Андрея Ивановича Вяземского — крупного вельможи, философа и общественного деятеля, много путешествовавшего за границей (в т.ч. по Италии), и ирландки О'Рейли (в первой браке — Кин), которую князь, тайно от мужа, вывез из Англии (после официального развода и нового замужества она стала русской княгиней Евгенией Ивановной Вяземской).

Князь Петр Вяземский получил прекрасное домашнее образование, обучался также в петербургском пан-

сионе иезуитов и пансионе при петербургском Педагогическом институте. В Отечественную войну 1812 г. вступил в народное ополчение, отличился в Бородинском сражении. Оставив военную службу, провел три года в варшавской канцелярии Н. Н. Новосильцева, в атмосфере конституционных планов и надежд. Ездил к Александру I с составленным Новосильцевым проектом Конституции; принял участие в написании Записки о крестьянском освобождении крестьян, поданной Государю группой либеральных деятелей.

Попав в царскую немилость, оставил службу и поселился в Москве, где посвятил себя литературному творчеству; в 1820-х гг. получил признание как поэт и литературный критик. В начале 1830-х гг. вернулся на государственную службу; в 1834 г. — статский советник, вице-директор Департамента внешней торговли и камергер Высочайшего Двора.

В начале 1834 г. тяжело заболела дочь П. А. Вяземского — Прасковья (Пашенька). Вместе с женой Верой Федоровной, урожденной княжной Гагариной, и тремя дочерьми: Марией (1813 г.р.), Прасковьей (1817) и Надеждой (1822) П. А. Вяземский отправился для лечения дочери за границу. 11 августа 1834 г. на пароходе “Николай I” они отплыли из Кронштадта в Травемюнде; далее, через Гамбург, Ганновер, Геттинген и Кассель, прибыли в Ганау, где европейская знаменитость, доктор И.-Г. Копп определил у Прасковьи обострившийся туберкулез и посоветовал для лечения Южную Италию. Минуя Баварию

111

и Австрийские Альпы, Вяземские проехали Сардинское королевство и Великое герцогство Тосканское и 30 ноября 1834 г. приехали в Рим.

112

В феврале 1835 г. состояние Пашеньки немного улучшилось, и Вяземский, оставив ее на попечение матери и сестер, один поехал в Неаполь. 11 февраля он отметил в записной книжке: *“Зажег сигару огнем Везувия в 12 часов утра”*. Однако уже через несколько дней он получил сообщение о серьезном ухудшении здоровья дочери и выехал в Рим.

11 марта 1835 г. княжна Прасковья Вяземская скончалась и на третий день была похоронена на римском кладбище Тестацчо. Спустя неделю, Вяземский, чтобы отвлечь и утешить жену, предложил ей совершить поездку к Неаполитанскому заливу. 26 марта они осматривали Неаполь, на следующий день — Помпеи, а 28 марта апреля, уже из Салерно, ездили смотреть развалины греческих храмов в Пестуме. 29 марта они весь день плавали на лодке между Виетри и Амальфи, восхищаясь красотой амальфитанского побережья.

Возвратившись через горный перевал на ослах на неаполитанский берег, Вяземские плавали на лодке в Сорренто, а оттуда — на остров Капри, где посетили знаменитый Голубой грот. Вяземский написал в те дни в записной книжке: *“Голубой грот — лежа врываешь в маленькой лодке — точно голубое и чудесное — обратно в Сорренто — на ослах в Кастелламаре — прелестная дорога — померанцевый сад на скалах”*.

2 апреля 1835 г. Вяземские уехали из Неаполя в Рим. Оттуда 10 апреля князь Петр Андреевич, в тяжелом душевном состоянии, один отправился в обратный путь в Россию. Через год он напишет А. И. Тургеневу: *“Для меня все путешествие мое — как страшный сон, который лег на душу мою, или, лучше сказать, вся прочая жизнь была сон, а она, как свинцовая действительность, обложила душу отныне и до воскресения мертвых”*.

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН

114

Михаил Петрович Погодин (11.11.1800, Москва — 8.12.1875, Москва) — историк, журналист, издатель. Родился в семье крепостного домоправителя у графа А. С. Строганова. В 1818–1823 гг. учился в Московском университете. Специалист в области русской и славянской истории; с 1841 г. — академик по отделению русского языка и словесности. По своим общественно-политическим взглядам был близок к славянофильскому направлению. В 1827–1830 гг. издавал журнал “Московский вестник”, в 1844–1856 гг. — журнал “Москвитянин” (вместе с С. П. Шевыревым).

В конце декабря 1838 г. отправился с женой в большое заграничное путешествие, которое подробно описал в четырех выпусках дневниковых записей “Год в чужих краях” (М., 1844). Путь из Москвы лежал — через Петербург и Польшу — в Южную Европу.

115

“Спервой минуты отъезда после продолжительной оттепели начались морозы и доходили чуть ли не до 30 градусов. Таким образом, мы пройдем теперь безостановочно по всем градусам — от 30 холода под Петербургом до 30 тепла в Неаполе... О дороге сказать нового нечего: те же шоссе, те же дистанции, те же казармы!.. Та же нечистота и неопрятность в гостиницах вышеволоцкой и новгородской и те же баранки на Валдае, с припевом отвратительнейших старух и молодок... Странное дело, что русские содержатели не могут сводить своих счетов даже и на петербургской дороге: наши путешественники до сих пор, по обычаю предков, запасаются провизией в Москве и Петербурге на всю дорогу. Трактиричики берут дорого, потому что продают мало, а проезжие покупают мало, потому что должны платить дорого”.

Из Петербурга в санной повозке добирались до Варшавы; оттуда дилижансом через Вену до Триеста; далее парходом в Венецию; оттуда снова дилижансом через Феррару, Падую, Болонью, Анкону, Лорето и Фолиньо — в Рим.

9 апреля 1839 г. Погодины выехали из Рима (где они жили в соседних с Н. В. Гоголем комнатах на Via Sistina) в Неаполь вместе с коллегой Погодина по университету, профессором-историком Степаном Петровичем Шевыревым, много лет проводившим в Италии в качестве домашнего учителя в семье княгини Зинаиды Александровны Волконской.

Погодин: *“В Неаполь въехали мы среди дня. Погода разгулялась, и солнце сияло во всем своем блеске. Ди-*



лижанс остановился на Largo del castello. Мы бросились тотчас искать квартиры на улице di S. Lucia, на которую указывали все наши адреса. Не могли найти порядочного жилья, воротились, и кондуктор проводил нас в соседний дом... Комнат пятнадцать. По коридорам бегают дети хозяйки, человек десять, мальчишки и девчонки всех лет, испачканные, с всклокоченными волосами, в изорванных платьях... Своей комнаты нет, кажется, у всего семейства, которое кочует по порожним номерам. Мы ужаснулись назначенной нам комнаты. «Сейчас, сейчас все будет чисто», и Джованни принялся мыть и мести, скоблить и таскать. Так бывает с появлением всякого нового постояльца. Когда кочевье очистилось, новая история началась со снабжением его нужными вещами, которые собирались со всего дома, из занятых даже номеров... Мы наняли комнату по пиастру за три дня, Шевырев — лучшую, подороже. От него вид на площадь, от нас — на крепость. Двор ее перед нашими глазами».

Два дня ушло на то, чтобы под руководством опытного и педантичного Шевырева проставить визы на обратный путь в Париж у четырех разных консулов: римского (для Чивитавеккья), тосканского (для Ливорно), сардинского (для Генуи), французского (для Марселя). Следующие дни были посвящены поездкам: в Позилитто, Поццуоли, к Байскому заливу, в Помпеи и Геркуланум, на Везувий.

17 апреля Погодины вместе с Шевыревым отплыли из Неаполя в Марсель (с промежуточными остановками

в Чивитавеккья, Ливорно и Генуе). Погодин отметил в дневнике момент прощания с Неаполем:

“День был прекрасный. Быстро помчался пароход из гавани, и я долго смотрел, не сводя глаз, на удаляющийся город. Прекрасное зрелище!”

Приложение

М. П. ПОГОДИН

Неаполитанские улицы: Кьяйя и Толедо

Мы осмотрели город снаружи — знаменитую Кьяйю, бесспорно лучшую улицу в Европе, на берегу прелестного моря. Да, именно здесь прелестно море, особенно вечером, озаренное солнцем, которое тихо колеблется в его спокойных волнах и плещется с журчанием о берег Виллы Реале, а Вилла Реале — что за очаровательное гулянье: деревья усыпаны яркими цветами! Какие цветники! Чудо! Чудо!.. Толедо, вторая улица в городе; эта улица обыкновенная, но нигде не видал я такой полноты, шума, живости. Народ всякого сорта с утра до вечера толпится на ней: и богатые, тяжелые англичане; и нарядные, проворные французы, и нищие итальянцы, которые особенно здесь упражняются в удивительном

своем искусстве вынимать платки из карманов (у иных несчастных таскают они по дюжине, один за другим). Суеты пропасть, а дела нет никакого ни у кого. Все только что слоняются, шатаются, а все-таки толкают друг друга, как будто спешат куда-то! Я часто ходил по Толедо без всякой цели. Презабавное впечатление! Идешь, идешь, понесешься, не имея времени остановиться, и вдруг очутишься на самом краю. Толедо, должно быть, похожа на азиатскую улицу в каком-нибудь караван-сараяе. Кийя — если угодно, европейская, а несчастные лазарони изображают вам дикарей Тихого океана. Ах, Боже мой, что это за существа! Неужели это люди! Неужели это граждане благоустроенного государства! Подолгу оставался я смотреть на их печальные группы! Что же вы, европейцы, чванитесь своим просвещением и хвастаетесь своей цивилизацией! Где оно? Где оно? Тысяча писак во Франции, миллион в Германии да сто в России — вот ваше просвещение... Род человеческий, говорят, идет к совершенству! Далек, видно, его путь. Есть блистательный плод, другой-третий, на этом дереве, а прочее-то что? Поваленный гроб!

М. П. Погодин. Год в чужих краях.
Дорожный дневник (1839). М., 1844, ч. 2, с. 162-164.

И В А Н К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А Й В А З О В С К И Й

121

ИВАН Константинович Айвазовский (настоящая фамилия — Гайвазовский; 29.07.1817, Феодосия — 2.05.1900, Феодосия). Окончил Академию художеств. Учился у пейзажиста М. Н. Воробьева и француза Филиппа Тоннёра — мастера по изображению воды, приглашенного в 30-х годах императором Николаем I в Петербург. За серию маринистских картин Айвазовский получил в 1837 г. Большую золотую медаль Академии художеств.

1840-1844 годы в качестве стажера-пенсионера провел в Европе, главным образом в Италии. Будучи в сентябре 1840 г. проездом в Венеции, встретился с Н. В. Гоголем, в очередной раз возвращавшимся в Рим. Из Венеции через Болонью во Флоренцию ехали в дилижансе четвером — Айвазовский, Гоголь, врач Н. П. Боткин, литератор В. А. Панов — и всю дорогу играли в преферанс. Айвазовский позднее вспоминал:

“Ехали мы в наемной четвероместной коляске, и, каюсь в нашем общем грехе, — дорогой мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это не мешало нам восхищаться красивыми местностями, попадавшимися на дороге”.

122

Во Флоренции Айвазовский виделся с А. А. Ивановым, приехавшим туда, чтобы скопировать в галереях Уффици и Питти несколько деревьев с пейзажей Сальватора Розы в связи с работой в Риме над “Явлением Христа народу”. Пробыв некоторое время в Риме, Айвазовский в октябре 1840 г. обосновался в Неаполе.

Уже к концу 1840 г. Айвазовский написал в Неаполе и на Капри более десятка картин — часть из них весной 1841 г. экспонировалась в Риме и вызвала восторг публики. Три работы — “Неаполитанская ночь”, “Буря” и “Хаос” — были признаны безусловно лучшими. Сам папа Григорий XVI приобрел картину “Хаос” и выставил ее в папских апартаментах в Ватикане. Приветствуя этот факт, живший в Риме Гоголь сочинил каламбур в честь друга-художника:

“Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов Невы в Рим и сразу поднял «Хаос» в Ватикане!”

В апреле 1841 г. Айвазовский докладывал в Академию художеств о своих новых достижениях и планах:

“С тех пор как я в Италии, написал до 20 картин с маленькими, да нельзя утерпеть, не писать: то луна прелестна, то закат солнца в роскошном Неаполе. Мне кажется, грешно было бы их оставить без внимания...”

Теперь на днях здесь в Неаполе экспозиция. Я приготовляю три картины к этому и потом три месяца лета буду только писать этюды с натуры, и между тем хочется съездить в Сицилию, а на зиму опять в Неаполь”.

Лето и осень 1841 г. Айвазовский провел на берегах Неаполитанского залива — в Неаполе, Каstellамаре, Сорренто, на острове Капри. В начале следующего года он выехал из Неаполя и много путешествовал по Европе. Его маршрут пролегал через Геную, Швейцарию, по Рейну в Голландию, потом в Лондон, Париж и Марсель. Вторую половину года он много работал в Венеции, потом снова был в Париже и Лондоне, выставляя свои картины. В самом конце 1842 г. Айвазовский вернулся в Италию морем через Лиссабон, Кадикс, Малагу, Гренаду, Марсель. Побывал в Риме (где снова часто виделся с Гоголем), затем отправился на Мальту. Заграничный паспорт Айвазовского к тому времени вырос до редких размеров: к полуметровому листу-паспорту была подшита тетрадь в 47 листиков, так же как и паспорт, испещренная записями, различными печатями и прочими пометками (этот паспорт ныне хранится в Феодосийской галерее).

123

В 1841–1843 гг. Айвазовский снискал себе славу лучшего художника-мариниста в Европе. Еще в 1841 г. в петербургской “Художественной газете” знаток искусства, неаполитанец (в будущем сподвижник Дж. Гарibaldi) К. Векки писал:

“Беспристрастно оценивая произведения Италии и прочих земель, спешу известить о присутствии в Неапо-



ле русского живописца морских видов г. Ивана Айвазовского. Пользуясь дружбой Айвазовского, я посетил его мастерскую, которую он обогатил пятью картинами. Вдохновенный прелестным цветом нашего неба и нашего моря, он в каждом взмахе своей кисти обличает свой восторг и свое очарование”.

126

Работавший в Риме Александр Иванов в свою очередь писал родным в Россию:

“Айвазовский — человек с талантом. Его «День Неаполя» заслужил общее одобрение в Риме: воду никто так хорошо здесь не пишет”.

А знаменитый английский художник Д. Тернер, также живший в 1842 г. в Риме, был настолько поражен картиной Айвазовского “Неаполитанский залив лунной ночью”, что в письме автору выразил свой восторг стихами на итальянском языке:

“На картине этой вижу луну с ее золотом и серебром, стоящую над морем и в нем отражающуюся... Поверхность моря, на которую легкий ветерок нагоняет трепетную зыбь, кажется полем искорок или множеством металлических блесков... Прости меня, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений”.

В 1843 г. в Париже Айвазовскому за серию морских пейзажей была присуждена золотая медаль и звание академика (впоследствии Айвазовский стал также

действительным членом Российской, Амстердамской, Штутгартской, Флорентийской и Римской академий).

После возвращения художника в Россию в 1844 г. вышло не вполне обычное высочайшее распоряжение:

“Художника Айвазовского причислить к Главному Морскому Штабу с званием живописца сего Штаба, с правом носить мундир Морского Министерства с тем, чтобы звание сие считать почетным”.

127

И в последующие годы И. К. Айвазовский много путешествовал по миру. С экспедицией русского мореплавателя и географа графа Ф. П. Литке художник побывал в Турции, Греции, Малой Азии. Много бывал на Кавказе, ездил в Египет и даже в Америку. Однако “итальянский период” начала 1840-х годов занял особое место в жизни Айвазовского. “Русская старина” в 1876 г. опубликовала составленный, по-видимому, самим Айвазовским список его картин, написанных в Италии и приобретенных различными галереями и частными лицами. Даже если ограничиться только картинами, имеющими отношение к Неаполю и его окрестностям, список этот весьма впечатляет:

1840: “Севастопольская эскадра на неаполитанском рейде” (у брата короля Неаполитанского); “Амальфи”, “Сорренто”, “Неаполитанский флот” (у короля Неаполитанского); “Буря ночью” (разыграна в лотерею и выиграна г-ном Лаурио); “Буря” (у короля Неаполитанского); “Шквал на море” (у графа Гурьева); “Морской вид”

На предыдущем развороте: Сорренто.

Рыбачьи лодки в Большой гавани (фото 1870 г.).

(у герцога Монтебелло); “Буря близ Капри” (у г-на Халахова); “Неаполитанская ночь” (у князя А. М. Горчакова) (последние четыре картины были на выставке в Риме); 1841: два вида Неаполя (у графа Зубова); “Сцены на Неаполитанском рейде” (у г-на Энглафтейна; была на выставке в Риме); виды Неаполя (у генерала Бартона); то же (у лорда Молле); несколько малых картин в Неаполе: “Амальфи” и “Сорренто” (во дворце Александрии); “Капри при луне” и “Векья” (там же); 1842: “Ночь в Неаполе” (у князя Витгенштейна); “Утро в Неаполе” (у графа Тышкевича); “Неаполитанская ночь” (у И. М. Толстого; была на выставке в Петербурге); два вида Неаполя (куплены в Вену); “Окрестности Неаполя” (у г-на Васильчикова); “Неаполитанские виды” (у княгини Долгоруковой); “Хаос” (у папы Григория XVI); морские виды (у княгини Гагариной); “Лазурный грот” (у великой княгини Марии Николаевны); то же (куплен в Англию)...

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

129

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (19.02.1800, усадьба Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губ. — 11.07.1844, Неаполь). Родился в семье Абрама Андреевича Баратынского, генерал-адъютанта Павла I, и Александры Федоровны Черепановой, выпускницы Смольного института благородных девиц, фрейлины императрицы Марии Федоровны.

С детства хорошо знал итальянский язык (своему итальянскому гувернеру Жьячинто Боргезе посвятил последнее стихотворение, написанное незадолго до смерти в Неаполе). Воспитывался в Пажеском корпусе, однако по причине “поведения и нрава дурного” был отчислен без права вступления в какую-либо службу иначе, как простым солдатом. Служил рядовым в лейб-гвардии Егерском полку, потом, по ходатайству влиятельных друзей, был произведен в унтер-офицеры, а затем в прапорщики. В 1826 г. вышел в отставку.

В середине 1820-х годов к Баратынскому пришла слава одного из лучших поэтов России. Дружил с А. С. Пушкиным, А. А. Дельвигом, В. К. Кюхельбекером, В. А. Жуковским, П. А. Плетневым. Был постоянным посетителем московского салона княгини Зинаиды Александровны Волконской; по случаю отъезда княгини в Италию было написано одно из его самых известных стихотворений (1829):

*Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон,
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка, —*

*Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле!
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.*

Осенью 1838 г. Баратынский планировал большое путешествие: сначала в Мюнхен — “немецкие Афины”, а затем в Италию. В то время он писал матери:

“Мне тяжело расставаться с семьей, но это путешествие — нравственный долг перед самим собой, ибо не станет, может быть, эпоха, эпоха, когда я упрекну себя в том, что не сделал этого вовремя”.

Однако семейные обстоятельства (у Баратынского и его жены Анастасии Львовны, урожденной Энгельгардт, было к тому времени семеро детей) помешали ему совершить задуманное.

Лишь в сентябре 1843 г., оставив четверых младших детей на попечение родственников, Баратынские вместе с тремя старшими детьми, Александрой, Львом и Николаем, выехали на почтовом дилижансе из Петербурга. Их маршрут лежал через Кенигсберг, Берлин, Лейпциг, Франкфурт и Майнц. Оттуда они рейнским пароходом добрались до Кельна, а затем — уже по железной дороге — приехали через Брюссель в Париж. С дороги Баратынский писал родственникам в Петербург:

“Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой смелой впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоз рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии”.

Конечной целью путешествия Баратынских изначально планировалась Италия — Рим, Флоренция, Неаполь. Где-то в те месяцы 1843 г. поэтом написано еще одно знаменитое итальянское стихотворение:

*Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический Древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне доли, леса благовонны,
Снятся упавших чертогов колонны!*

В середине ноября 1843 г. Баратынские приехали в Париж и пробыли там до весны 1844 г. В те месяцы поэт близ-

ко познакомился с П. Мериме, Ламартином, А. де Виньи, Ш. О. Сент-Бевом, Ш. Нодье, Жорж Санд.

В канун русского Нового года Баратынский писал родственникам в Россию:

“Поздравляю вас, любезные друзья, с Новым годом... Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который никак не заменим здешней наукой; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе двенадцатью днями других народов и посему переживем их, может быть, двенадцатью столетиями. Каждую из этих фраз я могу доказать ученым образом; но теперь не время, оставим это до свидания...”

Покинув Париж, Баратынские в начале апреля 1844 г., проехав всю Францию, приехали в Марсель. Оттуда Баратынский писал матери:

“Теперь мы устремлены в прекрасную и классическую Италию, но замечу: жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить свое отечество! Благоприятства более теплого климата не столь велики, как думают, достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом. Они тупы в Германии, без стыда и совести во Франции; прибавьте к тому, что французы большие мастера только лишь в дурачествах.



Я вернусь в свое отечество исцеленным от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем”.

Во второй половине апреля Баратынские совершили морской переезд на пароходе (“пироскафе”) из Марселя в Неаполь. Во время этого морского путешествия поэт сочинил еще одно известное стихотворение:

ПИРОСКАФ

(1844)

*Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!*

*Мчимся. Колеса могучей машины
Роят волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется над нами
Белая, рея меж вод и небес.*

*Только вдали, океана жилища,
Чайке подобна — вод его птица,*

*Парус развев, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре
Лодка рыбацья качается в море:
С берегом набрежное скрылось, ушло!*

*Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!*

*С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравья брызжет мне вал!*

*Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду, мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!*

Баратынские намеревались прожить в Неаполе месяца три, а потом отправиться в Рим, Флоренцию и через

Вену вернуться в Россию. В Неаполе они поселились на набережной Кьяйя, в районе Виллы Реале. В начале мая 1844 г. поэт писал в Петербург:

“Пятнадцать дней как мы в Неаполе, а кажется, живем там давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений. В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии — Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означать особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа... Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями, но где они есть, там они чудесно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все оттенки счастья... Каждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещают для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое, без резкости лампы, выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь, под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик, и живописец”.

138

В те месяцы Баратынские объездили окрестности Неаполя — побывали в Поццуоли, Байе, Каstellамаре, Сорренто. Совершили восхождение на Везувий, были в Геркулануме и Помпеях.

В конце июня Анастасия Львовна тяжело заболела; доктора настаивали на самых радикальных способах лечения, включая периодическое пускание крови. Е. А. Баратынский был крайне встревожен. Рано утром 11 июля 1844 г. он скоростижно скончался.

Находившийся в то время в Неаполе знаменитый русский художник Александр Андреевич Иванов снял посмертную маску с лица поэта, много помогал его семье. Биограф Баратынского, Е. А. Бобров, позднее писал со слов сына поэта — Льва Евгеньевича:

“Герметически закупоренный гроб с останками поэта хотели до перевозки в Россию на корабле поставить в церковь греко-униатов, имеющуюся в Неаполе. Но попы этой церкви заявили, что хотя они тоже «греки» (т. е. греческого обряда), но положить к себе останки православного не могут. Пришлось просить лютеранского пастора — и в лютеранской церкви гроб простоял почти целый год”.

Лишь в августе 1845 г. кипарисовый гроб с останками Баратынского был морем доставлен в Санкт-Петербург. 31 августа состоялись похороны поэта на Лазаревском кладбище Александрo-Невской лавры.

Незадолго до смерти Е. А. Баратынский написал в Неаполе свое последнее стихотворение, посвященное его итальянскому воспитателю Ж. Боргезе:

139

ДЯДЬКЕ - ИТАЛЬЯНЦУ

(1844)

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
 Янтарный виноград, лимон ее златой
 Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
 И в край, суровый край, снегами покровенный,
 Приставший с выбором загадочных картин,
 Где что-то различал и видел ты один!
 Прости наш здравый смысл, прости! мы та из наций,
 Где брату вашему всех меньше спекуляций:
 Никто их не купил. Вздыхнув, оставил ты
 В глушь севера тебя привлекшие мечты;
 Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,
 Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
 Ты счастлив был, когда тебе коё-что дал
 Почтенный, для тебя богатый генерал,
 Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
 Имел я благодать нерусского надзора.
 Благодаря богов, с тобой за этим вслед
 Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
 Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
 Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
 Ментора моего полуденных друзей.
 Увы! Оставив там могилу дорогую,
 Опять увидели мы вотчину степную,

Где волею небес узнал я бытие,
 О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
 Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
 Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью —
 И, с жизнью ее сливая жизнь свою,
 Ее событиями в глуши чужого края
 Былого своего преданья заглушая,
 Безропотно сносил морозы наших зим;
 В наш краткий летний жар тобою был любим
 Овраг под сению дубов прохладовейных.
 Участник наших слез и праздников семейных,
 В дни траура главой седой ты поникал;
 Но ускорял шаги и членами дрожал,
 Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
 Питомца твоего, недавнего корнета,
 К коленам матери кибитка принесет
 И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
 Нет! Ты не забывал отчизны лучезарной!
 Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра —
 Имел ты на устах от утра до утра,
 Именовал ты нам и принцев, и прелатов
 Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатом,
 Входящих (вопреки тех пламенных часов,
 Что, по твоим словам, от стогнов гонят псов)

*В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный Кондотъери,
Уж жиздущий свои гигантские потери.*

*Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революционных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес;
Едва ты узнику печальному Британца
Простил военную систему Корсиканца.*

*Что на твоём веку, то ль благо, то ли зло
Возникло, при тебе — в преданье перешло:
В альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратности земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.*

*А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей:
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камени суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов, и нег взлелеял Эпопею,
Где в мраке Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.*

*Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдохов и Мария и Силлы;
И кто, бесчувственный, среди твоих красот
Не жаждал в их раю обрести навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной последним, вечным сном.*

*И в сей Италии, где все — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безмянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно, —
Все беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крыльях зефира!*

*О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей травы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой, —
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала) —
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрывааемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых.
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!*

ВЛАДИМИР
ДМИТРИЕВИЧ
ЯКОВЛЕВ

145

Владимир Дмитриевич Яковлев (1817, Санкт-Петербург — 3.11.1884, Санкт-Петербург) — поэт, переводчик, путешественник, мемуарист. Недолго обучался в Императорской академии художеств, потом в Петербургском педагогическом институте. Преподавал в приходских училищах, работал журнальным корректором, печатал стихи и рассказы в духе романтизма. Кумиром его юности, как он признавался, был Сальватор Роза — неаполитанский художник, поэт и актер, философ и бунтарь по натуре. Яковлев — сам бедный поэт, болезненный и почти неизвестный, часто повторял про себя популярное в 1830-е гг. стихотворение одного из столпов русского романтизма, учителя Жуковского, Семена Раича “Жалобы Сальватора Розы”:

*Что за жизнь? Ни на миг я не знаю покою
И не ведаю, где приклонить мне главу.
Знать, забыла судьба, что я в мире живу
И что плотью, как все, облечён я земною.*

*Я родился на свет, чтоб терзаться, страдать,
И трудиться весь век, и награды не ждать
За труды и за скорбь от людей и от неба,
И по дням проводить без насущного хлеба...*

146

Но в конце 1846 г. случилось чудо: о Яковлеве узнал сам наследник русского престола, великий князь Александр Николаевич: у его супруги, великой княгини Марии Александровны, жена Яковлева до замужества служила любимой камер-девушкой. Сама А. И. Яковлева, дочь Иоганна Утермарка, изобретателя новейшей “голландской печи”, обогревавшей пол-России, выпускница Елизаветинского института благородных девиц — тоже человек интересный. Посвятившая жизнь семье, она после смерти мужа написала мемуары “Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны”, опубликованные в 1888 г. в нескольких номерах “Исторического вестника”. Как бы там ни было, Наследник-цесаревич Александр, сам воспитанник Жуковского и любитель романтической поэзии, пожаловал тогда молодому мужу придворной любимицы большую сумму — пять тысяч рублей серебром для лечения за границей. В. Д. Яковлев использовал эти деньги для по-

ездки в Италию летом 1847 г., о которой оставил подробные мемуары.

В своем большом итальянском путешествии (он посетил Венецию, Флоренцию, Рим, Ливорно, Пизу, Геную, Милан) Яковлев почти месяц провел на берегах Неаполитанского залива, воспетого Сальватором Розой. Он приехал в Неаполь из Рима в конце июля 1847 г. и поселился в престижном “Hotel de Russie”, платя за комнату с видом на залив 4 неаполитанских серебряных карлина в сутки. С балкона был отлично виден Везувий:

“Когда я приехал в Неаполь, Везувий дремал. Днем, над ним лениво клубился дымок, белый, как страусовое перо; ночью, когда море исчезало под темною синевою сумрака, и у подножия горы, вдоль берега, засвечивались огоньки, вулкан по временам выкатывал из своего жерла багровую звезду пламени, которая, блеснув на вершине, быстро потухала. Эти грозные огненные вздохи под небесами, и эти мирные вечерние огоньки внизу; сонный залив, и шумный, суетящийся, осыпанный газовыми огнями Неаполь — все это сливалось в магическую картину, от которой невозможно отвести глаза...”

Везувий производил на Яковлева завораживающее впечатление:

“Плыву ли я в алой барке по заливу, или брожу по мертвым улицам Помпеи; люблюсь ли тарантеллой на террасе дома или отдыхаю под пальмой на Капо-ди-Монте, глаза мои не расстаются с Везувием. Всюду — и между разрозненными колоннами разрушенных храмов, и в глу-

147

бине аллея, обвитых виноградными гирляндами, — на голубом фоне неба рисуется он, как грозный дух тьмы, посреди светлого, улыбающегося эдема”.

Через несколько дней началось извержение, и сотни путешественников — и среди них Яковлев — отправились к вулкану, чтобы посмотреть на редкое зрелище. (Описание ночного восхождения на Везувий, как и некоторые другие неаполитанские зарисовки Яковлева — о Помпеях, острове Капри, Лазурном гроте — публикуются во второй части настоящей книги).

За месяц Яковлев обошел пешком многие заповедные уголки неаполитанского побережья:

“Я редко спрашиваю дорогу: хотя часто заблуждаюсь, зато вижу много оригинального. Доверившись проводнику, рискуете видеть только то, что он считает достопримечательным. А опытом дознано, что такому существу достопримечательнее серебряного пиастра кажется только одно: золотой империял. Я стараюсь, по возможности, уклоняться от больших дорог: только таким способом и можно поближе познакомиться с этой прекрасною землею и с ее народом, который так часто бывал оклеветан путешественниками, имевшими дело единственно с трактирной челядью и чичеронами (проводниками. — А. К.). Аристократическое путешествие из миланских гостиных во флорентийские, римские и неаполитанские гостиные — также не дает вам почти никакого понятия о национальном характере, об особенностях и предрассудках каждого племени: в европейских

гостиных господствует род внешнего космополитизма, который называется хорошим тоном; с законами его сообразуются все столицы цивилизации. Национальные предания сохраняются неприкосновенно только в той части населения, которая называется «народом». Хотите узнать степень его довольства или бедствования, — хотите видеть все то, о чем путешественники обыкновенно умалчивают, — вмешайтесь в толпу, поживите жизнью народной массы”.

Побывал Яковлев и в Каstellамаре, где жил в “Albergo Imperiale”:

“Мне пришлось довольствоваться комнатою, расписанною фресками, которые хотя и не принадлежат гениальной кисти, однако ж несравненно приятнее для глаз, чем наши однообразные бумажные обои. Комната моя в бельэтаже, но из нее я непосредственно выхожу в сад: каменный пол здесь в уровень с садовой дорожкой, потому что сад разведен на холме, к которому прилегает дом задним фасом”.

В Сорренто обе главные гостиницы — “Сирена” и “Дом Тасса” — были, как обычно в летний сезон, переполнены англичанами, и Яковлев жил в скромном отеле “Черный Орел” — “на одной из главных здешних улиц, шагов в пять шириною”. Несколько дней Яковлев прожил и на острове Капри:

“Скромная локанда, в которой я поселился, окружена, точно дворец, виноградниками, лиловыми горами и яхонтовым морем. Рыба из этих магических волн удов-

летворявшая прихотливому нёбу Лукулла, может похвалиться блистательнейшею генеалогией. За обедом подали мне мурену, такой ослепительной белизны, что не оставалось ни малейшей возможности сомневаться в прямом происхождении ее от тех мурен, которых античные гастрономы откармливали мясом своих илотов”.

150

В путешествиях по неаполитанским берегам Яковлеву не давала покоя загадка гения Сальватора Розы и других итальянских талантов, родившихся в этих местах:

“Эта щедрая почва производит немало поэтов и импровизаторов; ясность здешнего неба сообщается и душе, как будто эта улыбающаяся природа приучает смотреть на жизнь с улыбкою и равнодушием. Можно подумать, что все эти сонеты, канцоны и импровизации созданы посреди восточного покоя, где в продолжение целых столетий, не слышно ничего, кроме шелеста пальмовых листьев да шума морских волн. Я сам уже чувствовал на себе влияние этого магического неба. Я сидел на обломке скалы, как очарованный. Человек не создан жить наедине с горами, с морем, с цветами; но с таким морем, с такими живописными утесами, посреди этой неотцветающей растительности, мне казалось, я мог бы прожить целые годы”.

Досаждали русскому путешественнику разве что местные “продавцы антиков”:

“Толпа босоногих зевак в красных шерстяных колпаках, с обнаженными до плеч руками, окружила меня и рассматривала как невидаль. Иностранец для нищих здесь

тоже, что сахарная приманка для мух. Но тут нищенство действовало по правилам коммерции. Каждый предлагал мне купить что-нибудь: черепок какой-то глиняной вазы, обломок капителя или просто кусочки мраморных мозаик, найденные где-нибудь в разрушенном храме или в разоренной гробнице. Остроумнейшие, с таинственной улыбкой, предлагали мне бронзовых Приапов, весьма удачно подделанных. В Неаполе существуют фабрики для изделия древностей. Эти заведения поддерживаются в цветущем состоянии примерным усердием британских антиквариев-туристов. Поглядев на все эти вещицы, я отдал должную справедливость искусству, с каким они подделаны. Продавцы обиделись; поглядели на меня с улыбкой сожаления, как на сущего невежду в археологии, или как на человека, добровольно отказывающегося от возможности приобрести сокровища — за бесценок”.

151

Как-то вечером Яковлеву довелось подглядеть “чисто национальную картинку”, ставшую одним из украшений его итальянских мемуаров — “сцену публичного насыщения макаронами” неаполитанскими *lazzaroni* (бедняками):

“Костры лавровых сучьев пылают на мостовой под глубокими котлами, у которых суетятся женщины, напоминающие макбетовских ведъм. Шумные толпы уличных гастрономов уже собрались. Голодные рыболовы, возвратившиеся с моря, утомленные носильщики, пересчитавшие в девятый раз все заработанные в продолжение дня карлины, и наконец, знаменитые ладзароны, умев-

шие добыть себе несколько гранов, отворяя и затворяя дверцы экипажей, или помогая причалить к берегу лодку, или, наконец, выканючить у иностранца подачку за носку зонтика или за указание улицы, — все собираются вокруг заветного котла и заглядывают в него с невыразимым вожделением. Один запах макарон заставляет многих хохотать и прыгать от радости. Зажиточные гости приносят с собой приличные миски и плошки; но ладзароны приходят с пустыми руками. Ладзарон никогда и ни в чем не затрудняется. Улыбаясь снимает он свой коричневый шерстяной колпак с нечесаной отроду головы, тряхнет им раза два об руку, или просто в шутку выколочит его об голову соседа, и, подавая один гран, велит наложить в колпак вкуснейших макарон с подливкой. Почувствовав себя владельцем этого сокровища, он воодушевляется; потом, закинув назад голову донельзя, загребаёт левой пятернею горсть макарон, поднимает их высоко над опрокинутым лицом и, потряхивая рукою, спускает эти белые, влажные нити в свой широко разинутый рот. Если макароны очень вкусны, то бедняк, глотая их, перепрыгивает с ноги на ногу. Трапеза кончена; ладзарон утирается рукавом своей рубахи, или тем, что от нее остается на его плечах, стирает излишек жира с колпака о свои ноги, и снова плотно надевает его на курчавую голову. Потом, он отходит в сторону и ложится на гладкие плиты лавы, нагретые на всю ночь солнцем, и, обратив лицо к звездам, сладко засыпает, в твердом убеждении, что прохожие с должным вниманием перешагнут через спящего”.



Неаполитанские *lazzaroni*. Рисунок середины XIX в.

Записки об итальянском путешествии 1847 г. сделали В. Д. Яковлева известным в литературных кругах: путевые очерки публиковались в “Библиотеке для чтения”, “Отечественных записках”, “Русском слове”, “Свечечке”, “Сыне отечества”. Н. А. Некрасов уговорил автора напечатать ряд очерков в “Современнике”. В 1855 г. книга В. Д. Яковлева “Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя” вышла отдельным изданием — как раз в год вступления на престол Александра II, благородству и щедрости которого была в большой степени обязана.

В 1860 г. Владимир Дмитриевич Яковлев всерьез заболел, вскоре ослеп и слег в постель, с которой не вставал двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1884 г., живя на пенсию от Общества пособия бедным писателям. Что-то есть в судьбе этого литератора и путешественника, что подтверждает смысл известной итальянской поговорки: “Увидеть Неаполь — и умереть...”

Приложение

В. Д. ЯКОВЛЕВ

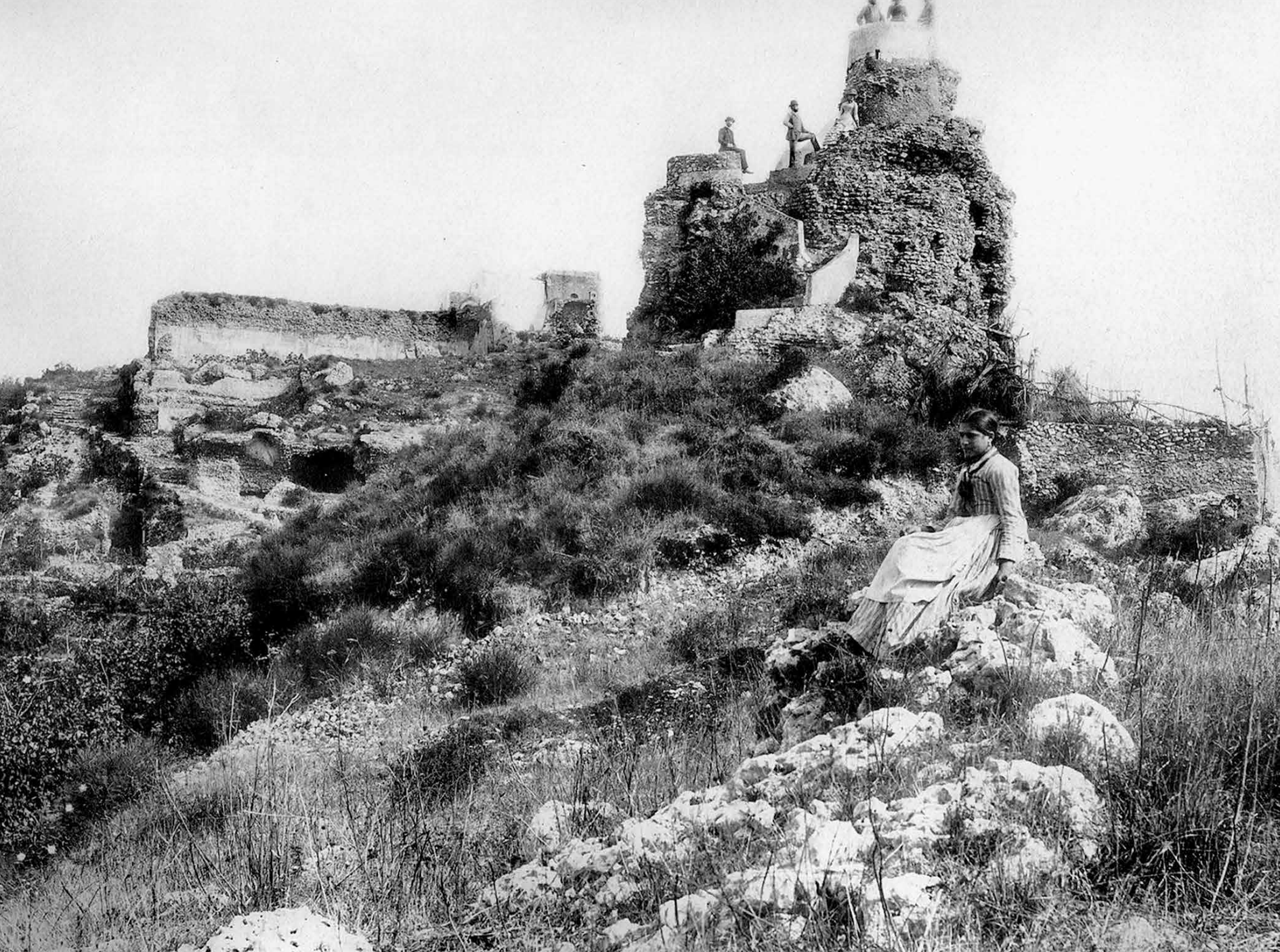
Капри. Дворец Тиверия

154

На Капрее сохранилось множество воспоминаний о Тиверии. Развалины его дворца видны издали на вершине утеса над морем. Излучинами горной тропы, пробитой в массах скал, поднялся к разрушенному дворцу кесаря. От мраморных террас, одевавших всю вершину горы, остались одни зеленеющие уступы. Нагие, обобранные стены этой античной виллы увешаны фестонами плюща и дикого виноградника. На сугробах древнего мусора раскинулись широкие листья алоэ. Природа здесь единственная преемница кесаря... Оглянувшись, я мог окинуть взором весь этот знаменитый остров, zagrożенный гигантскими желтоватыми скалами, до половины одетыми самую яркую, самую богатую зеленью. Полагают, что в день помпейской катастрофы, Везувий не пощадил и великолепной растительности Капреи. Мирты, виноград, индийская фи́га, маслины — все это возродилось из пепла; но кедровые рощи, покрывшие капрейские горы, погибли невозвратно. Память о них сохранилась только в истории... Долго у порога тивериева дворца сидел я на обломке мраморного архите́рава.

Не знаю, что сильнее волновало мою душу — исторические воспоминания, или дивная красота Средиземного моря. Я бросил обломок мрамора в море. Секунд через пятьдесят долетел до моего слуха шум расступившихся волн. Это была тарпейская скала, с которой, по мановению кесаря, низвергались в бездну римские всадники и рабы, вакханки и жрицы Весты. От знаменитого карпейского дворца уцелели всего две-три храмины, в которых вместо плафона синее небо. Мрамор, колонны, статуи — все исчезло. Кирпичные полуобрушенные стены богато одеты мхом и цветками. В этих пустынных тайниках я шагал по колено колючих травах и кустах полыни. Один только мраморный мозаичный пол сохранился на месте в продолжении осьмнадцати веков для того, чтобы подтвердить сказания о царствовавшем здесь великолепии... Когда римляне развратились, им стало тягостно суровое величие Рима. Портки форума были забыты для тесных эротических убежищ, лавровые венки променены на венки из плюща и виноградных листьев. Воины, превратившись в сибаритов, искали природы, которая пламеннее вакханки возбуждала бы неистовые страсти. Вино, с примесью ароматов, оставлено было на долю женщин: кровь оказывалась несравненно хмельнее. Они жаждали сладострастия, смешанного с ужасом... Живым комментарием Вергилия остался весь этот роскошный берег, от Помпеи до Сорренто, где земля, море и небо поныне сохранили красоту мифологическую. Здесь, посреди этой природы, расстрavляющей все стра-

155



сти. Римляне чудовищными вакханалиями отпраздновали последние дни паганизма. Под этим небом дана валтасаровская оргия древнего Рима, — выпита последняя амфора фалернского, пропета последняя элегия Проперция, замер последний языческий поцелуй... На Капрее надо читать Светония. Колоссальные сумасбродства его героев становятся немножко понятнее под этим пламенным небом. Я вижу, почему в последние годы своей жизни Тиверий удалился на Капрею...

В. Д. Яковлев. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя (1847). СПб., 1855, с.85-88.

На предыдущем развороте: Остров Капри.
На развалинах дворца Тиберия (фото 1880-х гг.).

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

159

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (6.04.1812, Москва — 21.01.1870, Париж) — писатель, философ, публицист, общественный деятель. Внебрачный сын богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гаг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою в Москву. В 1833 г. А. И. Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году был арестован за участие в студенческих кружках; ссылку отбывал в Перми, Вятке, Владимире, Новгороде. В 1842–1847 гг. жил в Москве; с 1847 г. — в эмиграции.

О первом путешествии Герцена в Италию в конце 1847 — начале 1848 г. известно достаточно много благодаря его знаменитым “Письмам из Франции и Италии”:
“Я бежал из Франции, отыскивая покоя, солнца, изящных произведений и сколько-нибудь человеческой обста-

новки... И только что я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая, вливающая силу и здоровье. Я нравственно выздоровел, переступив границу Франции, я обязан Италии обновлением веры в свои силы и в силы других, многие упования снова воскресли в душе, я увидел одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальянскому — дворцу и хижине, нарядной женищине и нищему в лохмотьях”.

28 ноября 1847 г. Герцен приехал в Рим с матерью, женой Натальей Александровной (урожденной Захарьиной), сыновьями Сашей и Колей и дочерью Натальей (Татой) и поселился в квартире на третьем этаже на Via del Corso, 18. Имея рекомендательные письма, он в первые же дни познакомился в Риме с художником Александром Андреевичем Ивановым, работавшим над “Явлением Христа народу”; в те дни они много спорили о недавно вышедшей “Переписке Гоголя”, которую Герцен категорически не принял. Иванов немедленно информировал о состоявшемся споре самого Гоголя, находившегося тогда в Неаполе. Тот достаточно быстро ответил:

“Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев...”

В середине декабря 1847 г. в Рим приехал близкий друг Герцена Алексей Алексеевич Тучков (генерал, бывший участник тайных декабристских обществ) с женой Натальей Аполлоновной и двумя дочерьми — Еленой и Натальей (будущей женой Н.А.Огарева, а потом Герцена). В течение нескольких последующих недель (в Риме, а затем и в Неаполе) Герцены и Тучковы были неразлучны.

В начале февраля 1848 г., в связи с народным брожением в Неаполе и во всем Королевстве Обеих Сицилий, в папском Риме также начинаются массовые манифестации. Герцены и Тучковы участвуют в революционных шествиях, регулярно посещают передовые кружки. Наталья Александровна Герцен позднее писала Т.Н.Грановскому о тех неделях:

“Лучшее время было в Италии... сколько любви, сколько надежд!.. Все существо кипело деятельностью, в комнате делалось неловким оставаться, мы были дома на улице. Там встречались все, как родные братья”.

Вскоре Герцен решает “посмотреть своими глазами на Неаполь в революции, на Неаполь не только изящный, но и свободный...”. Он визирует паспорта в русском посольстве, в министерстве полиции Папской области и в посольстве Королевства Обеих Сицилий и 17 февраля 1848 г. с женой, сыном Сашей и Тучковыми отправляется почтовыми дилижансами в Неаполь. Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева впоследствии вспоминала:

“Никогда не забуду этой поездки, так мне было хорошо тогда! Мы ехали в дилижансе; я сидела в купе с Натальею

Александровной и с маленьким Сашей. Александр Иванович часто подходил к нам на станциях с разными вопросами: не хотим ли поехать чего-нибудь, или попробовать местного кисленького вина, или выйти походить, пока перепрягают лошадей. Ночи были лунные; мы выходили иногда полюбоваться великолепным видом на море”.

162

18 февраля вечером Герцены и Тучковы приехали в Неаполь и остановились в одном из отелей на набережной Кьяйя:

“Вместо окна в каждой комнате была стеклянная дверь, выходящая на маленький балкон с видом на море; вдали краснел огонек и виднелась темная струйка дыма на Везувии. Не знаю, может ли кто-нибудь увидеть равнодушно Неаполь в первый раз в жизни? На нас всех он произвел сильное впечатление; в природе и на душе было так хорошо, что мы вдруг стали необыкновенно веселы, более того — даже счастливы, несмотря на нашу страшную усталость”.

(Из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой.)

В Неаполе был тогда самый разгар карнавала. 19 февраля Герцены и Тучковы побывали в театре San Carlo на опере Дж. Верди “Аттила”: гимн в честь короля Фердинанда II был встречен характерным молчанием зала. На следующее утро ездили в Сорренто, откуда потом плавали на лодке на остров Капри.

Н. А. Тучкова-Огарева: “Из Неаполя мы ездили в Сорренто; дорога туда, Сорренто и его окрестности

прелестны. В Сорренто нам посоветовали съездить в «Лазуревый грот» <на Капри>, говорили, что до него недалеко, однако это неправда: мы наняли большую лодку с шестью гребцами, и нам пришлось плыть до грота шесть часов в открытом море, в этот день далеко не покойном”.

22 февраля Герцены и Тучковы вместе ездили в Помпеи; поднимались на Везувий:

163

“Как все путешественники, мы поднимались на Везувий частью на ослах, частью пешком. Везувий представлял в то время вид огненной реки, что было необыкновенно красиво: некоторые из нас прожгли сапоги, ступая на горячую лаву...”

(Из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой.)

23 февраля Герцен узнает о подписании неаполитанским королем Фердинандом II Конституции и присоединяется к демонстрации к королевскому дворцу. В тот же день он наблюдает за освобождением политзаключенных и торжественной встречей их на улицах Неаполя. Герцен вспоминал о тех днях:

“Жизнь, которая распространилась в Неаполе после конституции, нельзя себе представить. Толдо кишит народом с утра до ночи... Все шумят и веселятся; клубы дают обеды и праздники — никто не боится сбиров <агентов полиции>. Представьте себе оргию, в которой участвует целый город; это была политическая *Walpurgisnacht* <Вальпургиева ночь>... Люди с восторгом в гла-

зах, с разгоревшимся лицом, со слезами бросались друг другу в объятия, незнакомые останавливали незнакомых и поздравляли”.

В те же дни, на фоне всех этих исторических событий, с Герценом происходит в Неаполе трагикомический эпизод — на одном из многочисленных митингов у него выкрали бумажник (“портфель”) со всеми деньгами и документами:

“Раз возвращаясь домой, я не нашел портфель, в нем были ломбардные билеты, векселя, кредитивное письмо, и к тому же мой пасс <паспорт>, — словом, все мое состояние. Что было делать! Я бросился к Ротшильду, к графу Феррети, двоюродному брату Пия IX, к которому имел рекомендательное письмо. Феррети ничего не сделал, только нюхал как-то не по-людски и очень противно табак. Ротшильд велел написать рекомендательное письмо к префекту графу Тофано. Отправляясь к нему, я встретил Спино, редактора «Эпохи». Спино предложил прежде префекта идти к Микеле Вальпузо, это был революционный начальник неаполитанской черни... Вальпузо сказал, что «если портфель цел и в Неаполе, то его доставят», и советовал, между прочим, объявить афишами, что я даю сто скудов тому, кто найдет потерянный портфель. На слово «потерянный» он особенно налегал, говоря, что если будет сказано «украденный», то его никто не принесет”.

Прошло совсем немного времени, и к русскому посольству явился молодой, характерного вида неаполитанец и вернул бумажник Герцена:

“Человек был совершенно нагой, и только на плече болтался клоч паруса. Это был худой, оливкового цвета, породистый лаццарони, лет 17, с плоским лбом, с хищными зубами, весь из мускулов, весь обожженный солнцем... Когда я ему дал сто скуди серебром, он не знал, куда их деть, у него не было ни кармана, ни тряпки...”

Через несколько дней в Неаполь пришло известие о революции во Франции, свергнувшей Луи-Филиппа и провозгласившей республику. 12 февраля Герцен уехал из Неаполя, через день был в Риме, а оттуда выехал в Париж через Чивитавеккья, Ливорно и Марсель. Позднее, в “Былом и думах”, Герцен написал:

“Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне было жаль ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей...”

Революционные события в Италии увлекли впоследствии старшего сына Герцена — Александра: в 1859 г. он решил осуществить свою детскую мечту и примкнуть к Джузеппе Гарибальди, воевавшему тогда под Неаполем. Герцен-отец поддержал намерение сына и обратился к своему другу — итальянскому революционеру Саффи. Тот ответил:

“Завтра я отправляюсь в Неаполь по приглашению самого Гарибальди... Я передам ему о намерении Вашего сына... Уверен, что Гарибальди будет очень рад принять его...”

Александр Герцен-младший не успел примкнуть к Гарибальди — под натиском революционных войск монархия Бурбонов в Неаполитанском королевстве быстро пала. Через некоторое время Гарибальди передал власть в Неаполе сардинскому королю Виктору Эммануилу. А. И. Герцен в те дни с горечью писал:

166

“Он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика, когда он довез до станции”.

Следующий приезд А. И. Герцена в Неаполь относится к осени 1863 г. Годом раньше его дочери Наталья и Ольга вместе с воспитательницей Мальвидой Мейзенбуг уехали из Лондона в Италию; поселились в Неаполе, а летние месяцы проводили на острове Капри. В конце сентября 1863 г. Герцен, находившийся под пристальным вниманием полиции разных стран, решил ехать в Италию “инкогнито” — навестить детей, а заодно проверить возможность перевода в один из итальянских городов Вольной русской типографии. Из Англии он с сыном Николаем через Париж, Женеву, Ниццу и Геную приехал в Ливорно, где они сели на пароход “Aunis”, следовавший до Неаполя с промежуточной стоянкой в Чивитавеккья (там Герцен не стал сходить на берег, так как опасался ареста полицией Папской области). Рано утром 14 октября 1863 г. Герцен с сыном приплыли в Неаполь (см. Приложение).

В Неаполе Герцен остановился в “Hôtel Washington” на набережной Кьяйя. Известно, что в те дни он вместе с

сыном, дочерьми и М. Мейзенбуг осматривал город (где не был пятнадцать лет), побывал в Геркулануме и Помпеях, снова поднимался на Везувий. Договорившись о переезде дочерей во Флоренцию, он выехал 25 октября пароходом из Неаполя в Ливорно. (Именно тогда на пароходе произошла его знаменитая встреча с Ф. М. Достоевским, путешествовавшим по Европе с А. П. Суловой.)

167

Уже во Флоренции А. И. Герцен принял окончательное решение не переносить центр русской революционной эмиграции в Италию (в конце концов он остановился на варианте Женевы). Впоследствии он еще не раз будет посещать Северную Италию (где во Флоренции долго жили две его дочери и сын Александр), но в Неаполе А. И. Герцен больше не был.

Приложение

А. И. ГЕРЦЕН

Возвращение в Неаполь

Ну вот я и на Кьяйе, и потухнувший Везувий передо мной, и синее небо, и синее море... Опять увидел я своими глазами романскую половину старого мира, проверил ее еще раз от Кале до Неаполя — и с тем же тяжелым чувством, с которым я посещал Лондон, гляжу на Сен-Эльм и Капри... Когда наш пароход при вос-

хождении солнца тихо и плавно огибал мыс Мизен и вслед за Искъей и Прочидой открывалась вся дуга от Позилиппо до Сорренто, все присмирело на палубе. Все с умилением молилось этому великому преображению земли, воды и воздуха. Но с городом я далеко не так светло встретился, как пятнадцать лет тому назад. Кто из нас изменился — не знаю. Вероятно, оба. Судьбы Неаполя были тяжелы, пока мы не видались. От баррикад на улице Толедо в 1848 г. и бойни, которой Фердинанд II окончил конституционную эру своего правления, до вошествия Гарибальди со своими ополченцами жизнь Неаполя, шумливая, суетливая, но несильная и пустая, была подавлена, забита и еще больше обращена на бессмысленный толчок и ежедневные дрязги... Нечего дивиться, что Неаполь, по большей части скверно построенный, старел, чернел и совсем осунулся в последние годы. Где тут было думать об улучшениях и о комфорте! Он жил все это время в вечной тревоге, боясь явного правительствования короля и тайного — каморристов; откупаясь от обоих, боясь полиции и революционеров, боясь светской и духовной цензуры, запертый на ключ от всего мира, он рад был, что его сколько-нибудь оставляют в покое. Следы того, что было, остались; в Неаполе нет никакой умственной деятельности, книжные лавки бедны книгами, кафе — газетами; в кабинете для чтения на Толедо нет книг, да нет и журналов; хозяин извиняется тем, что иностранцев еще мало, а неаполитанцы не читают.

А. И. ГЕРЦЕН. С континента. Письмо из Неаполя //
Сочинения в 30 тт. М., 1959, т. 17, с. 279-282.

И В А Н С Е Р Г Е Е В И Ч Т У Р Г Е Н Е В

169

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (9.11.1818, Орел — 3.09.1883, Буживаль, Франция) — писатель. Родился в семье отставного полковника-кирасира Сергея Николаевича Тургенева (умер в 1834 г.) и наследницы богатого поместья, Варвары Петровны Лутовиновой. Учился в частных пансионах, затем в Московском и Санкт-Петербургском университетах. В 1838 г. отправился для продолжения образования в Германию, где в Берлинском университете изучал философию, филологию и историю.

Впервые приехал в Италию ранней весной 1840 г. Из Петербурга ехал в санной повозке, потом в почтовом дилижансе с попутчиком — секретарем русского посольства в Риме П. И. Кривцовым; в Вене (“жирной столице Австрии”) Тургенев на неделю задержался.

В Риме двадцатидвухлетний Тургенев близко сошелся с уже знакомым ему по Берлину молодым философом и литератором Николаем Владимировичем Станкевичем, интеллектуальный кружок которого собирался на его римской квартире в доме № 71 на Via del Corso (через несколько месяцев Станкевич скончался от чахотки в итальянском городке Нови между Генуей и Миланом). О роли Станкевича в своей судьбе Тургенев осенью того же года писал М. А. Бакунину:

“Как для меня значителен 1840-й год! Как много я пережил в 9 месяцев! Вообрази себе — в начале января скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение — его волнуют смутные мысли; он робок и бесплодно задумчив... В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли переворот, или нет — начало развития моей души! Как жадно я внимал ему! Я видел в нем цель и следствие вечной борьбы и мог, отложивши ее начало, без угрызения предаться созерцанию мира художества: природа улыбалась мне. Я всегда чувствовал ее прелесть, веянье Бога в ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений; теперь я с радостью протягивал к ней руки и перед алтарем души клялся быть достойным жизни... Станкевич! Тебе я обязан своим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель”.

20 апреля 1840 г. И. С. Тургенев вместе с литератором А. П. Ефремовым отправился из Рима в Неаполь. Документальных сведений об этой поездке не сохранилось,

однако некоторые позднейшие литературные фрагменты, в которых у Тургенева появляется “неаполитанская тема”, носят, судя по всему, автобиографический характер. Таково, например, письмо XII в повести “Переписка” (1844–1855):

“Я вспомнил свое пребывание в Неаполе. Погода тогда стояла великолепная, май только что начинался, мне недавно минуло двадцать два года. Я скитался один, сгорая жаждой блаженства... Что значит молодость! Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я... Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах! Каким жидким пламенем переливалась и вспыхивала вода под веслами, каким благовонием веяло по всему морю!”

Безусловно, автобиографической является и “соррентийская история” в рассказе “Три встречи” (1851) (см. Приложение).

Пробыв в апреле-мае 1840 г. в Неаполе около двух недель, Тургенев через Ливорно, Пизу и Геную отправился в Швейцарию и далее в Германию.

В следующий раз И. С. Тургенев побывал в Неаполе, уже будучи известным писателем, во время поездки в Италию в 1857–1858 гг., о причинах которой он писал вскоре своему близкому другу — графине Елизавете Егоровне Ламберт:

“...Вместо Петербурга я попал в Рим — и раньше мая месяца в Россию не приеду. Отчасти это сделалось слу-

чайно: один мой хороший приятель <писатель В. П. Боткин> отправлялся в Рим и пригласил меня с собою; но была также и причина, почему я так скоро согласился. В последнее время я вследствие различных обстоятельств ничего не делал и не мог делать; я почувствовал желание приняться за работу — а в Петербурге это было бы невозможно; меня бы там окружили приятели, которых бы я увидал с истинной радостью, но которые помешали бы мне (да я сам бы себе помешал) уединиться; а без уединения нет работы. . . Если я и в Риме ничего не сделаю — останется только рукой махнуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то по крайней мере человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет”.

17 октября 1857 г. Тургенев выехал из Парижа и через Лион, Марсель, Ниццу и Геную 30 октября приехал в Рим, где остановился в “Albergo Inghilterra” (“Hôtel d’Angleterre”) в № 57 на Via Bocca di Leone, 14. В этом знаменитом, существующем и сегодня отеле (где в разное время жили

Байрон, Шелли, Китс, Лист, Хемингуэй, Мендельсон, Андерсен, а также многие коронованные особы) И. С. Тургенев зимой 1857–1858 гг. завершил повесть “Ася” и начал работу над “Первой любовью” и “Дворянским гнездом”.

О новом приезде в Италию И. С. Тургенева (мучимого в те дни и творческими проблемами, и болезнью, и драмой в отношениях с Полиной Виардо) написал в биографическом романе “Жизнь Тургенева” писатель Б. К. Зайцев:

“Тургенев в Италии уже бывал — давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все — впереди. Теперь он — человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула”.

В этот раз И. С. Тургенев был в Риме частым гостем либерального салона великой княгини Елены Павловны (вдовы великого князя Михаила Павловича, дяди недавно вступившего на престол Александра II), постоянными посетителями которого были будущие активные деятели александровских реформ — князь В. А. Черкасский, князь Д. А. Оболенский, граф Н. Я. Ростовцев. Часто собрания проходили и на Via Gregoriana, в квартире князя Владимира Александровича Черкасского и его жены, княгини Екатерины Алексеевны. Благодаря новым друзьям Тургенев включается в обсуждение непривычных для себя политических вопросов, связанных с перспективами нового царствования:

“Я здесь, в Риме, все это время много и часто думаю о России — что в ней делается теперь? Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны, или застрянет на полпути. До сих пор слухи приходят все только благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — поднимет и этого медведя из берлоги”.

В середине февраля 1858 г. И. С. Тургенев и В. П. Боткин выехали из Рима в Неаполь, где прожили с 17 февраля по 7 марта в “забитом иностранцами” “Hôtel de Rome” на набережной Санта-Лючия. Вместе с Черкасскими (которые приехали в Неаполь почти одновременно с ними и поселились в тоже переполненном соседнем “Hôtel de Russie”) Тургенев и Боткин ездили в Помпеи, плавали на Капри, смотрели Лазурный грот. Впоследствии Тургенев писал из Рима А. А. Фету:

“Я виноват перед Вами; не тотчас ответил на Ваше первое письмо. Причиной тому была поездка в Неаполь, где мы с Боткиным провели около двух недель весьма приятно, несмотря на неудовлетворительную погоду и на отсутствие зелени, придававшие всем великолепнейшим видам какую-то унылую и сухую мертвенность. Неаполь надо видеть летом! Но на нет суда нет — мы и тем были довольны. Помпеи произвели большое впечатление — а также Голубой грот и поездка туда”.

8 марта И. С. Тургенев вернулся в Рим, через несколько дней выехал оттуда во Флоренцию, а затем через Пизу, Геную, Милан, Венецию и Триест уехал в Вену.

Приложение

И. С. ТУРГЕНЕВ

Три встречи

(фрагмент)

Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице; уже давно настала ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно ярко; большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделялись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсиновые деревья поднимали над ними свои кривые ветки, золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно белели цве-

ты; воздух весь был наполнен благовонием томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успев уже привыкнуть ко всем этим чудесам, думал только о том, как бы поскорей добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона, надстроенного над самой стеной ограды, вдоль которой я спешил, раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне неизвестную, и в звуках его было что-то до того призывное, он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданием, выраженным словами песни, что я тотчас невольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна; но в обоих жалюзи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза — *viene, viene* <приди, приди>, голос замер; послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер, платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли... кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила: “*Sei tu?*” <Это ты?> Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулись, и огонь в павильоне еще более померк, как будто вынесенный в другую комнату. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившейся передо мною, было пораз-

ительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами, для того чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту; но общее впечатление было несказанно сильно и глубоко... Простояв довольно долго на одном и том же месте, я, наконец, отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал... слушал с напряженным вниманием... Мне то будто чудилось чье-то тихое дыхание за потемневшим окном, то слышался какой-то шорох и тихий смех. Наконец, раздались в отдалении шаги... они приблизились; мужчина такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, которой я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом, подождал, стукнул опять и запел вполголоса: “*Ecco ridente...*” <Вот веселый> Калитка отворилась... он без шума скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой, расставил руки и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома <дома в Сорренто, где родился Торквато Тассо. — А. К.>.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

178

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ (26.09.1823, с. Надеждино Оренбургской губ. — 27.01.1886, Москва) — публицист, поэт, общественный деятель. Окончил Санкт-Петербургское Училище правоведения, служил чиновником в Правительствующем сенате и Министерстве внутренних дел. Позднее полностью посвятил себя литературному и издательскому труду.

В начале 1857 г. И. С. Аксакову не было еще 34-х лет. После многочисленных поездок по России, за описание которых (например, за исследование об украинских ярмарках) он получил сначала Константиновскую премию Географического общества, а затем и Демидовскую премию Академии наук, Аксаков решил предпринять

большое заграничное путешествие — чтобы завершить свое “бродяжничество”, после чего приняться “за серьезное дело”. В середине марта он выехал из Петербурга в Германию, посетил Мюнхен, Нюрнберг, Вюрцбург, Франкфурт, Майнц. Далее через Страсбург и Нанси прибыл в Париж, откуда ездил в Лондон к А. И. Герцену.

Поздней весной 1857 г. Аксаков отправился в Италию. В те дни он писал родным:

“Я не боюсь зноя, напротив, люблю его; ехать прямо в Италию из России мне просто не хотелось; меня в большей степени, чем Италия, интересовала жизнь и быт действующих народов. А теперь я с большим наслаждением туда отправлюсь”.

Проехал из Парижа на дилижансе через Лион, Марсель, Ниццу и Турин в Геную, оттуда морем — в Ливорно. Посетил Флоренцию и Рим, а в начале июня 1857 г. прибыл почтовым дилижансом в Неаполь (чуть более суток езды от Рима), где поселился в гостинице на набережной Санта-Лючия с видом на залив и Везувий:

“Неаполь так хорош, так оригинален, что заставил меня забыть на все время Рим. Описывать его почти невозможно, надо видеть. Как описать вам этот цвет залива, эту прозрачность воздуха, такую, что на дальнем расстоянии вы различаете самые мелкие предметы, эти берега с руинами, гротами, скалами, утесами, с садами, с виллами, мс городами, стоящими амфитеатром, отражающимися в воде! Все это обхватываете вы разом, видите Неаполь, вдали Портичи, Кастелламаре, Вико,

179

Сорренто, видите ясно, не напрягая зрения, а сзади этих городов идут лилово-коричневые линии гор, среди которых — Везувий! Везувий, вечно дымящийся, а теперь по ночам, по случаю извержения, с огненным языком. Один Везувий — такое чудо природы, что на него нельзя смотреть равнодушно”.

180

В один из дней Аксаков решился на восхождение к кратеру вулкана (см. вторую главу книги). Свои ощущения на вершине Везувия он передал в письме родным:

“Приходишь в какое-то особенное восторженное состояние духа, становится весело, уйти не хочется; что-то упоительное в этом реве, в этой возне стихий, в этом чуде, в этой тайне природы. При нас заходило солнце, и красный шар его закатывался медленно между двумя мечущимися во все стороны огненными языками. Внизу течет или, вернее сказать, медленно движется огненный ручей лавы, пробившийся из-под верхней горы...”

Уже поздно вечером Аксаков возвратился пешком в Помпеи (откуда начинал восхождение), а оттуда отправился в экипаже в Неаполь — *“садами и берегом моря, при лунном свете”*.

В Неаполе Аксаков повстречал знакомых — семейство харьковских помещиков Квитков: Валериана Андреевича, гвардии штабс-капитана в отставке; его жену, Елизавету Карловну (урожденную Гирш) и двух малолетних сыновей — Валериана и Андрея. Квитки — богатые малороссийские помещики, были убежденными поклонниками Италии. Родители Валериана Андрееви-

ча — Андрей Федорович Квитка (многие годы бывший харьковским губернским предводителем дворянства) и Елизавета Николаевна (урожденная Бердяева, приходящаяся двоюродной бабкой русскому философу Н. А. Бердяеву) по несколько месяцев в году жили в Италии. Андрей Квитка был знатоком и страстным коллекционером итальянской живописи: в его домашней галерее были картины Тициана, Веронезе, Корреджио. Любовь к Италии унаследовали и новые поколения Квитков. Вот как И. С. Аксаков описывает оригинальные апартаменты, снятые Валерианом Квиткой-старшим летом 1857 г. в Позилиппо, пригороде Неаполя:

181

“К счастью своему, я нашел в Неаполе знакомых... Они проводят здесь лето и нанимают здесь виллу на море, подле знаменитого грота Позилиппо, созданного еще римлянами. Я обедал и проводил у них вечера довольно часто. Вы думаете, что это великолепный дом? Ничуть не бывало, но этой прелести никаким золотом не купишь. Это скала над морем с гротами, выдолбленными морем, скала, обделанная в довольно удобное и вполне изящное жилище: внутри скалы пустое пространство усажено апельсинами, обвешано виноградом — это двор; естественный свод, несколько обсеченный, служит дверью; углубления в скале, заделанные четвертою стеною, превратились в комнаты с окнами и балконами. Обедаете вы в гроте или на этом дворе под виноградом и апельсинами, — перед вами море неописано нежного голубого цвета, море, по которому проносятся от времени до вре-

мени лодки с латинскими парусами (треугольниками); против вас, на той стороне залива — Везувий...”

Аксаков тем летом много путешествовал по побережью Неаполитанского залива. В письме родным он описал свои впечатления от увиденных Помпей и Геркуланума: *“Для этого одного можно перейти моря и горы. Невозможно передать вам того ощущения, которое испытываешь, бродя по этим городам... Колоссальные развалины Рима говорят вам о торжественных явлениях жизни древних, а здесь вы видите ежедневный, домашний быт... Сколько притягательной прелести в этом осмотре, в этом пытании древней жизни, в этом разговоре с нею, в этих немых каменных ее ответах”.*

В один из дней, добравшись до Сорренто, Аксаков предпринял поездку на лодке в Амальфи. Там гребцы (они же гиды) провели его по горной тропинке в соседнее Атрани, где показали дом Мазаниелло — национального героя Неаполя, руководителя восстания горожан против испанской администрации в XVII в.

В Неаполе Аксакову очень понравилась жизнь бедных, но никогда не унывающих итальянцев:

“Тут под сводами, полуразвалившимся, храма Венеры танцевали мне тарантеллу... Хороши костюмы танцующих, да небо голубое, видное сквозь колонны храма, да цветы и деревья, растущие около храма. Так и хочешь населить эти окрестности мифологическими существами и самому надеть тогу; так нейдет здесь фрак или панталоны, которые бы в ужас привели древних”.

Между тем, в переписке со славянофильски и резко антикатолически настроенными родными (в первую очередь, с отцом Сергеем Тимофеевичем и старшим братом Константином) Аксаков старался “уравновешивать” свои восторги от итальянского юга несколько нарочитой “критической социологией”:

“Слишком очаровательна здесь природа, утомляет тем, что содержит человека в постоянном восхищении. Так хороша, что я забыл здесь про гнусность Неаполитанского короля, и самый католицизм представился мне здесь только с одной своей поэтической стороны”.

В середине июля Аксаков получил в Неаполе ответное письмо от отца, где Сергей Тимофеевич писал:

“Мать и сестры приходят в восхищение от местностей и природы, тебя окружающей; но мы с Константином, испорченные нашей русской природой, не увлекаемся восторгами и признаюсь тебе, ни разу не мелькнула у меня мысль или желание — взглянуть на все эти чудеса. Я не могу себе вообразить без ужаса, тебя, стоящего на лаве, под которой кипит море огня. Конечно, я ни за что на свете не пошел бы туда... Что такое народ итальянский, теперь — это самая большая загадка. Детство это или старость? Гоголь предвещает ему великую будущность, но я этому не верю”.

Многое в Неаполе напоминало Ивану Аксакову родину: “неаполитанская тарантелла немногим отличается от малороссийского трепака”; “женский костюм почти нельзя отличить от нашего сарафана, даже головы

повязывают по-нашему” и т.п. Дальнейшие судьбы России и Италии очень интересовали Аксакова:

*“Странный народ итальянский; не могу до сих пор раз-
брать его порядком: он вовсе не смотрит стариком, как
прочие народы; напротив, его беспечность, веселость,
живость (посмотрите на народ простой в церковных
процессиях, на которые бедные разоряются, в театрах,
в забавах — он весь душой тут участвует, будто важное
дело) кажутся вам иногда залогом внутренней свободы,
независимой от политического гнета. Но иногда кажет-
ся вам этот народ будто неразвившимся, еще на степени
детства или некоторой полудикости; приходит в голову,
что ему вечно суждено таким остаться, по крайней мере,
до тех пор, пока он будет находиться в духовном плену
католицизма”.*

В середине июня 1857 г. И. С. Аксаков отплыл из Неаполя на пароходе “Philippe Auguste” в Ливорно и далее в Геную. Провел несколько дней в Венеции, а затем, через Швейцарию и Германию, отправился в Россию.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

185

БОРИС Николаевич Чичерин (26.05.1828, Тамбов — 3.02.1904, Москва) — правовед, философ, историк, мемуарист. Академик (1893). Согласно семейному преданию, Чичерины вели свое происхождение от итальянца Чичерини, приехавшего в 1472 г. Москву в свите дочери византийского императора Софии Палеолог, выходящей замуж за русского царя Ивана III. Правда, сам Б. Н. Чичерин больше верил более поздним документам, согласно которым его предком был некий “Матвей Меньшой”, который “за московское сидение” при царе Василии III получил в начале XVI в. вотчины в Лихвинском и Перемышльском уездах, откуда эта ветвь Чичериных перешла в Тамбовский край.

Окончил юридический факультет Московского университета; под влиянием своего наставника, про-

фессора-историка Тимофея Николаевича Грановского, сформировался как “русский европеист”, критично относящийся к идеям “национальной исключительности”:

“Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви... Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал... Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом; и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другого”.

В 1857 г., с ослаблением в России цензуры после смерти царя Николая I, Борис Чичерин защитил, наконец, магистерскую диссертацию и тогда же решил предпринять большое заграничное путешествие для изучения политики и культуры европейских стран. В Предисловии к своим мемуарам о поездке в Европу в 1858–1861 гг. он писал:

“В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священ-

ные пределы отечества... Но с новым царствованием и с заключением мира (после Крымской войны. — А. К.) все препятствия разом исчезли. Двери открылись настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи — все это я жаждал видеть своими глазами: я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете”.

В мае 1858 г. Б. Н. Чичерин отправился в Италию, где в Турине (столице Сардинского королевства) в русском посольстве работал его брат Василий. Потом были Ницца, озера Северной Италии, Швейцария, путешествие по Рейну, Лондон (где Чичерин встречался с А. И. Герценом), Париж, снова Ницца и, наконец, поездка в Рим, откуда ранней весной 1859 г. Чичерин отправился в Неаполь — *“посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре”:*

“Здесь в дивной гармонии соединяется все, что может пленить чувства человека: край, издавна манивший своею красотой, полный исторической и современной жизни, как бы лелеющийся на солнце под безоблачным нежным небом, при ярко голубом море; кругом ласкающий воздух, напоенный ароматами, плавные линии гор, померанцевые рощи и стройные пинии и над всем этим

величественный и вместе удивительно красивый Везувий с дымящейся вершиною, который, как одинокий великан, вздымается над равниною, словно любясь расстилаюся у ног его прелестью”.

Осмотрев богатейшие музеи Неаполя, Чичерин посетил Помпеи, а потом съездил в Сорренто:

188

“Сидя на висящей над морем скале, я вдыхал в себя этот упоительный воздух и любовался закатом солнца, тихо погружающегося в море и озаряющего своими золотыми лучами эту очаровательную картину... Я долго сидел и не мог наглядеться на восхитительное зрелище, которое открывалось моим взорам: у подножия лежал гладкий, как зеркало, отражающий голубое небо Неаполитанский залив; налево рисовались на горизонте дымчатые очертания замыкающих его островов, величественного Капри и изящного Искья; впереди расстилающийся полукругом Неаполь и весь усеянный виллами берег; справа поднимающийся плавными линиями высокий Везувий, увенчанный легким дымком, кругом яркая зелень апельсиновых рощиц с перемешанными между ними розовыми цветами персиков и блистающими на солнце каплями недавней росы, все это облитое тихим сиянием апрельского утра с носящимся в теплом и влажном воздухе весенним благоуханием. Это одно из тех впечатлений, которые не забываются ввек”.

Из Сорренто Чичерин плывал на Капри, где побывал в Лазоревом гроте, а затем “въехал верхом на осле на высокую, отвесно вздымающуюся над морем скалу Тиберия,

некогда любимый приют сумрачного деспота, отсюда правившего миром”:

“Опять мне представился тот же вид, но в еще большем величии: с одной стороны, далеко внизу, весь окаймленный горами и поселениями Неаполитанский залив, а с другой стороны безграничная, бездонная лазурь и наверху и внизу, лазурь сияющая таким удивительным блеском и манящая к себе такою чудною глубиною, что очарованный взор так в ней и тонет и не в силах от нее оторваться”.

189

Уже искушенному путешественнику по Европе, Чичерину было с чем сравнивать красоты неаполитанского и амальфитанского побережья:

“Я видел северную ривьеру от Ниццы до Специи и думал, что в мире не может быть ничего красивее этого сочетания величественных скал и лазурного моря, с дорогою, извиляющеюся по берегу, украшенному противоположно зеленью померанцев и оливок, с всюду ползущими растениями по оградкам, и с живописно развернутыми местечками и городками, где самые простые постройки просятся на картину. То же самое я увидел и на южной ривьере, между Амальфи и Салерно, но в еще большем величии и красоте: здесь скалы еще живописнее, море сияет еще более яркою лазурью”.

Через Салерно, Чичерин доехал до Пестума, где видел “удивительно сохранившиеся древние дорические храмы, возвышающиеся среди пустынной равнины по всей их гармонической простоте и изяществе”. Вернувшись в

Неаполь, он, в довершение, совершил восхождение на Везувий вместе со своим старинным другом, известным литератором Д. В. Григоровичем и несколькими русскими офицерами-моряками (см. вторую часть настоящей книги).

Из Неаполя Чичерин уехал во Флоренцию, а оттуда — снова к брату в Турин.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ

191

Владимир Сергеевич Соловьев (16.01.1853, Москва — 31.07.1900, имение Узкое под Москвой) — философ, религиозный мыслитель, поэт, публицист, литературный критик. Почетный член Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900). Вырос в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. В 1873 г. окончил историко-филологическое отделение Московского университета.

В марте 1875 г. Совет Московского университета удовлетворил ходатайство двадцатидвухлетнего доцента В. С. Соловьева о предоставлении ему заграничной командировки, *“преимущественно для изучения в Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой философии”*. 21 июня Соловьев выехал

поездом из Москвы по маршруту Варшава — Берлин — Ганновер — Кельн — Остенде — Дувр — Лондон.

Осенью 1875 г. Соловьев едет для продолжения работ в Египет: пересекает Францию и Италию, и из апулийского порта Бриндизи плывет английским пароходом в Александрию. Через некоторое время, в пустыне под Каиром, ему следует “видение”, давшее толчок к созданию оригинальной религиозно-философской концепции, главные контуры которой были намечены Соловьевым уже в Италии.

В начале марта 1876 г. Вл. Соловьев пишет матери из Каира о намерении в ближайшие дни возвратиться в Европу и на месяц поселиться в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива:

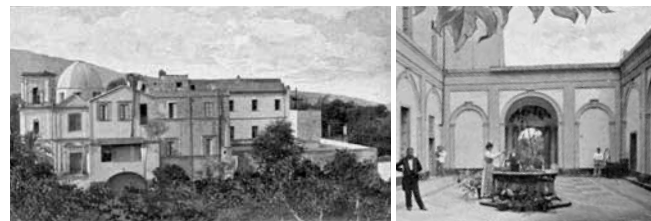
“Пищи себе в Египте не нашел никакой, а потому через 8 дней уезжаю отсюда в Италию... В Италии я поселюсь на один месяц в Сорренто, где в тиши уединения буду дописывать некоторое произведение мистико-теософо-философо-теурго-политического содержания и диалогической формы... Затем отправлюсь в Париж...”

16 марта 1876 г. В. С. Соловьев приплыл из Александрии в Неаполь, откуда переехал в Сорренто. 20 марта он писал матери:

“Покинув землю Египетскую 12-го марта, после благополучного плавания прибыл в Неаполь 16-го, где пробыл 2 дня и уехал в Сорренто... Сорренто, как вам, вероятно, известно, есть маленький приморский городок в виду Неаполя и Везувия, и отличается всевозможными красота-

ми природы, которыми я, впрочем, не успел еще насладиться по причине непрерывного дождя и бурных ветров, свойственных этому месяцу. Живу я в отеле над самым морем и думаю пробыть здесь до конца апреля, который в Италии есть лучший месяц”.

“Отель над самым морем” — это существующий и поныне отель “Cocumella” в районе Сант-Аньелло, пригороде Сорренто в направлении Вико, Каstellамаре и Неаполя. Гостиница, где поселился в марте 1876 г. В. С. Соловьев, имеет богатую историю. В конце XVIII в. помещения бывшего монастыря иезуитов были переделаны под пансионат для отдыха генералов наполеоновских армий. Собственно отель был создан здесь в 1822 г. и прославился своими постояльцами, среди которых Гете, Андерсен, герцог Веллингтон, Фрейд, Моравиа. Территория отеля примыкает к прекрасному ботаническому саду — Parco dei Principi, достопримечательностью которого является самая знаменитая соррентийская вилла — Villa di Poggio Siracusa, приобретенная в конце XIX в. русским князем К. А. Горчаковым (младшим сыном знаменитого канцлера).



Отель “Cocumella” в Сорренто,
где В. С. Соловьев жил весной 1876 г.

В Сант-Аньелло Соловьев погрузился в написание задуманного в Египте религиозно-философского трактата, а в свободное время совершал прогулки по окрестностям. Во время одной из них он познакомился с путешествовавшей по Италии русской дамой — Надеждой Евгеньевной Ауэр, красивой и образованной женщиной, свободно говорившей на нескольких европейских языках. В девятнадцать лет Н. Е. Ауэр, “по страстной любви”, вышла замуж за скрипача-виртуоза венгерско-еврейского происхождения Леопольда Ауэра, приехавшего работать в Россию и ставшего солистом двора Его Императорского Величества, а потом и дирижером придворной певческой капеллы. После свадебного путешествия в Венгрию молодые супруги сняли апартаменты в Петербурге на Крюковом канале, а позднее купили большую дачу в Дуббельне — известном курорте под Ригой, где регулярно давались представления и концерты. Постепенно литературно-музыкальный салон Ауэров стал одним из самых популярных в столице. Внешность Надежды Ауэр описал близко ее знавший известный юрист А. Ф. Кони:

“Надежда Евгеньевна — белокурая стройная особа, с изящным лицом польского типа; глаза темно-голубые, изящные ручка и ножка, мягкий контральт... Нельзя было назвать ее победительной красавицей, но она покорила окружающих необыкновенно мягкой и изящной женственностью”.

Весной 1876 г., о которой идет речь, Л. Ауэр был занят на гастролях, и Надежда Евгеньевна отправилась в

путешествие в Италию в сопровождении некоей “приятельницы”, фигурирующей в письмах В. С. Соловьева, как “m-lle Train”. О некоторых подробностях взаимоотношений В. С. Соловьева и Н. Е. Ауэр под Неаполем в марте-апреле 1876 г. пишет в мемуарах его племянник — С. М. Соловьев-младший:

“Однажды Соловьев попросил провести с ним вечер. Надежда Евгеньевна согласилась при условии, что Соловьев даст ей услышать голос или звуки скрипки ее мужа; подобно многим, она верила в магические способности Соловьева. Когда они остались одни, Соловьев вперил в нее такой взгляд, что ей сделалось страшно. Лампа сама потухла, в воздухе явственно пронесся звук отдаленной скрипки. Лампа вновь зажглась сама собой, а измученный напряжением Соловьев упал на колени перед Надеждой Евгеньевной и зарыдал”.

6 апреля 1876 г. во время конной прогулки с Ауэр к кратеру вулкана Везувий с Соловьевым приключилось несчастье. О подробностях случившегося написал в своих воспоминаниях князь Д. Н. Цертелев, одним из первых услышавший эту историю непосредственно от Соловьева во Флоренции. Когда путешественники уже спускались с крутого склона Везувия верхом на лошадях, “к Соловьеву пристала куча мальчишек, требуя милостыни. Соловьев раздал им всю мелочь, а так как они продолжали приставать, то в доказательство, что у него больше ничего нет, бросил им свой кошелек; когда и это не помогло, вздумал спастись от них бегством”.

Спасаясь от попрошайек, Соловьев на крутом склоне попытался пустить лошадь в галоп; та оступилась и упала, а сам всадник больно расшибся и в критическом состоянии был доставлен в клинику в Неаполь. Перевезенный затем в свою гостиницу в Сорренто, Соловьев, опекаемый Надеждой Ауэр, быстро пошел на поправку.

196

Судя по всему, в первых числах мая 1876 г. Н. Е. Ауэр и ее компаньонка уехали из Сорренто. Но в эти последние перед их отъездом дни выздоравливающий Соловьев буквально осыпал из знаками благодарности. На этот счет есть мемуары В. А. Пыпиной-Ляцкой — дочери известного историка русской культуры, академика А. Н. Пыпина, в доме которого Соловьев часто бывал:

“С большим юмором рассказывал он (Соловьев. — А. К.) также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич все более и более сокращал свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и просил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но выразил сожаление,

что у столь знаменитого уважаемого человека, как историк Соловьев, такой «беспутный» сын. Вернувшись в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанское и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем. Рассказывал Владимир Сергеевич искренно и с увлечением”.

197

Литературный критик и педагог Н. А. Макшеева позднее вспоминала, как в середине апреля 1896 г. она навестила В. С. Соловьева в Царском селе. Когда гостя сообщила Соловьеву, что едет на тирренское побережье Италии, тот ответил: “Теперь еще ничего, а уж в мае там невыносимо будет из-за цветов, так они ароматичны. Я положительно не мог спать, когда мне пришлось быть в это время в Италии”. Это свидетельство добавляет характерный штрих к жизнеощущению В. С. Соловьева в апреле-мае 1876 г. К последствиям тяжелой травмы на Везувии, оказывается, добавились еще и “невыносимые”, не дававшие уснуть запахи цветов... Вот при каких обстоятельствах писались итальянские фрагменты знаменитого трактата “София”.

В начале мая 1876 г., несколько поправив свои финансовые дела, Соловьев уехал во Флоренцию, где гостил у Д. Н. Цертелева, потом коротко посетил Венецию и — через Геную и Канни — отправился в Париж.

...Осенью 1894 г. на популярном финском курорте Рауха на озере Сайма В. С. Соловьев и Н. Е. Ауэр случайно встретились вновь. Соловьев написал тогда своему другу В. Л. Величко:

“Зима здесь в полной силе, и это начинает быть скучным. Некоторая компенсация всего этого — соседство семьи Ауэр, воспоминания о Сорренто, где я был 19 лет тому назад”.

Случайная новая встреча стала началом близкой дружбы, продолжавшейся до самой смерти В. С. Соловьева в 1900 г. После 1876 г. Соловьев никогда не был в Италии: история о том, что в 1888 г., во время поездки в Париж для печатания своих церковно-политических работ на французском языке, он якобы имел тайную аудиенцию у римского папы в Ватикане, не более чем легенда.

Дальнейшая судьба Н. Е. Ауэр, напротив, оказалась тесным образом связана с Италией. После революции она уехала во Флоренцию и жила там до 1929 г., когда решила вернуться на родину, поближе к дочерям. Скончалась в СССР в 1933 г.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ

199

Василий Иванович Суриков (24.01.1848, Красноярск — 19.03.1916, Москва) — исторический живописец. Родился в семье потомственных сибирских казаков, предки которых некогда пришли в те края с Ермаком Тимофеевичем. Окончил Санкт-Петербургскую Академию художеств.

Посетил Италию во время большого заграничного путешествия 1884 г., средства для которого дала продажа П. Н. Третьякову двух знаменитых картин — “Утро стрелецкой казни” и “Меншиков в Березове”. Тогда же Суриков задумал и “Боярыню Морозову”, взяв в заграничное путешествие исторические материалы о русском расколе.

После поездки по городам Германии и недолгого пребывания в Париже Суриков направился на юг, в Италию. Побывал в Милане, Флоренции, Риме, Неаполе и Венеции.

200

Суриков находился в Неаполе в апреле-мае 1884 г. В Помпеях он написал несколько жанровых акварелей, в том числе “Фонтан”, “Фреска”, “Улица”. Позднее там же, в Помпеях, он стал участником большого костюмированного представления, организованного в связи с проходившими в те дни в Турине Общеитальянской промышленно-художественной и Международной электрической выставками.

В течение трех дней в мае 1884 г. на развалинах Помпей была устроена грандиозная инсценировка древнеримских празднеств. Торжества открылись пышным шествием: “императора Веспасиана” несли на носилках восемь юношей в окружении толпы жрецов, преторианцев, телохранителей, сенаторов, всадников, скороходов и т. д. Затем в древнем цирке прошли гонки колесниц и инсценировка обряда римской свадьбы.

Позднее, уже из Вены, Суриков писал П. П. Чистякову:

“Я попал на помпейский праздник. Ничего. Костюмы верные, и сам цезарь с обрюзгим лицом, несомый на носилках, представлял очень близко былое. Народу было не очень много. Актеров же 500 человек. Везувий тоже смотрел на этот маскарад. Он, я думаю, видел лучшие дни”.

Суриков вторично посетил Неаполь во время итальянского путешествия в мае 1900 г. (наряду с Венецией, Римом и Флоренцией). От этой поездки сохранились неаполитанские этюды, которые хранятся в Третьяковской галерее и в собрании семьи художника.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ НЕСТЕРОВ

202

Михаил Николаевич Нестеров (31.05.1862, Уфа — 16.10.1942, Москва) — художник, мемуарист. Родился и вырос в Уфе, в купеческой семье. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Петербургской Академии художеств у Василия Перова, Павла Чистякова, Ивана Крамского, Владимира Маковского. В 1889 г. П. М. Третьяков приобрел для своей галереи картину Нестерова “Пустынник” за 500 рублей, на которые тот предпринял свое первое путешествие в Италию. Перед отъездом родители заказали в уфимском Воскресенском соборе молебен за благополучный исход путешествия:

“Благословили меня мои старики и бодро отпустили в чужие края. Что они пережили, эти уфимские купцы, отпуская меня без языка, одного, трудно сказать, но отпустили они меня храбро”.

Утром 12 мая 1889 г., в день отъезда поездом с московского Брестского вокзала, Нестеров писал родным в Уфу:

“Я еду сегодня в 6 часов (теперь 9 утра) на Варшаву — Вену (три дня остановки), Венецию (то же), Флоренцию (пять дней) и затем — Рим... Все надавали мне разных указаний. Третьяков, Поленовы, Суриков, словом, все. Деньги, по совету всех, беру сторублевыми в особенном мешочке (сшила Поленова), под фуфайкой (в Италии без фуфайки в жары нельзя)... Духом я бодр и весел”.

Пересечение границы между Российской и Австро-Венгерской империями было целым событием:

“Граница... Первый раз переживаю чувство расставания со всем своим, таким понятным. Смотрю и мысленно прощаюсь с людьми, с предметами. Вот мой носильщик, такой здоровый, такой русак, а там большой, с золотой медалью, жандарм... Они еще со мной, меня поймут, помогут, если надо, а через час все эти люди и предметы, вокзал, вывески на родном языке останутся позади, а я буду один-одинешенек”.

В Италии, куда стремился Нестеров, он мечтал не только познакомиться с сокровищами культуры, но и всерьез поработать — делать этюды и наброски к задуманной им картине “Жены-мироносицы”. Первые впечатления от Италии ошеломили молодого художника:

203

“Целых пять минут поезд несся по туннелю. Жутко, трудно дышать. Но вот блеснул свет, и мы очутились в Италии. Все сразу переменилось, и горы, и селения — все другое. До туннеля было все сурово, густые облака стелились по вершинам гор, тут же все ясно и приветливо. Начинают попадаться итальянки — красавицы почти поголовно, даже и в безобразии своем интересные... Как все не похоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца... Вот она — подлинная Италия! Какая радость! Какая победа «уфимского купеческого сына» над сословными традициями, над укоренившимся «бытом»! Я в Италии, один, что и не снилось моим дедам и прадедам. Тут все сразу мне оказалось близким, дорогим и любезным сердцу. Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна. Чем-то питался. Пил и ел *caffè latte* <кофе с молоком>, *pane* <хлеб> и мчался туда, где жили и творили Тинторетто, Веронезе, Тициан...”

Нестеров посетил тогда Венецию, Падую, Флоренцию, Пизу, месяц жил в Риме, а в середине июня 1889 г. приехал в Неаполь. В загородном дворце неаполитанских королей Каподимонте располагалась тогда галерея живописных работ XIX в.: “есть хорошие, но больше дрянцо”. Нестерова более всего восхитили панорамные виды, открывающиеся из огромного парка:

“Из парка дивный вид на море, направо, внизу лежит Неаполь и громадная вулканическая гора, из кратера которой всегда идет дым... В общем дворец, не отличается особенным вкусом, но виды прекрасные”.

Любимым местом Нестерова в Неаполе стали картезианский монастырь Сан-Мартино и замок Сант-Эльмо, расположенные на вершине возвышающегося над городом холма Вомеро:

“Ослиная лестница ведет на громадную гору, на вершине которой находится старинная крепость и при ней музей. (Ослиные лестницы здесь в Италии попадают часто. Это громадные лестницы, приуроченные для ослов, на которых здесь лежит вся трудная работа.) Залезши на верхушку горы, рад был отдохнуть, благо такой вид, как с горы на внизу лежащий Неаполь с морской далью, далеко, далеко идет корабль, распустив паруса, ближе множество лодочек...”

В другой раз, обозревая панораму Неаполитанского залива с вершины Вомеро, Нестеров припомнил, как несколько лет назад рисовал для заработка никогда не виденное им море для дешевых детских книжек издательства Ступина:

“Господи, как тут хорошо! Вот я вижу синее море, которое когда-то иллюстрировал Ступину, не ведая его. Теперь оно вот здесь, у моих ног... Вдали остров Искья, а там далеко чуть-чуть видно Капри. Всего часа два езды на пароходе”.

Нестерова особенно влекли богатейшие экспозиции Национального музея Неаполя — бывшего Королевского музея Бурбонов:

“В канцелярии я достал даровой билет, как в этот музей, так и в Помпеи, на Везувий, в Геркуланум и т.д. Это

право имеет всякий художник, инженер и механик. В музее этом я был каждый день”.

Готовясь к осмотру Помпей, он внимательно изучил археологический отдел Национального музея, составленный из находок в окрестностях Везувия и Флегрейских полей, а также богатой коллекции пармской герцогской семьи Фарнезе:

“Здесь громадные коллекции из раскопок Помпеи. Рассматривая их, невольно переносишься за несколько тысяч лет. Тут все так сохранено, как было в злополучный день этого города. Например, хлебы в печке, разные принадлежности туалета, обеденный стол и проч. Даже жутко становится”.

21 июня Нестеров поехал из Неаполя поездом в Помпеи, где остановился в рекомендованной ему привокзальной гостинице “Диомед”. Мать хозяина гостиницы оказалась русской:

“Хозяин, узнавши, что я русский и не желаю говорить на их подлом наречии, объяснил мне, что его мамаша тоже русская и он ее сейчас пришлет. Действительно, выходит старая старушка и на мои объяснения с грехом пополам отвечает мне по-русски. Видно, давно она попала сюда, но едва ли помнит разрушение Помпеи, потому что ей, как ни стара она, а гораздо меньше двух тысяч лет... Итак, добрая старушка выручила меня из беды, и, потолковав что-то, меня повели наверх и дали комнатку небольшую, но опрятную и без блох, одно окно и дверь — выход на огромную террасу,

по которой преспокойно ходят павлины и прочие птицы и насекомые”.

Письмо родным 22 июня 1889 г.

В Помпеях он встретил русских коллег-художников, приехавших “на этюды” из Рима, — Николая Матвеева (также учившегося в свое время у Перова и Маковского) и Елизавету Ободовскую, которая согласилась позировать ночью для этюда к задуманной Нестеровым картине на библейскую тему:

“Ободовская обещала встать в 3 часа и разбудить меня, и я напишу с нее голову при утреннем освещении... В 3 часа действительно страшный стук в окно заставил меня проснуться. Через полчаса я уже сидел на террасе и приготовился работать. К 4 часам все было кончено. Вышла недурная головка...”

Именно с этого этюда, сделанного ранним утром на террасе помпейской гостиницы “Диомед”, Нестеров рисовал потом Ангела, сидящего у опустевшей Пещеры, для своих “Жен-мироносиц”, а потом того же Ангела в росписях московской Марфо-Мариинской обители.

23 июня он отправился “на извозчике” в Сорренто:

“Кругом «сон наяву». В Сорренто восхищаюсь дивной природой, пробираюсь к морю в надежде выкупаться, но испуганный массой народа — мужчин и дам в купальных костюмах, испуганный этим зрелищем, откладываю свое намерение до Капри”.

Из Сорренто Нестеров отплыл на остров Капри, где поселился в небольшом отеле “Голубой грот” на склоне



Анакапри. Отель "Grotte Bleu",
где М. В. Нестеров жил летом 1889 г.

спускающегося к Большой гавани горного городка Анакапри:

"У меня милая небольшая комнатка с окном на море, на Везувий и с двумя дверьми — одной в коридор, другой к двум старым англичанкам. Здесь я намерен прожить недели две-три, отдохнуть, поработать... Пока что занялся обозрением острова, его красотами. Побывал на море, отважился где-то в стороне от добрых людей, за камнями, выкупаться. Погода дивная. На душе — рай. Отлично кормят, за столом свежие фрукты, вино..."

О своем распорядке в "Grotte Bleu" Нестеров писал с Капри родным 14 июля 1889 г.:

"Работаю очень много, может быть, как никогда. Встаю в 3 часа утра (со стуком и гамом, так что всегда разбужу соседку-шведку). Иду писать на берег этуод камней при утренней заре для «Мироносиц». Долго дожидаясь рассвета, передо мной Везувий начинает вырисовываться серо-лиловой массой и розоватой струйкой текущей лавы, справа знаменитая скала Тиберия, а я, бесчувственный, лежу на камне, не замечаю всего этого и лишь ругаюсь, что медленно рассветает. До 5 часов работаю этюды, потом иду домой и снова ложусь до 8 часов, в 8 иду купаться на море и, придя, пью кофе, затем иду на этюд. Потом завтрак за общим столом, перед носом англичанки как на подбор на одну рожу, какие-то летучие мыши, а еще дальше за морем, на горизонте тот же Везувий, и каждый день одно и то же (место всегда одно). Перед обедом тоже этюд или даже два, к обеду опаздываю, но и то приходится сидеть часа полтора. Я для пущей важности говорю, что я из Сибири, что немало восхищает летучих мышей. Вообще, пока в "Гротте" ко мне все народы относятся благосклонно и смотрят как на человека если не похожего на Миклухо-Маклая, то все же довольно отважного..."

Как-то Нестеров узнал, что в другом старинном каприйском отеле "Pagano" комнаты и столовая расписаны проживавшими там в разное время художниками, в основном немецкими. *"Многие из них во времена своего пребывания в «Пагано» были молоды, а теперь прославленные старики. Имена их принадлежат всей Европе,*

всем народам, ее населяющим”). Нестеров решил и в своей гостинице повторить иностранный опыт, но “на русский лад”:

“Я, недолго думая, написал на двух дверях своей комнаты — на одной “Царевну — Зимнюю сказку”, на другой девушку-боярышню на берегу большого северного озера, с нашей псковской церковкой вдали. Об этом сейчас же узнали хозяин отеля и жильцы, и я еще более стал с того времени своим”.

О своей растущей популярности среди постояльцев “Голубого грота” Нестеров написал с Капри одному из друзей:

“Незнание языка теперь меня мало беспокоит. Представь себе, я даже захожу в оживленные политические споры. Не дальше, как вчера, я спорил со всеми двенадцатью языцами. Тут были и англичане, голландцы, немцы, шведы, датчане. Говорил я сразу на четырех языках, мимика, жесты, карандаш были в ходу... Я, конечно, стоял на почве, как ты называешь XVII века, и хотя меня и причислили вышесказанные европейцы к партии панславистов, в конце же концов симпатии ко мне были очевидны. Старик голландец пожелал выпить за мое здоровье, и все поддержали, я оплатил тем же. Когда же я собрался идти спать, то сверх обычая старики мне протянули руку, дамы также, и я победителем удалился во внутренние апартаменты. В общем, право, на Капри я так прожил, как давно уже не удавалось. Я сделал штук двадцать этюдов, из них есть несколько, по живописи

оставивших позади себя много, если не все мои работы... Другого исхода нет, я должен быть художником”.

Письмо А. А. Турыгину 10 июля 1889 г.

Подводя итоги своего путешествия 1889 г., Нестеров вспоминал:

“Поездка эта надолго останется у меня в памяти, многое видел такое, что трудно позабыть... Иногда видишь ясно и благодаришь судьбу, что все же, несмотря на всевозможные невзгоды, увлечения и ошибки, не теряешь равновесия и еще держишься, так сказать, на поверхности, тогда как многие уже пошли ко дну. Да, трудно иногда бывает, но все же пока жить можно. Жалеешь о том, что невозвратно, но все это хороший урок и предостережение на будущее время. Иногда, в минуты относительно счастливые, тяжело и больно бывает: отчего то, что я имею возможность видеть, чем могу любоваться, восхищаться, недоступно всем близким мне, за что мне так много, тогда как другим ничего, не слишком ли это? Словом, бывает иногда и хорошо и больно в одно время. Задуманные картины в голове моей все более и более делаются ясными”.

В 1891–1895 гг. М. В. Нестеров работал над росписями и образами Владимирского собора в Киеве. Для изучения византийского и античного искусства он снова ездил в Италию, посетив на этот раз в том числе Сицилию. На обратном пути, на корабле, следующем из Палермо в Не-

аполь, с ним произошла любопытная история, описанная потом в мемуарах:

“Итак, прощай, Сицилия, прощай, Палермо, — прощай навсегда! В один из ближайших вечеров я выехал на пароходе в Неаполь. Была тихая, прекрасная погода. Наш пароход принял много пассажиров, и я запомнил особенно одного: это был молодой красавец-офицер, нечто вроде толстовского Вронского. Он, полный сил, красоты, благополучия, прошел через трап, и я залюбовался им, как породой, прекрасной южной человеческой породой. Он был доволен собой и, кажется, всем и всеми. Мундир его был элегантен, ноги в узких рейтузах как-то упруго вздрагивали на ходу... Мы едва отвалили, прошло не более часа, как началась качка, да еще какая. Понемногу с палубы все спустились в каюты, и там предавались невестелому занятию — платили дань морю. Я и какие-то два молодых англичанина остались наверху. Они и я, пользуясь тем, что дам на палубе не осталось, улеглись на скамьях парохода во весь рост, — я на одной стороне, британцы на другой, весело разговаривая друг с другом. Была боковая качка, и мы все, чтобы не упасть, держались за перила руками. Пароход накренился то на мою сторону, то на сторону веселых англичан. И все шло как нельзя лучше до тех пор, пока неожиданно ритм качки изменился, и мои англичане в пылу веселой болтовни не отняли рук от перил и не полетели оба на пол... Рано утром мы подошли к Неаполю, было тихо. Неаполитанский залив был бледно-серо-голубой. Везувий едва дымился. Вдали

Искья едва-едва синела. Пароход наш подошел к молу. По сходням стали выходить усталые, бледные после качки пассажиры. Я не торопился, стоял на палубе и наблюдал эту чужую мне толпу. Вот бредет и мой вчерашний «Вронский»... От него за ночь ничего не осталось: он зелен, ляжки его вздрагивают, он имеет совсем не геройский вид. Куда девалась прекрасная человеческая порода? В тот же день я выехал в Рим”.

В следующий раз М. В. Нестеров побывал на берегах Неаполитанского залива в 1908 г. — на этот раз с сестрой Александрой Васильевной и дочерью от первого брака Ольгой. Миновали, не останавливаясь, Венецию и Флоренцию, жили в Риме, потом отправились в Неаполь:

“С грустью простились мы с Римом, но впереди у нас Неаполь, и лица вновь светлы и радостны. Весенняя природа, опаловый залив, дымящийся Везувий, а там мерещатся Капри, Искья, берега Сорренто, и все это ожидает нас, вольных, как птицы, помолодевших, счастливых”.

В Неаполе путешественники остановились в гостинице “Palazzo donna Anna” на мысе Сирен в районе Позилиппо — одном из самых загадочных строений Неаполя:

“...Расположились мы в старом доме, именуемом отеле “Палаццо донна Анна”. Палаццо полно легенд, связанных с трагически погибшей когда-то в нем какой-то донной Анной. Морской прибой бьет о стены старого романтического палаццо. Там, в этом старом отеле, нам не было жарко. Он весь был пронизан сыростью. По



Неаполь. Отель "Palazzo Donna Anna", где М. В. Нестеров жил в 1908 г.

вечерам мы затапливали камин и, сидя у огня, прислушивались к каким-то таинственным шорохам и стонам, кои были плодом нашего воображения. В окна виден был Везувий, по вечерам напоминавший нам своим огненным дыханием судьбу двух несчастных городов...

Неаполь, по мнению Нестерова, сильно изменился:

216

“Не было уже старой Санта Лючия, не было живописных кварталов папского владычества. Модные отели, битком набитые англичанами, немцами и пока что не унывающими россиянами. Нарядные отели гордо вздымали свои стены над старым городом”.

Нестеров предпочитал писать Неаполитанский залив с Везувием на заднем плане непосредственно из окна гостиничного номера, потому что на набережной заезжий художник с этюдником быстро становился объектом приставания местных мальчишек:

“Однажды, во время писания этюда где-то на набережной, вокруг меня собралась толпа любопытствующих маленьких итальянцев. Они болтали, о чем-то вопрошали меня и, не получая ожидаемого ответа от молчаливого синьора, снова приставали к нему. А когда такое безмолвие им надоело, итальяшки стали бросать в него камнями. Головорезы добились того, что я собрал свои художественные пожитки и ушел бы, как явился избавитель в лице Коки Прахова (Николая Адриановича Прахова, художника-италофила, сына покровительствующего Нестерову архитектора и мецената А. В. Прахова — А. К.), жившего в ту пору с женой и деть-

ми в Неаполе и случайно проходившего мимо. Он с присущими Праховым лингвистическими способностями давно говорил чуть ли не на всех местных итальянских народных наречиях. Кока быстро управился с моими врагами, и под его покровительством я успел окончить свой этюд. Он и сейчас у меня перед глазами, со своим бледно-лиловым Везувием, с опаловыми облаками и с платаном на первом плане”.

217

В Уфимской картинной галерее им. М. В. Нестерова висит его итальянская работа с названием “Адриатическое море. 1893”. Здесь явная ошибка в атрибуции — причем двойная. Прежде всего, на картине изображен Неаполь, выступающий в море старинный форт Castel dell’Ovo, а также Везувий на заднем плане. Следовательно, это никак не “Адриатическое море”, а Неаполитанский залив моря Тирренского. Кроме того, картина не могла быть написана в 1893 г., когда Нестеров, как мы знаем, лишь мельком побывал в Неаполе, и из морского порта сразу, после прибытия с Сицилии, отправился на вокзал, чтобы ехать в Рим. “Картина с Везувием” совершенно очевидно написана весной 1908 г., причем можно даже установить, с какой именно точки и в какое время суток — вечером, из окна отеля “Палаццо донна Анна” в Позилиппо. Вот соответствующий фрагмент из мемуаров Нестерова:

“В окна виден был Везувий, по вечерам напоминавший нам своим огненным дыханием судьбу двух несчастных городов <Помпей и Геркуланума>... Я писал из окон сво-



М. В. Нестеров. Неаполитанский залив. 1908.
Экспонируется в Уфимской галерее им. Нестерова
под ошибочным названием «Адриатическое море. 1893».

его палаццо море, Позилитто, окутанные в вечерние серо-голубые тона...

Затем Нестеровы переехали на Капри, в тот самый старинный и достаточно дорогой отель «Pagano» (сегодня он продолжает существовать под именем «Palma»), росписи постояльцев-художников в котором так увлекли Нестерова в 1889 г. Нестеров вспоминал о новом пребывании на Капри:

“Я с первых дней приезда сюда усиленно стал работать. Сестра охотно следовала за мной с этюдником. Она терпеливо сидела около во время сеанса, любясь морем, далекой Искьей, вдыхая сладостный аромат юга. Были написаны море и дали и чудная церковка — развалины далекой старины. Церковка мне была нужна для фона одной из картин обительского храма”.

“Церковка”, о которой идет речь в мемуарах Нестерова — это развалины картезианского монастыря San-Giacomo (сегодня отреставрированного). Этюды и зарисовки этого монастыря впоследствии послужили Нестерову фоном для фрески «Христос, Марфа и Мария Магдалина» в росписях Марфо-Мариинской обители в Москве.

После Капри Нестеровы в 1908 г., минуя Рим, приехали во Флоренцию; затем побывали в Венеции:

“Мы покинули Венецию, лагуны, а потом и прекрасную Италию, — опять через <перевал> Земмеринг вернулись в Вену; минуя Краков, были на русской границе... Родимая сторона — мы дома, в Киеве...”

Осенью 1911 г. М. В. Нестеров в последний раз побывал в Италии — в Венеции, Сьене, Риме, Орвьето, Вероне:

“Это и было мое последнее путешествие в чужие края. Мечта побывать в Испании, в Англии, в северных странах осуществиться не могла...”

Приложение I

М. НЕСТЕРОВ

В отеле “Голубой Грот” на Капри

(1889)

220

В отеле публика интернациональная. Тут и англичанки, и шведы, и немцы, есть один датчанин-художник, который таскает с собой огромный подрамок с начатым на нем импрессионистическим пейзажем. Все они мне нравятся, и скоро завязывается знакомство. Станный русский, не расстающийся со своей голубой книжкой, начинает интриговать раньше других двух старых англичанок, потом датчанина-художника, и разговор при помощи голубой книжки как-то налаживается. Я отважно ищущу слов, фраз в своей книжке, моих ответов терпеливо ждут. Все, и я в том числе, в восторге, когда ответ найден и я угадал то, о чем меня спрашивают... Я в прекрасном настроении; я вижу, ко мне относятся мои сожители с явной симпатией — это придает мне “куражу”, я делаюсь отважней и отважней: я почти угадываю речи моих застольных знакомцев. Так проходит неделя. Я делаюсь своим. Со всеми в самых лучших отношениях. Начал писать, и мое писанье нравится, симпатии ко мне увеличиваются. В числе моих друзей — старый англичанин, говорят, очень богатый. Он расспрашивает меня

о России, и я говорю о ней с восторгом, с любовью, что для англичанина ново: он слышал, что русские обычно ругают свою родину, критикуют в ней все и вся. То, что я этого не делаю, вызывает ко мне симпатии старика.

Однажды, когда я сидел с книгой, ко мне подошел старый англичанин и спросил, что я читаю. Я ответил, что Данилевского “Россия и Европа”. Англичанин об этой, книге знал, и то, что я симпатизирую автору, увеличило его расположение ко мне... Время летело стрелой. Я совершенно отдохнул и стал подумывать об отъезде, о Париже. Скоро об этом узнали все мои каприйские друзья, старые и молодые. Вот настал и день разлуки. Последний завтрак, последняя беседа, по-своему оживленная. Все спешили мне выказать свое расположение, и я с искренним сожалением покидал Капри, отель “Грот Блè” и всех этих старых и молодых людей. Решено было всем отелем идти меня провожать. Перед тем, тотчас после завтрака, было предварительное прощание. Все говорили напутственные речи, а я, понимая, что меня не бранят, благодарил, жал руки, улыбался направо и налево. Я получил в тот день не только на словах выражение симпатий, но каждый считал нужным вручить мне какой-нибудь сувенир: кто свой рисунок, кто гравюру (старый англичанин), кто какую-нибудь безделушку, а мои старые девы-соседки поднесли мне стихотворение своего изготовления. Пароход свистком приглашал занять на нем места, и вот из нашего отеля двинулась процессия: впереди с моими скромными вещами служитель от-

221

еля, за ним я, окружённый провожающими, которые наперерыв болтали, сыпались пожелания и прочее. На берегу расстались, и я, взволнованный, сел в лодку и покинул гостеприимный Капри. Долго с берега мне махали платками, зонтами, и я не скупился ответами на эти приветствия.

222

М. НЕСТЕРОВ. Воспоминания.

Приложение II

М. НЕСТЕРОВ

В отеле “Пагано” на Капри

(1908)

Десятки лодок окружили нас. Какие-то возбужденные донельзя люди подхватили багаж, усадили нас в лодку. Мы уже на берегу. Фуникулер мигом доставил нас наверх к Пьяцетте. С нее как на ладони виден дымящийся Везувий и далекий Неаполь. Узкими улочками пробрались мы к отелю Пагано. В нем решили мы остановиться, потому что он “antico”: в нем все пропитано воспоминаниями, традициями, искусством и художниками, жившими здесь чуть ли не с его основания, с 40-х годов минувшего века. Здесь все старомодно, грязновато. Нет нарядных холлов новейших отелей, рассчитанных на

особо богатых англичан, американцев и наших “рябушинских”. В Пагано попроще. Начиная со швейцара, незатейливого, без особо величаво-спокойного тона, каким обладают эти господа в Палас-отелях, Викторриях и т.д. В Пагано все нараспашку, начиная с веселого хозяина, потомка славных давно почивших синьоров Пагано. Наш молодой Пагано — милый, вечно улыбающийся, общительный, с особой хитрецей “паганец”. Он работает с утра до ночи: то мы видим его бегущим на Пьяцетту, то он с рабочими выкатывает из подвалов бочку с кьянти. Он постоянно в хлопотах и лишь во время завтраков, обедов, прифранченный, приглаженный и особо галантный, присутствует среди своих гостей. Наши комнаты выходят одна на террасу, другая в сад, где десятки апельсиновых деревьев, покрытых дивными плодами, горят, переливаются золотом на солнце. Тут и великолепная, уже пожилая пальма, вазы с цветами... Все ярко, все старается перекричать друг друга. Всюду довольство. Довольны и мы трое, попавшие в этот райский уголок, созданный природой и синьорами Пагано. Приглашают к завтраку. Идем. Огромный зал, расписанный художниками, с давних пор жившими здесь. Столики украшены цветами, фрукты из нашего сада. Фрукты и вино выглядят здесь по-иному, чем у нас: они здесь так же необходимы, как хлеб и вода за нашим русским столом.

М. НЕСТЕРОВ. Воспоминания. С. 277-278.

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ

224

Иннокентий Федорович Анненский (1.09.1855, Омск — 11.12.1909, Петербург) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик, педагог. Окончил в 1879 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности “сравнительное языкознание”. Преподавал древние языки и историю в различных государственных и частных учебных заведениях; был директором Николаевской мужской гимназии в Царском Селе, затем инспектором Петербургского учебного округа.

Летом 1890 г. тридцатипятилетний Анненский (тогда еще относительно мало известный поэт и переводчик) совершил большое итальянское путешествие. Поездом через Варшаву и Вену Анненский приехал в Италию:

“Но вот приезжаешь на итальянскую границу: изменяется население, порядки и природа новая, по-моему еще прекраснее. Первая итальянка, которую я видел, торговала вишнями и была прехорошенькая... Стройны и грациозны почти все молодые; кокетливы даже дети, а старухи — это такие ведьмы, каких я себе и не представлял никогда”.

(Письмо жене 19.06.1890.)

225

Неделю Анненский провел в Венеции, где приобрел так называемый “cigcolage” — “билет из Венеции по всей Италии и обратно кругом; это стоит 40 рублей с небольшим во 2-м классе”.

Из Венеции приехал во Флоренцию, затем, через Перуджу и Ассизи, прибыл в Рим. Оттуда ездил в Пизу, Геную, Турин, Милан. В конце путешествия посетил Неаполь и Сорренто.

В Неаполе Анненский поселился в одном из отелей на набережной. Прогулками по неаполитанским паркам навеяно известное стихотворение:

VILLA NAZIONALE

*Смычка заслушавшись, тоскливо
Волна горит, а луч померк, —
И в тени душевные залива
Вот-вот ворвется фейерверк.
Но в мутном чаяньи испуга,
В истоме прерванного сна,*

*Не угадать Царице юга
Тот миг шальной, когда она
Развяжет, разоймет, расциплет
Золотоцветный свой букет
И звезды робкие рассыплет
Огнями дерзкими ракет.*

226

В Сорренто, благодаря совету случайно встреченного соотечественника (“милого русского купца *Беляева*, который 50 лет торгует в Неаполе кораллами”), Анненский поселился в “Albergo Cocomella” в пригороде Сорренто — Sant’Agnello. Интересна история этого отеля: в конце XVIII в. помещения бывшего капуцинского монастыря были переделаны под элитный пансионат для отдыха генералов наполеоновских армий; в наши дни здесь находится самый фешенебельный отель на соррентийском побережье. Гостиница расположена на территории уникального парка — Parco dei Principi, достопримечательностью которого является также самая знаменитая соррентийская вилла — Villa di Poggio Siracusa. Вилла была построена в 1792 г. графом Сиракузским — Леопольдом Бурбоном, братом неаполитанского короля Фердинанда IV. После того как Гарибальди изгнал Бурбонов из Италии, вилла переходила из рук в руки и, наконец, в 1885 г. была приобретена русским князем Константином Александровичем Горчаковым — младшим сыном канцлера А. М. Горчакова. Гостями виллы в разное время были гессенская принцесса Аликс, будущая русская



227

Бывший монастырь капуцинов в Sant’Agnello, переделанный в отель “Cocomella”. Здесь летом 1890 г. жил И. Ф. Анненский (фото 1880-х гг.).

императрица Александра Федоровна; принц Йоркский, будущий английский король Георг V; представители многих других королевских домов Европы. К моменту пребывания в Сорренто И. Ф. Анненского владелицей виллы являлась дочь К. А. Горчакова — Елена Константиновна.

О своем житье в соррентийском отеле “Кокумелла” педантичный Анненский подробно написал жене:

“Кормят на убой, вид — лучший в Сорренто, в саду ешь даром апельсины, и за все (утром самовар на террасе)

6 франков (2 рубля по курсу). К чаю дают яйца, масло, сырое молоко. За завтраком дают два больших блюда (сегодня — маисовые клецки с соусом из помидоров и жареная говядина), сыр, фрукты (груши, фиги, апельсины, персики), за обедом шесть блюд (суп, рыба, соус, зелень, жаркое и пирожное) и фрукты. Сорренто — сонное царство. Говорят, что здесь в воздухе такое усыпляющее свойство. Я здесь отдыхаю и телом, и карманом, а то совсем истратился”.

В начале августа 1890 г. И. Ф. Анненский покинул Сорренто и через Неаполь, Венецию, а потом Вену и Варшаву уехал в Россию.

Приложение

И. Ф. АННЕНСКИЙ

В Сорренто

Вот я и в Сорренто, последнем этапе моем в движении на юг. Боже мой, что за красота этот юг! Я сижу на балконе, прямо перед глазами море: наконец-то я увидел настояще-синий (как в корытце с синькой) и настоящий изумрудный цвет моря. Огромный Везувий просто лезет в глаза, хотя, к сожалению, вечера были облачные, и



Villa Siracusa, приобретенная князьями Горчаковыми в Sant’Agnello (современное фото).

его кратера, в виде красного уголька, не видно. От залива отделяет нас один сплошной сад — я таких деревьев, такой зелени никогда не видал. Темная раскидистая шапка грецкого ореха и рядом пыльная оливка, красные апельсины — они поспевают в течение целых шести месяцев, золотые огромные лимоны, олеандры, фиговые деревья. Особую красоту вида составляют сосны особого вида, похожие на пальмы, с зеленью только наверху. С боковых крыльев балкона открывается вид на горы, покрытые сверху хвойными деревьями, по ним ползет

дорога, сбоку лепятся домики с красными крышами, на скале виднеется часовня Св. Клары, вся иллюминированная по вечерам (теперь здесь праздники). Среди зелени садов (Сорренто — все один сплошной сад) там и сям видны отели, виллы, группы домиков, старинная церковь. Перед нами вилла княгини Горчаковой... И все сады, все балконы, все окна, точно влюбленные глаза, вперились в море. В самом деле, есть на что посмотреть. Я не думал, что вид воды может доставить столько разнообразных и прекрасных впечатлений. Вот прошел пароход и оставил молочно-белую полосу, вот прошелся по воде фиолетовый тон, вот мелькнула розоватая полоска, и ты ищешь, откуда она, где тот уголок неба, который смотрится в залив. Но особенно хорош туман, не тот противный туман, среди которого мы натываемся на фонари и тумбы, а теплый, романтический туман, то голубой, то серебряный...

Письмо Н. В. Анненской, 28 июля 1890 г. // Встречи с прошлым. М., 1996, вып. 8, с. 45-46.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

231

Антон Павлович Чехов (17.01.1860, Таганрог — 2.07.1904, Баденвайлер, земля Баден-Вюртенберг, Германия) — писатель, драматург. Почетный академик Императорской Академии наук (1900). Учился в таганрогской классической гимназии, затем на медицинском факультете Московского университета.

Литературную деятельность начинал в юмористических журналах “Стрекоза”, “Будильник”, “Осколки”, писал короткие фельетоны для “Петербургской газеты”, “Нового времени”, “Русских ведомостей”. Весной 1886 г. получил письмо от литератора Д. В. Григоровича, где тот укорял Чехова в растрате большого таланта “на мелочишки”: “Голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного”. Выход “Степи” и “Скучной истории” в толстом журна-

ле “Северный вестник” сделали Чехова по-настоящему известным публике: в октябре 1888 г. за свой сборник “В сумерках” он получил Пушкинскую литературную премию.

232

Всю свою жизнь А. П. Чехов испытывал тягу к дальним путешествиям — с самого детства его кумирами были Стэнли, Камерон, Пржевальский. Как известно, после поездки на Сахалин 30-летний Чехов вернулся в Россию сложным кружным путем — через Японию, Китай, Филиппины, Сингапур, Индию, Цейлон, Египет и Турцию. Но мало кто знает, что по возвращении он почти сразу начал планировать поездки в Америку, в Японию и Индию — причем надолго. Несколько раз порывался ехать в Австралию и Африку. Ну и, разумеется, неоднократно бывал в Европе.

Первое путешествие в Италию было предпринято Чеховым в марте-апреле 1891 г., всего лишь через несколько месяцев после поездки на Сахалин. Эти два путешествия в сознании Чехова остались неразрывно связанными друг с другом: чуткий с юности к мотивам “Божественной комедии” Данте, он считал Сахалин и Италию своего рода “метафизической парой”: “Ад — Рай”. Спутником Чехова в том путешествии был его старший друг и издатель Алексей Сергеевич Суворин. Маршрут: поездом через Варшаву и Вену в Венецию; затем — Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь (с посещением Помпей и восхождением на Везувий), опять Рим, потом — Ницца, Монте-Карло, Париж.

31 марта 1891 г. Чехов приехал с Сувориным в Рим, откуда 3 апреля писал родным:

“Завтра еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встретился там с красивой русской дамой, по возможности с вдовой или разведенной женой. В путеводителях сказано, что в путешествии по Италии роман непременно условие. Что ж, черт с ним, я на все согласен. Роман, так роман”.

233

4 апреля Чехов выехал в Неаполь, смотрел город, а 6 апреля отправился в Помпеи:

“Вчера я был в Помпее и осматривал ее. Это, как вам известно, римский город, засыпанный в 79 году по Рождеству Христову лавою и пеплом Везувия. Я ходил по улицам сего города и видел дома, храмы, театры, площади... Видел и изумлялся уменью римлян сочетать простоту с удобством и красотою.

Письмо родным 7 апреля 1891 г.

После осмотра Помпей Чехов решил отправиться на Везувий, после восхождения на который у него было ощущение, “как будто я был в третьем отделении и меня там выпороли” (подробнее см. стр. ... настоящего издания). 24 апреля Чехов с Сувориным снова были в Риме и в тот же день выехали во Францию.

В январе 1901 г., когда Чехов лечился в Ницце, у него созрели планы нового далекого путешествия: на корабле вдоль Тирренского побережья Италии и далее — в Северную Африку. Кампанию ему согласились соста-

вить русские ученые, живущие тогда в Ницце: социолог Максим Максимович Ковалевский и зоолог, много путешествовавший раньше по островам Индийского и Тихого океана, Алексей Алексеевич Коротнев. 11 января Чехов писал из Ниццы О. Л. Книппер:

“На сих днях, если море не будет так бурно, как теперь, я уезжаю в Африку... В Африке пробуду недолго, недели две”.

26 января он писал ей уже более конкретно:

“Ну, дуся моя хорошая, сегодня, по всей вероятности, я уезжаю в Алжир... По слухам, идущим от моих спутников, пробуду я в Алжире недели две, включая сюда и время, которое я потрачу на поездку в Сахару. Из Сахары вернусь я тропически знойным, пыльным адски”.

Правда, в том же письме возникает и другой вариант путешествия:

“Если, мамуся моя, вечером начнется на море волнение, тогда, повинуясь спутникам своим, поеду не в Алжир, а в Италию, в Неаполь... Но, однако, у меня воспрянул дух мой, люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней — поездка на Шпицберген летом или в Соловки”.

Реализовался именно “итальянский” вариант: Чехов, Ковалевский и Коротнев отправились поездом через Геную в Ливорно, потом посетили Пизу, Флоренцию и Рим. До Неаполя Чехов, увы, не доехал: взволнованный противоречивыми известиями о постановке “Трех сестер” в Московском Художественном театре, он внезапно прекратил вояж и уехал из Рима в Россию.

Сохранились воспоминания М. М. Ковалевского о той, последней поездке Чехова в Италию. Ночью, в поезде, им обоим не спалось, и они разговорились: *“Мне трудно, — сказал Чехов, — задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка”. Чехов, в молодости столь жизнерадостный, заражавший своим смехом читателей «Русского курьера», в котором печатались его мелкие рассказы, под влиянием болезни становился все более и более сосредоточенным, но не мрачным. Он без страха смотрел в будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой”.*

Несмотря на точное знание о собственном состоянии, в своих последних письмах родственникам и друзьям больной Чехов десятки раз упоминал о том, что хочет отправиться на лечение в Италию: спасительное путешествие в последние месяцы жизни буквально стала его “*idée fixe*” — совсем как поездка в Москву для придуманных им “трех сестер”.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ЛУХМАНОВА

236

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ЛУХМАНОВА (урожденная Байкова; 14.12.1844, Петербург — 7.04.1907, Ялта) — прозаик, переводчица, драматург. Родилась в семье надворного советника, директора Павловского женского института. В 1861 г. окончила Павловский институт с дипломом домашней учительницы. В 1863 г. вышла замуж за подполковника в отставке А. Д. Лухманова. С 1870 г. жила в Москве, состоя в гражданском браке с генерал-майором В. М. Адамовичем. В 1880 г. вышла замуж за инженера А. А. Колмогорова, сына сибирского промышленника, и несколько лет прожила в Тюмени. Порвав с мужем, отправилась в Петербург для занятий литературой. Начинала как детская писательница и художественный критик; печаталась в газетах “Петербургская жизнь”, “Петербургская газета”, “Биржевые ведомости”, журнале “Русское богатство”. Всероссийскую

литературную известность Н. А. Лухмановой принесла книга “Двадцать лет назад” (1893) — мемуары о жизни и нравах Павловского женского института (впоследствии неоднократно переиздавались под названием “Девочки. Воспоминания из институтской жизни”). Следующий автобиографический роман Лухмановой — “Институтка” (1899) — окончательно закрепил за ней славу одного из лидеров русской “женской литературы”. Во время русско-японской войны в 1904 г. отправилась на фронт в качестве сестры милосердия, одновременно выступая как собственный корреспондент ряда столичных газет.

В своей жизни Н. А. Лухманова много путешествовала по Европе, неоднократно бывала в Италии, а зимой 1897-1898 гг. три месяца провела в Неаполе со специальной целью написать книгу. Фрагменты этой книги (“В волшебной стране песен и нищеты”, СПб., 1899) использованы во второй части настоящего издания.

По-разному сложилась жизнь двоих сыновей Н. А. Лухмановой. Дмитрий Афанасьевич Лухманов в юности убежал в Италию матросом, со временем стал капитаном дальнего плавания; впоследствии примкнул к большевикам, писал стихи и рассказы на морские темы. Борис Викторович Адамович — военный публицист и историк, дослужился до звания генерал-лейтенанта, был генералом по особым поручениям при военном министре; после революции участвовал в Белом движении, эмигрировал в Югославию, где до конца жизни был директором Русского кадетского корпуса.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАГОЛЬ

238

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГЛАГОЛЬ (настоящая фамилия — Голоушев; 1855 — 1920) — врач, литератор, искусствовед, литературный и художественный критик. В юности за участие в революционном движении провел четыре года в тюрьме, затем отбывал ссылку в Архангельской губернии. В литературно-художественных кругах стал известен как автор серии беллетризованных биографий о знаменитых русских художниках. Один из руководителей московского писательского кружка “Среда”, в котором участвовали братья Иван и Юлий Бунины, Леонид Андреев, Николай Телешов, Викентий Вересаев, Борис Зайцев и др. Часто литературные “Среды” проходили на квартире С. Глаголя в Хамовниках.

239

В биографическом эссе о С. С. Глаголе-Голоушеве (которого вся литературная Москва уважительно называла Сергеичем) писатель Б. К. Зайцев писал:

“В юности, сидя на козлах, мчал Веру Засулич из суда в карете, спасая ее. Побывал в «местах не столь отдаленных» ссыльнопоселенцем. Политическую «левизну» свою там и оставил. Занялся живописью. Дружил с Серовым, Левитаном и Коровиным. В Третьяковской галерее есть его этюд лошади. Стал писать. Лечил дам. Статьи печатал и о живописи, о театре, литературе... Он интересовался психиатрией, был друг всех Россолимо и Токарских, яростно перевозносил Андреева, работал по гравюре и офорту — что-то изобрел даже в этом деле. Жил холостяком. Всегда к кому-нибудь пылал. Да женщинам и не мог не нравиться, если б и захотел, — что-то изящное и суховато-мужественное в нем было, и безупречное, и бескорыстное. Он много говорил, слегка даже витийствовал, то собирал, то распускал морщины на остроугольном лице и широким жестом откидывал волосы седеющие... А жизнь его была полет сумбурный, в этом основная черта натуры: не было центра, точки, куда была бы направлена вся сила его существа. Сергеич все умел делать, от гинекологии до гравюры и все делал даровито, замечательно же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни одной из тех деятельностей, коими он занимался. В нем, в его вкусах, жестах, картинности, доброй беспорядочности — Русь, Москва”.

С. Глаголь побывал в Неаполе летом 1900 г. во время большого европейского путешествия. В конце того же года издал в Москве мемуарные заметки “На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию”. Оригинальные зарисовки С. Глаголя о восхождении на Везувий, о поездках в Помпеи и на остров Капри, его интересные размышления о судьбе Неаполя содержатся во второй части настоящего издания.

Приложение

С. С. ГЛАГОЛЬ

Неаполитанцы и туристы

Неаполь давно сделался излюбленным городом туристов, а где туристы, там и целая система их эксплуатации. Только здесь и эта эксплуатация носит какой-то особый, экспансивный характер. Неаполитанец не может выдержать какой-нибудь системы даже в обирании путешественника. Он действует как-то налетом, совершенно поражая вас неожиданностью, и, если фортель ему не удался, он же первый улыбается и весело смотрит вам в глаза... Но если вы хотите узнать неаполитанца во всей красе его легкомыслия — проговоритесь вашему извозчику, что вы собираетесь ехать в Помпею, на Везувий или

в Сорренто или куда-нибудь еще дальше. Моментально извозчик предлагает вам свои услуги. Ничто не смущает его. Вам надо ехать за двадцать, тридцать верст — он берет вас доставить туда через полтора часа, а через четыре часа вы будете уже назад в Неаполе. Он чуть не каждую неделю по два, по три раза совершает эту поездку. И притом, подумайте, ведь вы будете ехать не в душном вагоне, а все время по берегу моря в прекрасном экипаже. Вы говорите: далеко, и лучше ехать по железной дороге. — Но я берусь вас доставить с той же скоростью, как и железная дорога. — И десятки предложений, одно невозможнее другого, сыплются из уст вашего возницы, и как он при этом красноречив, как блестят его глаза! По-видимому, он и сам верит в необычайные свойства своей клячи. Но вы непреклонны. Тогда начинается целая глава из автобиографии вашего возницы. Он самый несчастный человек в мире, жена его и десять человек детей умирают с голоду. Ему не на что купить даже немножко масагоні. Единственная надежда была у него на signora russo, и теперь, если вся семья его погибнет голодной смертью, вы один будете отвечать за это на Страшном суде. Но вы и к этому оказались глухи, и вот, подвозя вас к подъезду вашей квартиры, возница уже все забыл и, добродушно снимая шляпу, очень скромно просит вас прибавить еще несколько сольди на un poso масагоні.

С. Глаголь. На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию. М., 1900, с. 155-159.

ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
РОЗАНОВ

242

Василий Васильевич Розанов (1856, Ветлуга Костромской губ. — 5.02.1919, Сергиев Посад) — философ, публицист, критик. Окончил филологическое отделение Московского университета; преподавал историю и географию в ряде провинциальных гимназий; с 1893 г. служил в Центральном управлении государственного контроля. В 90-е годы получил известность благодаря литературно-философским эссе и острым публицистическим статьям.

Весной 1901 г. В. В. Розанов вместе с женой Варварой Дмитриевной отправился в большую поездку по Италии: один из близких друзей Розанова утверждал, что это путешествие было исполнением обета, данного еще в годы студенчества.



Остров Капри. Туристы у Финикийской лестницы, ведущей в Анакапри (фото 1890-х гг.).

Розановы побывали в Венеции, Флоренции, Риме. В Неаполе поселились в одном из отелей на Via Partenore рядом с набережной:

244

“Via Partenore, прямо в виду Везувия, вьется лентой по берегу залива — и есть единственное в Неаполе не пыльное, не грязное, вполне роскошное место. Не все жители ее подозревают о смысле ее имени. У меня в коллекции древних монет есть две неаполитанские, еще языческие, на передней стороне которых прекрасная женская головка греческого типа: это — нимфа Партенопе. Дело в том, что Неаполь — древнейший греческий городок, покинувшийся на западное побережье Апеннинского полуострова, еще когда были только финикийцы и греки и не было римлян. Городок этот, очевидно, колония, ибо имя его Neapolis значит то же, что наше “Нов-город”; он почитал нимфу Партенопе, обительницу и обладательницу прекрасных вод залива. Ее изображение, как в Афинах изображение Паллады, и помещалось на чеканившихся здесь греческих монетах. Городок перешел к Риму; пал Рим — он вошел в хронику Средних веков, а затем перешел в новые времена и наконец сделался теперь всемирным сборищем туристов, а самая щегольская его улица, застроенная отелями и пансионами для иностранцев, получила и имя древней нимфы”.

Уже в ходе итальянской поездки Розанов начал писать путевые очерки, которые были тогда же напечатаны в газете “Новое время” (среди них — эссе о Неаполе, Везувии, острове Капри). Размышления Розанова, на-

веянные его поездкой в Помпеи, были опубликованы во втором номере журнала “Мир искусства” за 1902 г. с иллюстрациями Льва Бакста. Собранные впоследствии вместе, итальянские зарисовки Розанова составили его книгу “Итальянские впечатления” (СПб., 1909).

Впечатления Розанова от Неаполя в целом лишены любви и сочувствия:

245

“Огромный, жадный, ленивый и грязный; пьяница, развалившийся среди лугов и всяческого очарования природы, — вот ему сравнение... Везувий вечно грозит Неаполю пальцем, но его легкомысленное население только смеивается и обирает своего возможного судью и сторожа в том смысле, как собирает дань с апельсиновых деревьев, хорошеньких девушек, своих певческих талантов и легкомыслия туристов...”

Прав, однако, знаток Италии, писатель П. П. Муратов, который увидел в “Итальянских впечатлениях” Розанова и нечто другое:

“В этой странной и такой чисто русской книге не слишком много Италии. Ее автор, чувствующий с единственной в своем роде глубиной уклад русской жизни, даже и в Италии всегда как бы повернут лицом к России. Не только его мысли, но и даже и взоры обращены домой. Он не был свободным странником; есть что-то похожее на «отпуск» в его досуге и на «отлучку» в его путешествии. Но слеп будет тот, кто не заметит и в этих страницах «Впечатлений», особенно там, где Розанов соприкоснулся с античным, алмазов чистой воды и гениального воображения”.



Дорога на Анакапри (фото 1890-х гг.).

Приложение

В. В. РОЗАНОВ

Поездка в Анакапри

247

Здесь уже ожидали путников экипажи... Мне хотелось проехать в маленький горный городок Анакапри... Шло шоссе, превосходное, гладкое, но гораздо более крутое, чем на Военно-Грузинской дороге. Бич хлопнул (в воздухе, никогда не по лошади), и конь взялся за дело. Невысоко от пристани расположен городок Капри, как наш маленький уездный городок, — главный городок острова. Мы миновали его, и экипаж, как змея, повился по вившемуся змеей шоссе. Наш пароход в море, не у самого берега, все спускался вниз, все сокращался в размерах, а Неаполитанский залив все расширялся, открывая чудную гладь вод. Мы восходили, как ястреб, широкими и медленными кругами-змейками вверх... Никогда жители Неаполя не видят того, что видят жители Капри. Совсем другое дело видеть залив под собой, чем залив перед собой. Поднятие на высоту вообще имеет великую психическую прелесть, а здесь к ней присоединяется и красота зрелища... Чем выше шла дорога, тем чаще стали попадаться отели и пансионы — швейцарские, немецкие, английские, итальянские. Для незнающих объясню, что “пансион” дает приезжему комнату, одну, или

две, или сколько угодно, с полным пищевым содержанием: утренним кофе, завтраком и обедом, так что приедем, связанному делом или удовольствием, остается только жить и, ни о чем не заботясь, предаваться делам своим или удовольствиям. Это то, что у нас называется “держать нахлебников”, только у русских это имеет совершенно частный и, конечно, более милый характер, а в Италии (и, кажется, в Швейцарии) это поставлено на коммерческую ногу, и “пансион” представляет собственно обширную гостиницу с номерами, но без гадкой “номерной” атмосферы, а семейного, художественного и научного духа. “Пансионы” развились от частой посещаемости этих стран иностранцами, и у нас, при стойкости и неподвижности населения и “где до границы три года не доскачешь”, — конечно, явление невозможное. Но вот на Капри они уже начались: я вспомнил одного своего знакомого, служащего в гарнизоне Петропавловской крепости офицера, который на вопрос, где проведет он это лето, ответил, что он вот уже много лет отдыхает 1 1/2 месяца отпуска на Капри: “Правда, дорог проезд, но самая жизнь дешевле, так что в круглом счете обходится на Капри дешевле, чем в Павловске или Териоках”. Там я тогда удивился, но теперь по Риму знаю, что, конечно, здесь дешевле, включая и проезды. А выбирая место отдыха, конечно, нелепо останавливаться в Неаполе, “с видом на Капри”, а лучше на Капри, с видом на Неаполь. Так поступит художник и экономный человек... На середине пути, на огромной высоте, в нише —

статуя Мадонны. До чего меня это трогает: в самом неприступном месте, куда страшно долезть, для одинокого путника, для кого-нибудь, для грешного, для преступника — итальянец поставит Мадонну. Кто это делает? Ведь не официальная власть. И монастыря на Капри нет — значит, и не монахи... Я снял шапку и перекрестился на бледную длинную фигуру, с сложением их рук на молитву; оно особенное: поднимают обе руки до высоты половины груди и складывают ладонь с ладонью... Но вот и Анакапри, совсем крошечный городок, тысячи в две жителей. Выбежала толпа ребятишек — мальчиков и девочек; хватают за руки, за пальто: “Чудесный вид, синьор” — и тащат на крышу убогой хижины. Действительно, открывается чудный и цельный, общий вид на всю и всяческую красоту, в небе и на земле, на море и на суше. Но подходит извозчик и зовет назад. “Опоздаем, синьор” (т. е. к отходу парохода)... Мы поехали назад. Спуск уже не был так интересен. Пароход наш все увеличивался, панорама суживалась; все становилось ближе, теснее; все становилось землистее, менее воздушно. Из птицы я вновь стал земнородным и почувствовал им себя окончательно в каюте парохода.

В. РОЗАНОВ. Итальянские впечатления.
Капри (1901) // Среди художников. М., 1994, с. 94-96.

НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ
ГУМИЛЕВ

250

Николай Степанович Гумилев (3.04.1886, Кронштадт — 1921 г., расстрелян под Петроградом) — поэт, драматург, путешественник-исследователь, кавалер двух солдатских Георгиевских крестов.

16 апреля 1912 г. вместе со своей женой Анной Андреевной Ахматовой-Горенко выехал в Италию. Ехали поездом по маршруту Вержболово—Берлин—Лозанна—Уши—Оспедалетти (курорт на Лигурийской Ривьере). Там провели неделю у родных, Кузьминых-Караваевых. Затем Сан-Ремо, на пароходе в Геную (где провели несколько дней), далее Пиза и Флоренция. Известно, что из Флоренции Гумилев один, без Ахматовой, ездил в начале мая 1912 г. в Сиену, Рим, потом — в Неаполь. От этой поездки сохранилось стихотворение:

НЕАПОЛЬ

(1912)

*Как эмаль, сверкает море,
И багряные закаты
На готическом соборе,
Словно гарпии, крылаты;
Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.*

251

*Пахнет рыбой, и лимоном,
И духами парижанки,
Что под зонтиком зеленым
И несет кресток в банке;
А за кучею навоза
Два косматых старика
Режут хлеб... Сальватор Роза
Их провидел сквозь века.*

*Здесь не жарко, с моря веют
Белобрысые туманы,
Все хотят и все не смеют
Выйти в полночь на поляны,
Где седые, грозовые
Скалы высятся венцом.
Где засела малярия
С желтым бешеным лицом.*

*И, как птица с трубкой в клюве,
Поднимает острый гребень,
Сладко нежится Везувий,
Расплескавшись в сонном небе.
Бьются облачные кони,
Поднимаясь на зенит,
Но, как истый лаццарони,
Все дымит он и храпит.*

По возвращении Гумилева из Неаполя во Флоренцию они уже вместе с Ахматовой посетили Болонью, Падую, потом провели десять дней в Венеции. Оттуда поездом — через Вену и Краков — в середине мая вернулись в Россию.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ

253

Алексей Максимович Горький (настоящая фамилия Пешков; 28.03.1868, Нижний Новгород — 18.04.1936, Горки под Москвой) — прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. В 1905 г. А. М. Горький, тесно связанный с революционным движением, был вынужден эмигрировать. После пребывания в Америке он решил перебраться в Европу и поселиться в Италии. В конце сентября 1906 г. на пароходе “Принцесса Ирэн” Горький отплыл из Нью-Йорка вместе со второй женой Марией Федоровной Андреевой (актрисой Московского Художественного театра), а также сопровождавшими его большевиком Н. Е. Бурениным и американкой Г. Брукс. С парохода Горький писал первой жене Екатерине Павловне Пешковой:

“Десять дней непрерывной качки в океане — наконец, завтра буду в Гибралтаре. Очень интересно ехал, но по-

хоже на кошмар. Едет 1000 итальянцев из Калифорнии — народ удивительно похожий на русских... Пассажиры первого класса — американцы; американцы страшно много жрут и прескверно молятся Богу. Поют гимны — жирными голосами и облизываются. Бога, очевидно, считают идиотом, полагая, что он услышит их жуткий вой. Я играю роль «ужасного ребенка» — это мне все более и более часто приходится делать, — плохо я переношу Европу и ее культуру».

“Принцесса Ирэн” прибыла в порт Неаполя 26 октября 1906 г. С корабля Горький с Андреевой отправился в отель “Vesuvio”, где зарегистрировался под фамилией Пешков. Однако журналисты узнали его, и вскоре известие о приезде в Неаполь знаменитого русского писателя облетело город. Репортер неаполитанской газеты “Il mattino” отмечал, что “гостиничный лакей непрерывно бегал по лестнице на второй этаж, передавая синьору Горькому бесчисленные визитные карточки”.

Вечером Горький и Андреева были в оперном театре “Politeama” на представлении “Аиды” Верди. Они вошли, когда увертюра уже началась, но при появлении Горького спектакль вынужденно прервался. Корреспондент “Avanti” писал в своем репортаже:

“В центральной ложе, в первом ряду, занимаемой обычно герцогами д’Аоста, появился великий русский писатель в сопровождении двух синьор и друга. Несколько голосов прошептало его имя, и моментально оно пронеслось по всему театру, переходя из уст в уста и проникая

в душу каждого: Горький! И сразу, как бы повинувшись одной команде, все встали — аплодируя. Шум голосов покрыл легкие звуки оркестра; все разговоры смолкли, и из глубины ложи, где обычно вырисовывается, как бы из неясной дали прошедшего, бесстрастное, холодно-красивое лицо Елены Французской, встал Максим Горький и подошел к парапету, чтобы поблагодарить всех. Высокий, светловолосый, с ясными славянскими глазами, полными беспокойных дум... Он сразу же преобразался при возгласах: «Да здравствует русская революция!» Тогда его голубые глаза загорались блеском надежды, его губы улыбались, и весь он выдвигался из ложи, чтобы радостно приветствовать нас”.

Не дожидаясь конца спектакля, Горький попытался выйти из театра незамеченным, но, как вспоминал потом Буренин, “народ уже ждал у выхода из театра, и мы едва смогли добраться до экипажа, который потом еле двигался среди толпы, провожавшей Горького до самого отеля”.

Популярность Горького в Италии была в те годы чрезвычайно велика — по словам обозревателя “Il mattino”, произведения Горького “переводились и обсуждались в Италии больше, чем произведения Золя, Мопассана или Толстого”. “Мещане” с успехом шли в те дни в театрах Турина и Палермо, “На дне” — в Милане и Риме. Осенью 1906 г. драматическая труппа Неаполя поставила “Детей солнца”; премьеры, однако, пришлось на день одного из католических святых, и “во избежание нежелательных

эксцессов” власти запретили постановку (в итальянском парламенте по этому вопросу состоялись даже специальные слушания). В декабре 1906 г. “Дети солнца” были поставлены в Салерно.

Итальянские власти были крайне встревожены приездом Горького в Неаполь — за ним тут же было установлено постоянное наблюдение. Русский генеральный консул в Неаполе А. Н. Деревицкий немедленно информировал царского посла в Риме Н. В. Муравьева. Тот, в свою очередь, уже 27 октября 1906 г. (на второй день пребывания Горького в Италии) секретной телеграммой известил министра иностранных дел А. П. Извольского. Посол сообщал, что Горький намерен прожить в окрестностях Неаполя (в Сорренто или на Капри) два-три месяца для окончания работы над новой книгой (романом “Мать”). По мнению посла, приезд Горького мог послужить поводом к антицарским манифестациям, ибо Горький пользуется в Италии большой популярностью.

28 октября Неаполитанская федерация труда и местная секция Итальянской социалистической партии собрали в честь Горького городской митинг. Только небольшая часть желающих смогла занять с утра места на обширном дворе церкви Сан-Лоренцо. В митинге приняли участие лидеры итальянских социалистов — Д. Бергамаско и А. Лабриола.

1 ноября 1906 г. Н. В. Муравьев докладывал А. П. Извольскому:

“Неаполитанская администрация внушительно посоветовала Горькому избегать в дальнейшем бурных проявлений его популярности и сократить пребывание в Неаполе”.

2 ноября 1906 г. в три часа дня Горький отплыл из Неаполя на остров Капри на маленьком пароходике “Принцесса Мафальда”. С заходом в Сорренто путь тогда занимал три часа; в шесть вечера набережная у каприйской Большой бухты (Marina Grande) была переполнена. Пристани в те времена еще не существовало; на украшенной лодке Горький переправился на берег и был торжественно посажен в специальный экипаж. В сопровождении толпы народа коляска направилась по крутой дороге к главной площади городка Капри — Пьяцетте Умберто I. Площадь была украшена и иллюминирована; взрывались цветные фейерверки; с балкона муниципалитета свешивались флаги. Мэр города Ф. Серена, он же владелец лучшего на острове отеля “Quisisana” на Via Camerelle, отвел Горькому и его спутникам специальные апартаменты для особо почетных гостей.

22 ноября 1906 г. Горький переехал из гостиницы “Квисисана” на виллу “Блезус” (или виллу “Сеттани”, по имени владельца). Маленькая двухэтажная белая каменная вилла располагалась в южной части городка Капри, на склоне горы Кастильоне. Три окна на фасаде были обращены к южной Малой бухте (Marina Piccola). Описание виллы “Блезус” оставила М. Ф. Андреева:



“В доме, где жили мы сами, было всего три комнаты — в нижнем этаже спальня и моя комната, из которой широкая деревянная лестница вела наверх на второй этаж. Весь верх занимала одна огромная комната — кабинет Алексея Максимовича. Самым замечательным в этом кабинете были два огромных окна, в полтора метра шириною и три метра длиною, из цельных стекол. Одно из окон выходило на море. Так как дом стоял на полугоре и довольно высоко над берегом, получалось впечатление, будто сидишь не в доме, на земле, а на корабле, на море. У окна, выходящего на море, стоял простой большой письменный стол, покрытый зеленым сукном, на очень высоких ножках, последнее — для того, чтобы А. М. не слишком нагибался при писанин, по длинному росту своему. С правой стороны возвышалась простая конторка, так как иногда, уставая сидеть, он писал стоя. Везде — на столах, на многочисленных полках — стояли и лежали книги. Чтобы не было холодно и сыро, зимой почти постоянно топился камин, в нем горели корни оливковых деревьев, дающие много тепла и небыстро сгорающие”.

Друг Горького, Н. Е. Буренин, человек очень образованный и к тому же прекрасный музыкант, вспоминал о жизни на первой каприйской вилле Горького:

“Горький прежде всего потребовал достать пианино. Мы воскресили наши григовские вечера, но прибавился еще Бетховен — Горький особенно его любил. Я переиграл почти все сонаты, некоторые из них стали его любимыми... Иногда мы целой компанией отправлялись гулять

по Капри. По дороге ко дворцу Тиберия стояла кантина (ресторанчик), где можно было передохнуть и выпить чудесного каприйского вина. В этой кантине дочь хозяйки, Кармела, танцевала тарантеллу с неизменным своим партнером Энрико. Обычно тарантеллу в Италии, в особенности для иностранцев, танцуют в несколько пар, под звуки мандолин и гитар, эта же пара танцевала под удары одного бубна, в который била, встряхивая бубенцами, толстая старуха... Горький смотрел и сам жил вместе с танцорами, и, как часто с ним бывало даже в самые радостные минуты, слезы набегали ему на глаза. И не знаешь, бывало, на кого смотреть — на танцоров или на Горького!”

По воспоминаниям М. Ф. Андреевой можно восстановить и распорядок дня Горького:

“Вставал он рано, не позже 8 часов утра; в 9 подавался утренний кофе, к которому попевали переводы из тех иностранных газет, которые приходили накануне... В девять часов он садился за письменный стол и не вставал до половины второго, работая ежедневно, за очень редкими исключениями. В два часа обыкновенно обедали. К этому времени приносили почту, и никакие просьбы близких или предписания врачей не могли убедить его не читать во время еды... После обеда, до четырех часов, он отдыхал, сидя на террасе в кресле и покуривая, в 4 выходили погулять, в 5 он пил чай и с половины шестого — шести опять шел к себе в кабинет работать или читать. В семь ужинали, и, когда были приезжие из России или товари-



Горький с попугаем Пепито на террасе виллы "Settani" (1907 г.).

щи, жившие в эмиграции, шли беседы; иногда затевались какие-нибудь игры, в которых А. М. принимал живейшее участие... В одиннадцать часов ночи А. М. окончательно уходил к себе и снова читал или работал над своими рукописями. Ложился он обычно в час, но еще с полчаса, а то и час, читал, лежа в постели".

В начале 1907 г. Горький закончил на Капри роман "Мать", который сразу же был переведен на итальянский и английский языки. Вообще, каприйский период оказался плодотворен для Горького. Именно на Капри он написал повести "Шпион" ("Жизнь ненужного человека"), "Исповедь", "Лето", "Городок Окуров", "Жизнь Матвея Кожемякина", "Детство", многочисленные рассказы. Некоторые из них объединялись в целые циклы — "По Руси", "Русские сказки", "Сказки об Италии". На Капри Горьким были написаны и известные пьесы — "Фальшивая монета", "Последние", "Чудаки", "Васса Железнова", "Зыковы".

Ведя обширную переписку, выписывая на Капри большое количество газет и журналов, Горький старался внимательно следить за всеми новейшими тенденциями в русской литературе. Его письма изобилуют острыми характеристиками:

"У меня странное впечатление вызывает современная литература, — только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо, не отдадут себе отчета в делах своих. Чувствуется что-то чуждое — злое, вредное, искажающее людей влияние... А с

другой стороны на литературу наступают различные параноики, садисты, педерасты и разного рода психопатологические личности... Чувствуется хаос духовный, смятение мысли, болезненная, нервная торопливость. Исчезает простота языка и с нею — сила его. Красивое в лучшем случае подменяют хорошеньким, вместо серебра — фольга, — это все понятно и — обидно. Жизнь становится крупнее, люди — мельче, литература слепнет и глохнет, отрываясь от героической действительности в область выдумок, порой возбуждающих мысль о желаниии авторов попачкать своей темной, больной слюною великие проявления творческого духа, мужественные усилия людей с крепким сердцем и свободной душой победить, одолеть темные силы жизни. И когда видишь эту хитрую, трусливую работу больного животного, которому ничего, кроме покоя, не надо, — становится непонятна роль той группы писателей, которая в трудное время дружно будила мысль демократической массы, а ныне спокойно смотрит, как эту мысль отравляют, да и сама не ясно видит задачи момента, как мне кажется”.

(Письмо Е. Н. Чирикову 2.04.1907.)

“Оставил российскую литературу древний бог русский, бог Чухломы, Чебоксар и Кинешмы, и воцарились в ней идола парижские, венские и других канканских стран неодухотворенные предметы, из всякой дряни слепленные. Скоро все мы будем европейцами, а я перестану бриться, стричь ногти, умываться и предложу себя какому-ни-

будь Барнуму, в качестве русского XIX века. Пусть меня посадят в деревянную клетку, на цепь, пусть развезят по всем Европам, я же буду рычать на «культурных» людей и щелкать зубами — все передние целы у меня. Нет, право, скучно становится смотреть, как мы «поглощаем» культуру Запада, не замечая, что голодные и жадные души наши — экскрементами питаются, а не духом святым”.

(Письмо Е. П. Пешковой, декабрь 1909 г.)

Живя на Капри, Горький много путешествовал по Италии. В марте 1907 г. он побывал в Риме и Генуе, в апреле ездил по побережью Неаполитанского залива: поднимался на Везувий, осматривал исторические места в окрестностях Поццуоли, связанные с именами Цицерона, Вергилия, Кумской сивиллы и нимфы Партенопты, посетил озера Лукрино и Аверно, где, по словам Вергилия, находился вход в ад. Осенью 1907 г. Горький и несколько недель провели во Флоренции и Риме. Неоднократно ездил Горький и на Лигурийское побережье, в городок Аляссио близ Генуи — чтобы повидаться с первой женой Е. П. Пешковой и сыном Максимом.

Дом Горького на Капри стал важным элементом общероссийской культурной и политической жизни. Встречались с Горьким на Капри Леонид Андреев, Иван Бунин, Федор Шаляпин, Мстислав Добужинский, Герман Лопатин (об их пребывании на берегах Неаполитанского залива еще пойдет специальный разговор в этой книге). Приезжали в гости писатели В. Вересаев,



М. Ф. Андреева
на вилле "Settani"
(1907 г.).

А. Новиков-Прибой, А. Амфитеатров, поэт Саша Черный, режиссер К. Станиславский, художники — И. Репин, И. Бродский, Н. Прахов, В. Фалилеев.

Горький постоянно общался на Капри и с жившими там подолгу эмигрантами-революционерами А. Богдановым (Малиновским), В. Базаровым (Рудневым), А. Луначарским, а также с приезжавшими туда Л. Красиным, Ф. Дзержинским, Г. Плехановым, В. Фигнер, В. Черновым. Дважды — в 1908 и 1910 гг. — у Горького на Капри

побывал В. Ульянов-Ленин (об этом — тоже специальный рассказ).

28 декабря 1908 г. произошло сильнейшее землетрясение в Калабрии и Сицилии. Горький немедленно выехал на место катастрофы и организовал сбор пожертвований. Уже 30 декабря он писал в редакцию русской газеты "Речь":

"Эта дивная страна особенно заслуживает помощи русских — здесь после 1905 года все относятся к нам с трогательной, изумляющей симпатией, — что подтвердят все русские: студенты университетов Италии, эмигранты, путешественники... К разуму тех, кто любит людей, с сердцу тех, кто верит в прекрасное будущее мира, я и обращаюсь: придите на помощь Италии!"

Память о бескорыстной помощи русских во время трагедии 1908 г. сохраняется в Южной Италии до сих пор. Речь идет в первую очередь о подвиге моряков русских военных кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала Литвинова, находившихся в то время на учениях в Средиземном море. Как только стало известно о катастрофе, русская эскадра в составе броненосцев "Слава", "Цесаревич" и крейсера "Адмирал Макаров" вышла из порта Аугуста и к часу ночи пришла в Мессинский залив, а 30 декабря из Палермо подошли лодки "Кореец" и "Гиляк". Всего русскими моряками было спасено из-под руин до 2000 человек, которые были затем перевезены в ближайшие порты Италии. Итальянский комитет помощи пострадавшим

отлил золотую медаль и преподнес ее русским морякам со следующим адресом:

“Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю, первыми поспешившим на помощь тем многим, кому грозила верная смерть от яростей земной тверди, мессинцы, пережившие бедствие 28 декабря 1908 года, преподносят этот памятный подарок, не могущий отразить безмерную благодарность, переполняющую сердца. Ваши имена перейдут в грядущее, как незабываемый яркий пример самой высокой и чистой гуманности”.

Горького поразила реакция итальянцев на национальную трагедию:

*“Что творится здесь, видели бы Вы! Какой прекрасный народ, эти итальянцы, какая культура и солидарность! В Неаполе, городе страшно бедном, население собрало в два дня 1/2 миллиона! На улицах стоят сборщики, а прохожие снимают с плеч пиджаки, фуфайки, штаны — да! — и бросают к их ногам. Нигде нет ни одного полицейского: все руки заняты подготовкой помещений для раненых, переноской их и упаковкой хлеба, мяса, молока, грузкой. Город весь во власти народа, по улицам летает автомобиль герцогини Аостской, жены наследника... Около нее — студенты, берсальеры, она вся в пыли, кричит, командует — все это удивительно нашему брату! И мы — демократы — но — куда нам до этих высот! Превосходно работают наши моряки, на улицах им орут *viva il marinai russi, viva!* Целуют. Энергия — поразительная,*



А. М. Горький около популярного среди русских на Капри кафе “Morgano” (1908 г.).

единодушие — выше всяких описаний! Королевский дворец обращен в госпиталь, церкви — тоже. Но главное, самое поразительное и трогающее меня — это полное слияние всех людей в единое целое и — какое слияние! Вот группа обедающих в гавани: офицер артиллерии, ювелир-богач Carace, два солдата, носильщик, торговка-старуха, полицейский и трое уличных ребят, — такие группы всюду, обедать дома — нет времени, сейчас придут военные суда с больными. Настроение — бурное, дружное и — несмотря на ужас происшедшего — все веселы, бодры. Я — реву... Великолепный народ, и даже король у него — молодчина!”

(Письмо Е. К. Малиновской 31.12.1908.)

В конце февраля 1909 г. Горький покинул виллу “Блезус”, где прожил два с лишним года, и переселился в значительно более просторную виллу “Спинола” (или, по фамилии владельца, “виллу Беринга”). Вторая каприйская вилла Горького (в перестроенном виде дом также сохранился) находилась в северо-восточной части городка Капри, на крутом скалистом склоне горы San Michele над Marina Grande. Когда-то под виллу был перестроен бывший монастырь, и, по свидетельству гостей Горького, среди каприйцев бытовало поверье, что “в том бывшем монастыре по ночам бродит тень монаха”. В. Н. Бунина-Муромцева (жена И. А. Бунина) вспоминала о посещении виллы “Спинола” в марте 1909 г.:

“Сама вилла была прелестна: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный, с высокими, просторными

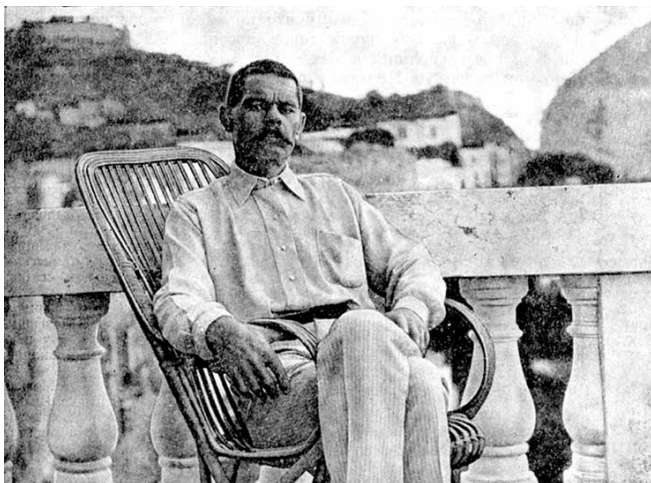
комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое, низкое окно кабинета, за которым стояли цветы... С балкона открывался вид на Неаполь. Думать, работать в таком кабинете было приятно...”

О самом Горьком В. Н. Бунина вспоминала следующее:

“Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме «Асти» на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был умерен, жадности к чему-либо у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством, все на нем было первосортное. В пиджачной паре я видела его позднее, когда он бывал с нами в Неаполе, а на Капри он носил всегда темные брюки, белую фланелевую рубашку, шведскую кожаную светло-коричневую куртку, а на ногах темные шерстяные или шелковые носки, мягкие туфли. Любил он свою широкополую черную шляпу”.

1909 год прошел в доме Горького под знаком подготовки и проведения “Каприйской школы” для передовых рабочих-большевиков из России, призванных стать идейно-политическим костяком массовой революционной партии. Идейной базой “школы” должно было стать учение “эмпириомонизма”, разработанное большевистскими теоретиками — Богдановым, Луначарским, Базаровым.

Школа открылась на Капри 5 августа 1909 г. и работала несколько месяцев. Учениками школы стали



Горький на террасе виллы “Spinola” (1910 г.).

около трех десятков рабочих — как специально отобранных партийными комитетами в России, так и “вольнослушателей” из числа эмигрантов, живших в Неаполе и на Капри. Занятия проходили на нижнем этаже горьковской виллы “Спинола”, а учащиеся, по несколько человек, снимали комнаты в окрестных домах. В сентябре 1909 г. Горький писал М. М. Коцюбинскому:

“Приехавшая сюда рабочая публика — чудесные ребята, и я с ними душевно отдыхаю от щипков и уколов «культуры». В то же время, по мере возможности, они знакомятся с культурой истинной — были в Неаполи-

танском музее, в старых церквях, в Помпее, будем и в Риме. Хорошо они смотрят, хорошо судят, и — вообще — хорошо с ними демократической моей душе! А между делом — музыкой занимаемся; живет здесь добрый парень, директор Московского императорского музыкального общества Сахновский, композитор, пишет оперу и симфонию, устраивает в праздники, по вечерам концерты — рабочая публика моя и тут на месте”.

Живший тогда в эмиграции во Франции В. И. Ленин крайне ревниво отнесся к “каприйской школе”, в которой не без оснований увидел попытку создания альтернативного большевистского центра. В конце концов Ленину удалось отколоть от “каприйской школы” часть учеников и “переманить” их в Париж.

В хорошую погоду любимым времяпрепровождением Горького на Капри, помимо литературной работы, была рыбная ловля; часто он вместе со своими друзьями — семейством рыбаков Спадаро — проводил в море по много часов. Одну из таких “больших рыбалок” (в июле 1910 г.) описал друг Горького — писатель М. М. Коцюбинский:

“В 6 часов утра мы были уже в море, на трех лодках... Вода тихая и такая прозрачная, что на большой глубине уже видишь, как серебряным пятном или серебряным ужом плывет еще живая, но на крючке, рыба. Вот вытаскивают вьюна, который длиннее меня, а толщиной в две человеческие ноги. Вьюн бьется, и его оглушают железным крюком и бросают в лодку. Затем опять идет



А. М. Горький, М. Ф. Андреева, А. Н. Тихонов
и А. А. Богданов на террасе виллы "Spinola" (1909 г.).

274

рыба-черт, вся красная, как коралл, с большими крыльями, как Мефистофель в плаще. Затем опять вьюны, попадают маленькие и большие акулы. Последних должны убивать в воде, потому что вытаскивать их живыми в лодку опасно, могут откусить руку или ногу... Вообще поймано много рыбы, одних акул штук пятнадцать — двадцать (их тут едят). Затем мы заплывли в какую-то пещеру, там закусывали, пели песни и купались, кто мог. Потом еще ловили рыбу удочками и возвратились домой только вечером, так что пробыли на море 12 часов”.

Зимние месяцы на севере острова, где в 1909–1911 гг. жил Горький, не всегда соответствовали расхожим представлениям о “каприйском рае”:

275

“Стоит дьявольская погода; пароход из Неаполя не приходил двое суток... Море — бешеное, пристать к острову — нет возможности, каждый день — изумительной красоты грозы, идет дождь, град, снег, дует дикой силы ветер, масса поломанных деревьев и — вообще какой-то мокрый ад. Свист, шум, барабанная дробь града, попугаи мерзнут и орут, как дьяволы. Вероятно, весь этот кавардак производит Галлеева комета, ее уже видели из Неаполя простым глазом”.

(Письмо Е. П. Пешковой, январь 1910 г.)

“Погода здесь — анафемская! Ветер дует с силою урагана, ломает деревья, разводит огромную волну, и парохода из Неаполя не бывает дня по два. Это — недурно. Ибо — каждый раз, начитавшись русских газет, я становлюсь подобен лютному тигру. А так — хоть отдохнешь день, не соприкасаясь с жизнью этой несчастной и страшной нашей родины”.

(Письмо Е. П. Пешковой, начало ноября 1910 г.)

“Но — если бы Вы знали, как мне трудно писать!.. А тут еще обезумела природа: небо прокисло, стало подобно овсяному киселю, тает, рвется, и в дырья его садит неистовый ветер, опрокидывая все, что можно. Море — воет, все качается, двери — хлопают, во все щели плещет дождь — кавардак со стихиями!.. По ночам в небо выкатывается луна, вид у нее простуженный, распухший, улыбочка кисленькая и критическая. Но тотчас на нас,

как нищие на семишник, бросаются, наваливаются тучи и давят, гасят, растирают по мокрому небу в желтовато-тусклое пятно... Пароход из Неаполя не ходит к нам, прошлый раз подпрыгнул, поплевался черным горьким дымом — и ушел обратно”.

(Письмо А. В. Амфитеатрову, ноябрь 1910 г.)

276

В годы своего пребывания на Капри Горький многократно (бывало, что по два-три раза в месяц) ездил в Неаполь. Он стал подлинным знатоком богатых коллекций Национального музея — это отмечали все каприйско-неаполитанские гости Горького. Но особенно привлекали Горького в Неаполе театры — “Сан-Карло”, “Нуово”, “Фондо” и более всего народный театр “Сан-Карлино” (“Меркаданте”). В июне 1910 г. Горький писал Л. А. Сулержицкому:

“Мне живетса недурно. Я все больше и горячей люблю Италию, особенно — Неаполь и — неаполитанский театр. Дружище, какой это великолепный театр! Здесь есть актер-комик Эдоардо Скарпетта, он же — директор театра «Меркаданте» и автор всех пьес, которые ставятся в этом театре. Он и его товарищ Делла-Росса — изумительные артисты! Скарпетта идет от Полишинеля — от Петрушки нашего — но как! Великолепен трагик Каравальо, особенно в ролях чисто неаполитанского репертуара, в мелодрамах из жизни порта. Когда он играет какого-нибудь хулигана — страшно смотреть...

Хороши здесь театры, и театральная жизнь изумительно бойка. Я имею в виду, главным образом, театры диалектов... Смотрел я у Скарпетта, как голодные неаполитанцы мечтают — чего бы и как бы поесть? — смотрел и плакал! И вся наша варварская русская ложа — плакала. Это — в фарсе? В фарсе, милый, да! Не от жалости ревели — не думай! — а от наслаждения. От радости, что человек может и над горем своим, и над муками, над унижением своим — великолепно смеяться... Страшно люблю неаполитанские песни. И в случае, если я приму католичество, а также — подданство итальянское, — не удивляйся, не ругайся, не плачь! От любви! От нее — на все пойдешь! Между прочим — только ты не говори никому! — у меня превосходнейшие отношения со здешними попами...”

277

В октябре 1910 г. Горький отправился в новое большое путешествие по Италии, побывал во Флоренции, Пизе, Лукке, Специи, Сиене. По возвращении на Капри он писал О. О. Грузенбергу:

“Живу я — интересно; мне кажется, что интересно жить — моя привычка, привычка, самую природой данная мне. Вижу много чудесных людей, часто увлекаюсь ими, иногда наступают разочарования — тоскую и — снова увлекаюсь, как женщина. Все больше и больше люблю Италию — страну великих людей, прекрасных сказок, страшных легенд, землю праздничную, благодатную, добрую к людям, люблю ее с тоской, с завистью и верю,

что она медленно, но неуклонно шествует к новому Возрождению. Вот — только что был во Флоренции, Пизе, Лукке, Сиене и маленьких городах Тосканы, — благоговейно восхищался богатствами прошлого и, наблюдая дружную работу настоящего, думал о родных Кологривах, Арзамасах, о Пошехонье и других городах несчастной, ленивой, шаткой родины... Жить — не скучно, но невыносимо тягостно думать о России, читать русские газеты, журналы, книги, безумно больно и обидно видеть, как мои духовно нищие соотечественники рядятся в яркие отrepья чужих слов, чужих идей, стараясь прикрыть свою печальную бедность, свое духовное уродство, свое бессилие и жалобную слабость духа”.

В феврале 1911 г. произошел очередной переезд — снова на юг острова, на новую виллу “Серафина”. (Сегодня эта вилла, расположенная на Via Mulo на холме над Marina Piccola, называется “Пьерина”, и у входных ворот повешена мемориальная доска.) Весной 1912 г. эстонский художник Н. Ф. Роот посетил виллу “Серафина” и оставил ее описание:

“Внутреннее убранство виллы поразило меня художественно-строгой простотой... По стенам было развешено старинное оружие: копья, щиты, мечи, луки, стрелы, фрагменты античных барельефов... На массивных столах лежало множество журналов, книг и газет, в вазах стояли цветы. Простая удобная мебель, ковер и соломенные дорожки-циновки, античные скульптуры — все это создавало строгое гармоническое впечатление.

Все это особенно контрастно бросалось в глаза после накануне осмотренных из любопытства нескольких соседних вилл, принадлежавших американским миллиардерам, где сумбурная роскошь и безвкусица обстановки говорили о невысокой культуре владельцев этих буржуазных жилищ...”

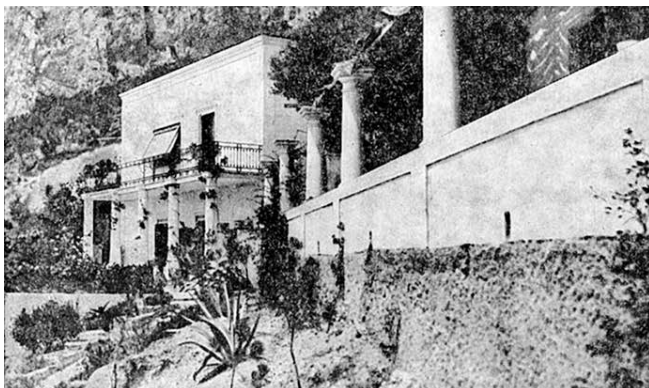
В начале прошлого века остров Капри постепенно вошел в обязательную программу туристских маршрутов по Италии. Среди экскурсантов было немало русских, которые, будучи на Капри, искали встречи с полупоупендарным писателем-эмигрантом. Обычно русские экскурсанты, проходя мимо виллы Горького, неизменно затягивали нестройным хором песню из горьковской пьесы “На дне”:

*Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...*

Горький поначалу любил эти встречи, потом начал избегать их — вид праздных соотечественников стал раздражать писателя:

“Вижу русских экскурсантов, — стада баранов, овец и свиней. Откуда эти покойники? Воняют — прескверно, ведут себя еще хуже и все кажутся кандидатами в стражники, в армию Илиодора, в черные сотни. Удивительно беззаботны и — глупы, до убийственной тоски”.

(Письмо Е. П. Пешковой 21.08.1911.)



Вилла "Serafina" на каприйской Via Mulo, где Горький жил в 1911–1913 гг. (фото 1912 г.).

"Ужасно густа атмосфера варварства, и почему-то мне кажется, что за последние годы она делается все тяжелей, гуще. Особенно — среди соотечественников. Экскурсанты этого года вели себя здесь прямо как свиньи, да еще — бешеные. Какие интересы, какие дикие вопросы. И — хулиганские поступки. Один какой-то старик хотел незаметно сфотографировать меня, а когда лодочник-итальянец сказал, что этого нельзя делать, я не люблю, сей русский бросился бить его..."

(Письмо Е. П. Пешковой 31.08.1911.)

М. Ф. Андреева уехала с Капри 11 ноября 1912 г., сначала в Европу, затем в Финляндию, ожидая возможности



Мемориальная доска у ворот виллы "Serafina" (ныне — "Pierina") (современное фото).

легально вернуться в Петербург или Москву. Сразу же после отъезда Андреевой на остров приехала Е. П. Пешкова с Максимом. А 6 марта 1913 г. в российских газетах был опубликован правительственный манифест и указ Сенату, в котором Николай II, в честь 300-летия правления дома Романовых, объявлял амнистию лицам, привлекавшимся по статьям 128, 129 и 132 Уголовного уложения "за преступные деяния, учиненные посредством печати".

Горький принял решение вернуться в Россию. В июле-августе 1913 г. он совершает еще одно большое путешествие по Италии: Болонья, Падуя, Римини, Венеция, Верона, Виченца, Рим. В Неаполе он останавливается в

“Hôtel Royal Santa Lucia”, где проходит курс лечения от туберкулеза.

Сборы на Капри заняли еще несколько месяцев, и 9 января 1914 г. Горький окончательно покидает Капри и отправляется поездом из Неаполя (через Рим, Вену, Берлин и Варшаву) в Петербург. Так окончился первый большой “итальянский период” Горького.

Летом 1921 г. полпред большевистской России В. В. Воровский пригласил Горького на лечение и отдых в Италию. Приход к власти в Италии Муссолини задержал поездку, но в марте 1924 г. въездные визы были получены. 6 апреля 1924 г. Горький вместе с сыном Максимом и невесткой Н. А. Пешковой приехали в Неаполь и поселились в отеле “Continental”. 20 апреля 1924 г. Горький писал из Неаполя приемному сыну З. А. Пешкову из Неаполя:

“Я чему-то рад и чувствую себя детски хорошо, что в 55 лет несколько странно. Неаполитанцы, кажется, не изменились за десять лет, всё такие же забавные, любезные и милые. Город стал чище, очень много новых построек... Здесь хорошо, несмотря на дожди и холод”.

23 апреля 1924 г. Горький переехал из Неаполя в отель “Sarussini” в пригороде Сорренто — Сант-Аньелло. В те дни неаполитанская газета “Il Mezzogiorno” опубликовала статью о Горьком, которая начиналась следующими словами:

“Как прекрасная свободная птица, уставшая в непрерывных схватках с бурями и штормами Крайнего Севера,

Максим Горький возвратился в теплые края Неаполитанского залива, который уже однажды восстановил его здоровье и силы...”

В мае 1924 г. Горький переезжает на виллу “Масса” в том же Сант-Аньелло (теперь на этом месте расположен отель “Majestic”). Там Горький начинает работать над романом “Дело Артамоновых”.

В середине ноября 1924 г. Горький переезжает на мыс Сорренто на виллу “Сорито”, принадлежавшую герцогу Серра-Каприола (вилла сохранилась; сегодня на ее фасаде установлена мемориальная доска). В те месяцы Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому:

“Живу я не в Sorrento, а минутах в пятнадцати — пешком — от него, в совершенно изолированном доме герцога — знай наших! — Серра-Каприола. Один из предков его был послом у нас при Александре Первом, женился на княгине Вяземской, и в крови моего домохозяина есть какая-то капелька безалаберной русской крови. Забавный старикан. И он, и две дочери его, девицы, которым пора бы замуж, живут с нами в тесной дружбе и как хозяева — идеальны: все у них разваливается, все непрерывно чинится и тотчас же снова разваливается. Герцог мечтает завести бизонов, а здесь — корову негде пасти, сплошь виноградники, апельсины, лимоны и прочие плоды. Красиво здесь; не так олеографично, как в Крыму, не так сурово, как на Кавказе, т. е. в Черноморье, а как-то иначе и — неопишимо. Торкватто Тассо — соррентиец, его здесь очень понимаешь”.

В. Ф. Ходасевич, некоторое время живший в Сорренто вместе с семьей Горького, вспоминал о переезде на виллу “Сорито”:

“Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные сьрыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши, баронессы М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу <В. М. Ходасевич>, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две”.

В конце 1925 — начале 1926 г., когда на вилле “Сорито” шел серьезный ремонт, Горький с семьей жил в Неаполе и Позилиппо, на вилле “Галотти”. В те месяцы в Неаполе и окрестностях было особенно много иностранцев, которые крайне раздражали Горького. 10 марта 1926 г. он писал В. М. Ходасевич:



Вилла “Sorito” герцога Серра-Каприола на Capo di Sorrento (фото начала XX в.).

“Жить здесь, в Неаполе, уже стало нельзя. Гости. Граммофоны. Фокстроты и фокстерьеры. Бульдоги. Грызня, лай и вой. Все обижены. Я — тоже. Англичанами и американцами с аппаратами. Приедут, сядут и спрашивают: «Дуетс в спик англиш?» — «Ну, — говорю, — онли рошен дую». — Не верят и всячески стараются надуть, чемберлены! Через некоторые дни едем в Сорренто, где все готово уже: лимоны, шпионы, лаун-теннис под окном у меня”.

В мае 1926 г. состоялся переезд из Позилиппо на отремонтированную виллу “Сорито”, где Горький продолжил работу над “Жизнью Клим Самгина”.



Вилла "Sorito" (современное фото).
Здесь А. М. Горький жил в 1925–1933 гг.

К вилле "Сорито" примыкал обширный сад, откуда можно было спуститься к небольшой бухточке Regina Giovanna с развалинами Villa di Pollio или пройти дальше — к руинам античных бань на Punta del Capo. А прямо напротив виллы "Сорито" находился небольшой отель "Минерва" — здесь в разное время перебивало немало знаменитых гостей Горького: философ Вячеслав Иванов (живущий постоянно в Риме), главный декоратор миланского театра "Ла Скала" Николай Бенуа, режиссер Всеволод Мейерхольд с женой — актрисой Зинаидой Райх, композитор С. Прокофьев, скульптор С. Коненков, литераторы П. Муратов, А. Толстой, В. Катаев, Л. Леонов, Ф. Gladkov, Н. Асеев, О. Форш, П. Коган, И. Уткин, А. Жаров, А. Безыменский, Вс. Иванов, И. Бабель, Ф. Gladkov, С. Маршак и многие другие.



Вход в бывший отель "Minerva", где останавливались соррентийские гости Горького (современное фото).

Летом 1928 г. Горький приехал в Россию — и был встречен с триумфом. Осенью, с наступлением холодов, возвратился в Сорренто — так будет происходить потом в течение нескольких лет.

В начале 1933 г., за два месяца до окончательного отъезда, в Москву были отправлены книги Горького. Две внучки вместе со швейцарской гувернанткой уехали первыми. 8 мая 1933 г. Горький и Максим с женой простились с прислугой и собаками и на четырех извозчиках и двух автомобилях уехали в Неаполь вместе с гостившими у них последними С. Маршаком и Л. Никулиным. В Неаполе Горький с домочадцами сели на теплоход "Жан Жорес" и через Стамбул отплыли в Одессу. 19 мая 1933 г. Горький вернулся в Москву.

Приложение

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ
Горький в Сорренто

288

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много... Часов в семь бывал ужин, а затем чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501, либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских спо-

собностей и карточной памяти. Беря или, чаще, отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал: “Позвольте, а что были козыри?”... Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному... На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, он вскидывал плечами и удивлялся: “Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке”... Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати... Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому что вырос среди них и они все его баловали. Он говорил: “Владимир Ильич”, “Феликс Эдмундович”, но ему больше шло бы звать их “дядя Володя”, “дядя Феликс”. Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было

289

работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал... Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе... Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки “Асти”, бутылку мандаринного ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали “Солнце всходит и заходит”. Он сперва умолял: “Перестаньте вы, черти драповые”, — потом вставал и, сторбившись, уходил наверх... Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель “Минерва” — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку “Минервы”, синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это — сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: “Положение, какаче которого быть не может”... Слава приносила ему <Горькому> много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость непри-

хотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентийской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей... Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам... Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной степени прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но, в конце концов, всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать... Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, — вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии... За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра... Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом

своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства... Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил: “Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны <Будберг> десять лир! Айда в Сорренто!” Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

В. Ф. Ходасевич. Некрополь. М., 2001, с. 149–157.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

293

Леоид Николаевич Андреев (21.08.1871, Орел — 12.09.1919, деревня Нейвола, Финляндия) — прозаик, драматург. Окончил юридический факультет Московского университета, но предпочел литературную карьеру и быстро приобрел всероссийскую известность.

Первый приезд Андреева в Италию был вызван трагическими обстоятельствами. 11 декабря 1906 г. в Берлине от послеродовой горячки скончалась жена Андреева — Александра Михайловна Велигорская. Сразу же вслед за этим, оставив новорожденного сына Даниила на попечение родственников, Андреев, находящийся в состоянии крайней депрессии, уехал в Италию, на остров Капри, где провел полгода. Живший к тому времени уже несколько месяцев на Капри Горький вспоминал об Андрееве:

“Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти...”

Сам Андреев писал в те дни В. П. Тройнову:

“И одиноко очень, среди этих пальм, итальянских песен, лазурных волн. И море не радуется. И забвенья не приходит... А душа у меня еще старее, выжженная, опустошенная, ограбленная жизнью... Забвенья нет, и все сильнее болит душа — так болит, что хочется уйти в темный подвал и еще глубже и еще глубже”.

Приехавший на Капри с матерью Анастасией Николаевной и старшим сыном Вадимом, Андреев поселился на “Вилле Карачиолло”, принадлежавшей вдове известного художника.

Горький: “В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая пятна плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую”.

Весной 1907 г. Андреев позвал на Капри своего друга — известного писателя Викентия Викентьевича Вересаева, которому писал в начале марта:

“Приезжайте сюда на Капри. Отдохнуть тут можно всячески — и лежа на камушке у моря, и шатаясь по Риму, Флоренции и пр. — всё близко... И с Вами мы пред-



Отплытие из Неаполитанской гавани (фото начала XX в.).

приняли бы ряд всевозможных экскурсий — по морю и по суше. Устроиться здесь можно недорого. Конечно, присутствие здесь Горького для Вас особенной цены не имеет, но изредка хорошо повидаться и с Горьким. Я вижу его часто и с большим удовольствием. Видел бы еще чаще, если бы... но об этом можно говорить, а не писать... Работал я тут. Трудно было вначале невыносимо, — как

для маньяка, одержимого определенной идеей, видениями, снами, — писать о чем-то совершенно постороннем. Но преодолел — частью из упрямства, частью чтобы оправдать собственное существование; однако добился, кстати, и жестокой бессонницы, головных болей и пр. Сейчас, кажется, проходит, по крайней мере, вот уже две ночи сплю. И рассказ кончил. «Иуда Искариот и другие» — нечто по психологии, этике и практике предательства. Горький одобряет, но сам я недоволен. Продолжал бы работать и дальше, ибо делать больше нечего — но голова не выдерживает. Буду отдыхать, фотографировать, гулять и т.д... Вы ведь в Италии уже побывали и несколько знакомы с нею. Мне нравится дышать свободно. Я даже итальянскому учусь, учитель ходит, но память точно отшибло, ничего не выходит. Все же стараюсь... Наставать боюсь, но думаю, что Капри для Вас оказалось бы хорошим местом. Красиво тут, ясно как-то и нет того раздражающего, чем противен для меня Крым...»

Весной 1907 г. Вересаев приехал к Андрееву на Капри и прожил там около месяца. Медленно преодолевая депрессию, Л. Н. Андреев, в дополнение к рассказу «Иуда Искариот», начал на Капри пьесу «Черные маски», написал несколько глав повести «Мои записки», злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма» (где прототипом героя стал нелегально живущий на Капри эсер Петр Рутенберг — организатор убийства Гапона), создал план «Сашки Жигулева» и сделал наброски пьесы «Океан». Позднее Горький вспоминал об Андрееве:

“Никогда, ни ранее, ни после, я не видел его настроенным до такой высокой степени активности, таким необычайно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый... Он относился к своему таланту как плохой ездук к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной фантазии, он не заботился о том, чтобы развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великой помехой роста его таланта”.

Внезапный отъезд Андреева с Капри вызвал много толков. В посмертных воспоминаниях об Андрееве Горький писал так:

“Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне: «А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пенцем. В сущности, здесь — не настоящая жизнь, а опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде избобрел Шекспир, — итальянцы неспособны к трагедии»”.

Совершенно иную версию андреевского отъезда с Капри Горький излагал “по свежим следам” в своих письмах третьим лицам:



“Андреев уехал отсюда без меня, здорово наскандалив на острове. Напился пьян, хотел по обыкновению застрелиться, упал, разбил себе лоб, кого-то толкнул в воду и т.д. Вообще — тяжело мне с ними! Все эти г.г. писатели наших дней какие-то душевно больные, жалкие, извращенные, черт бы их побрал!”

300

Письмо Е. П. Пешковой, 2.06.1907.

“Андреев напился и наскандалил здесь на всю Италию, черт его дер! Оттого он и сбежал столь скоропалительно. Кого-то толкнул в воду, и вообще — поддержал честь культурного человека и русского писателя. Ах, дьяволы!”

Письмо И. П. Ладыжникову 4.06.1907.

Леонида Андреева связывали с Горьким сложные личные отношения: от почти нежной дружбы — до откровенной взаимной неприязни. В одном из поздних писем Горькому Андреев вспоминал о тяжелых месяцах, проведенных на Капри в 1906-1907 гг.:

“Почти полгода прожил я на Капри бок о бок с тобою, переживал невыносимые и опасные штурмы и драмки, искал участия и совета именно в личной, переломавшейся жизни — и говорил с тобою только о литературе и общественной. Это факт: живя с тобою рядом, я ждал приезда Вересаева, чтобы с ним посоветоваться — кончать мне с собой или нет!”

Лишь 29 января 1913 г. Андреев опять приехал на Капри (будучи к тому времени уже вторично женатым —

На предыдущем развороте: Остров Капри.
Скалы Фаральони рядом с Малой гаванью (фото 1885 г.).



Л. Н. Андреев в Помпеях (фото 1907 г.).

на Анне Ильиничне Денисевич). Проводивший на Капри зимние месяцы Иван Алексеевич Бунин потом вспоминал:

“Был четыре дня Леонид, — два из них пил, вломился ко мне пьяный, целовал руки и, как последний хам, говорил

301

мне дерзости. Злоба, зависть — выше меры. Я не провожал его”.

Судя по воспоминаниям того же Бунина, не была радостной и новая встреча Андреева с Горьким. Андреев, в свою очередь, так оценивал очередное свидание с Горьким в письме А. А. Смирнову 27 января 1913 г.:

302

“Заматерел Максимыч в экзотике дней своих, учительствует сухо и беспрерывно. И, учительствуя, имеет вид даже страшный, человека как бы спящего или погруженного в транс. Коллекционерствует, полон шкаф монет, понимает, что какая мумия обозначает, и безвольно и беспорядочно, как календарь или Брокгауз и Ефрон в сокращенном издании, источает сведения на букву Д и букву С. Строго осуждает любовь, ревность, детей, Россию, пессимизм, за восемь лет не научился итальянскому и живет среди народа как глухонемой, живет через переводчика... И всё на высшей политике, и всё поза и игра; и тут же десяток молодых полуписателей, эмигрантов и внимающих... Печальная жизнь!”

Октябрьской революции Леонид Николаевич Андреев не принял. Жил с семьей на даче в Финляндии и в декабре 1917 г., после получения Финляндией самостоятельности, невольно оказался в эмиграции. Там, в финской деревне, он скоропостижно скончался 12 сентября 1919 г.

Приложение

В. В. ВЕРЕСАЕВ

Леонид Андреев на Капри в 1908 г.

303

За время, которое я его не видал, он сильно пополнил и обрюзг. Лицо стало мясистое. Бросилось в глаза, какое у него длинное туловище и короткие ноги... Жил Андреев в уютной и большой вилле, с пальмами в саду, с застекленной террасой. О хозяйстве можно было не заботиться. Существовал на Капри такой на все руки благодетель, вездесущий синьор Моргано, владелец местного кафе “Zum Kater Hidigeigei”. Он взял на себя полную заботу об Андрееве: поставлял для него провизию, вино, прислугу, сам заказывал обеды и ужины, заведовал стиркою белья — словом, совершенно освободил Андреева от всяких хозяйственных забот. Так же, сколько я знаю, обслуживал синьор Моргано и Горького. Андреев серьезнейшим образом был убежден, что все это почтенный синьор делает из любви к русской литературе. И правда, с русскими писателями синьор Моргано был очень приветлив, при встречах далеко откидывал в сторону руку со шляпой и восклицал, приятно улыбаясь: “Тарой самотершаве! (Долой самодержавие!)” — Но за свои заботы об Андрееве он брал с него тысячу рублей в месяц на наши



Городок Капри. Центральная площадь (фото конца XIX в.).

деньги. Как тут не полюбить русскую литературу!.. <Однажды вечером> мы <с Андреевым> долго говорили. Он непрерывно пил. Потом вдруг собрался идти гулять. Невозможно было его удержать. Глаза стали неглядящими и упрямыми. Пошел с ним. По дороге встретили инженера Рутенберга (убийцу Гапона), который в то время нелегально скрывался в Италии. Он присоединился к нам. Андреев выбирал в прибрежных скалах самые узкие, обрывистые тропинки; снизу высоко прыгали из темноты вверх белые волны прибоя. Никакие наши угово-

ры не действовали. С теми же упрямыми невидящими глазами Андреев карабкался через камни, перебирался через водомоины и шагал по тропинкам неверными, чрезмерно твердыми шагами. Воротились домой только с рассветом... Пил он непрерывно, жутко было глядеть. Посетил его провинциальный русский актер, бритый, с веселым, полным голосом. Рассказал, что играл главную роль в его “Жизни человека”, о горячем приеме, какой публика оказала пьесе. Андреев жадно расспрашивал, радовался... После ужина вдруг взял бутылку вина и собрался идти гулять. Настасья Николаевна испугалась и шепотом умолила актера пойти вместе с ним. До четырех часов они шатались по острову, Андреев выпил всю захваченную бутылку; в четыре воротились домой; Андреев отыскал в буфете еще вина, пил до шести, потом опять потащил с собою актера к морю, в пещеру. Тот не мог его удержать, несколько раз Андреев сваливался — к счастью, в безопасных местах, воротились только к восьми утра. Андреев сейчас же завалился спать. Настасья Николаевна со скорбью рассказывала: “Вот так, бывает, несколько ночей подряд колобродит! Ах ты, Боже мой! Хоть бы женился опять, что ли! Авось тише бы стал!” Странно было: Капри, пальмы, лазурное море. А как будто в домике в три оконца, на орловской окраине, мамаша-чиновница вздыхает над беспутным своим сынком... Работал Андреев по ночам. Работал он не систематически... Неделями и месяцами он ничего не писал, обдумывал вещь, вынашивал, нервничал, падал духом, опять

оживал. Наконец садился писать и тогда писал с поразительной быстротой... Ездили с Андреевым на лодке по знаменитым каприйским гротам. Возил нас рыбак Спадаро. Андреев часто пользовался его услугами. Красочная фигура, и хочется про него рассказать. Загорелый старик изумительной красоты, с блестящими черными глазами и длинной седой бородой патриарха. Местная знаменитость. Когда он был молод, художники рисовали с него Христа, теперь пишут с него Бога Саваофа. Церкви Средней Италии полны его изображениями. В витринах местных магазинов продаются его портреты, писанные художниками... Вся его фигура — живая Италия в ее красоте и очаровании. Он смел, ловок, силен. Мне указывали на крутые скалы, почти отвесно выступающие из моря у берегов Капри. Ни одна нога человека не бывала на них — один только Спадаро на них взбирался. И теперь, когда он уже старик, везде слышишь: “Спадаро! Спадаро!” Что же было, когда он был молод?... Однажды вечером пришел он к Андрееву в гости вместе с девушкой Коншетой, служившей у Андреева горничной, и ее подружкой. Пили вино, беседовали. Потом все трое танцевали тарантеллу. И любо было смотреть, как этот Бог Саваоф носился с девушками в страстной тарантелле. У него, очевидно, взял Андреев фамилию для своего герцога Лоренцо ди Спадаро в “Черных масках”.

В. В. ВЕРЕСАЕВ. *Леонид Андреев* // Собрание сочинений в 5 тт. М., 1955, т. 5, с. 463-471.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

307

Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов; 22.04.1870, Симбирск — 21.01.1924, Горки, под Москвой) — юрист по образованию, публицист, лидер большевистской партии. С июля 1900 г. — в эмиграции. В Неаполе и на Капри побывал дважды — в апреле 1908 г. и в июле 1910 г.

Жившие с конца 1906 г. на острове Капри А. М. Горький и М. Ф. Андреева неоднократно приглашали Ленина “закатиться” к ним в Италию. Непосредственной причиной первого приезда Ленина к Горькому весной 1908 г. был арест в Генуе двух посылок с ленинской газетой “Пролетарий”, которая издавалась в Женеве и нелегально переправлялась морским путем в Россию. По просьбе Ленина Горький, через апелляции в итальянскую социалистическую прессу и к парламентариям-социалистам, добился отмены ареста. 23 апреля 1908 г. Ленин приехал

в Неаполь поездом и в тот же день был у Горького на Капри на вилле “Блезус” (“Сеттани”). В течение следующей недели Ленин вместе с Горьким осматривали Неаполь, экспозиции Неаполитанского музея, ездили по окрестностям, побывали в Помпеях, поднимались на Везувий.

На Капри Ленин общался с жившими на Капри эмигрантами-большевиками А. А. Богдановым (Малиновским), В. А. Базаровым (Рудневым), А. В. Луначарским, которые были увлечены философскими идеями “эмпириомонизма” (в терминологии Ленина — “богостроительства”) и пытались сформировать на Капри альтернативный центр большевизма. 30 апреля 1908 г. Ленин покинул Капри. Впоследствии он писал:

“Я был на о. Капри в апреле 1908 г. и объявил всем этим 3-м товарищам <Богданову, Базарову, Луначарскому. — А. К.> о безусловном расхождении с ними по философии (причем я предложил им тогда употребить общие средства и силы на большевистскую историю революции, в противовес меньшевистско-ликвидаторской истории революции, но каприйцы отвергли мое предложение, пожелав заняться не общеполитическим делом, а пропагандой своих особых философских взглядов)”

К концу 1908 г. идейные разногласия внутри большевистской партии между “практиками” во главе с Лениным и живущей в Италии группой “философов” усилились. Горький поначалу активно примыкал к группе Богданова, считая, что ленинский марксизм есть идеология исторического фатализма, а учение Богданова (“эм-



В. И. Ленин и А. А. Богданов играют в шахматы на террасе горьковской виллы “Settani” (1908 г.).

пириомонизм”), напротив, есть “философия активности” и наиболее перспективна для культурного воспитания пролетариата. Высоко оценивая Ленина как лидера партии, как “выдающегося организатора и бойца”, Горький с иронией относился к претензиям Ленина на теоретизирование и весьма снисходительно отзывался о книге Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”, ставшей “библией ортодоксального большевизма”:

“За эту книгу Богданов его, Ленина, высечет, дабы он, Ленин, впредь не за свое дело не брался, людей не смешил и с историей не спорил”.

Письмо Горького К. П. Пятницкому 17.11.1908.

Для окончательного закрепления теоретического главенства в партии группы Богданова—Луначарского—Горького в 1909 г. на Капри была организована школа для передовых рабочих из России. “Каприйская школа” была прямым вызовом Ленину. Горький в те дни писал:

“По данным с Кавказа, Урала и из Москвы, школа осуществится легко. К осени мы будем иметь минимум 29 человек товарищей, влияние которых на местах вне спора. Эти товарищи сумеют взвесить и понять, где, на чьей стороне более правильно и стройно организован опыт, чья работа более продуктивна в деле строительства партии. И — поверьте — возвратясь на места, они сумеют оттуда — из России — оказать должное давление на гг. авантюристов, какие бы имена они ни носили. Товарищ Л<енин> уважает кулак — мы, осенью, получим возможность поднести к его носу кулачище, не виданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек, для того чтобы не понять, какая скверная роль у него впереди. Наша задача — философская и психическая реорганизация партии, мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить — к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии”.

Письмо Горького А. А. Богданову 28.03.1909.

В 1909 г. Ленин переехал из Швейцарии во Францию, жил в Париже, а в летние месяцы — в местечке Бомбон под Парижем. Судя по обильной переписке с различными корреспондентами, Ленин внимательно следил за

событиями на Капри, превратившемся в “альтернативный партийный центр”. 30 августа 1909 г. Ленин писал из Бомбона:

“Отрицать, что остров Капри получил уже известность даже в общей русской литературе как литературный центр богостроительства, значило бы издеваться над фактами. Вся русская печать давно уже указала на то, что Луначарский с острова Капри повел проповедь богостроительства”.

В ходе работы “каприйской школы” Ленин обратился к ее ученикам с прямым призывом переехать учиться в организованную им в Париже “истинно партийно-большевистскую школу”:

“Тот, кто устраивает школу в Париже, устраивает действительно партийную школу. Тот, кто устраивает школу на о. Капри, тот прячет школу от партии”.

Со своей стороны, Горький не оставлял попыток привлечь Ленина к “каприйской школе” в качестве “лектора-практика”. 19 ноября 1909 г. Горький писал Ленину с Капри:

“Владимир Ильич, дорогой мой, я Вас очень уважаю, более того — Вы органически симпатичный мне человек, но, знаете, Вы наивнейшая личность в отношениях Ваших к людям и в суждениях о них, уж извините меня. Ладно еще, коли только наивнейший, а порою мне кажется, что всякий человек для Вас — не более как флейта, на коей Вы разыгрываете ту или иную любезную Вам мелодию <парафраз из “Тамлета”. — А. К.>, и что Вы оцениваете каждую индивидуальность с точки зрения ее пригодности



сти для Вас — для осуществления Ваших целей, мнений, задач. Эта оценка, оставляя в стороне ее глубоко индивидуалистическую и барскую подкладку — эта оценка необходимо должна создавать вокруг Вас пустоту — сие не суть важно, Вы человек сильный — но, главное, эта оценка неизбежно должна приводить Вас к ошибкам... Знаете что, дорогой человек, приезжайте сюда, до поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят Вашего приезда. Отталкивать их — ошибка, более чем ошибка... Приезжайте-ка, нигилистище. Крепко жму руку...”

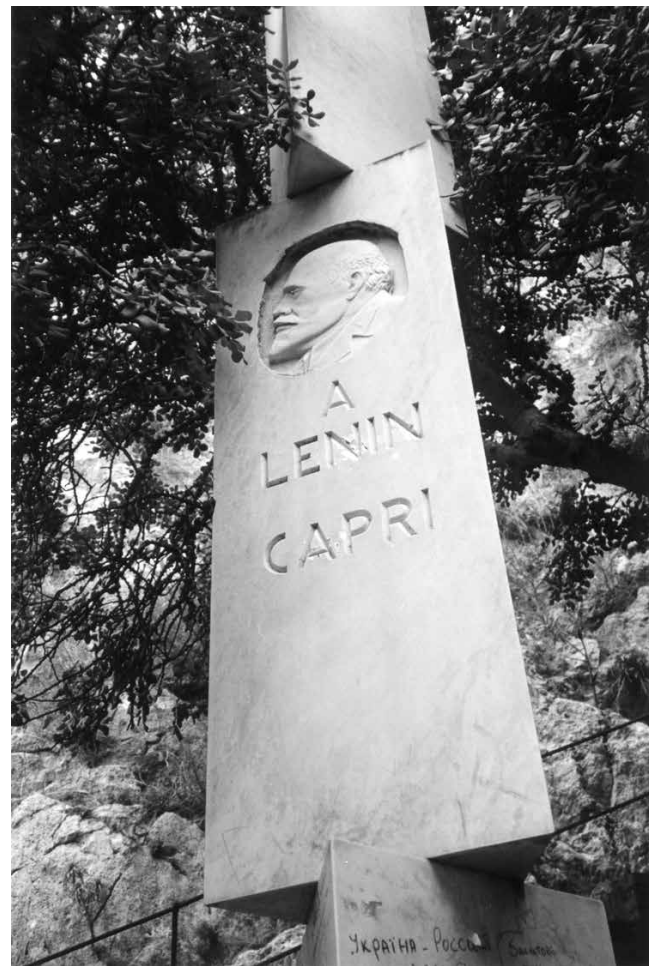
В конце концов Ленину удалось внести раскол в работу “каприйской школы”; около трети слушателей предпочли переехать учиться в “ленинскую школу” в Париж. Через некоторое время сам Горький охладел к Богданову, хотя продолжал поддерживать доверительные отношения с Луначарским.

Второй приезд Ленина на Капри относится к лету 1910 г. 28 июня Ленин выехал из Парижа поездом на Марсель; оттуда пароходом 1 июля прибыл в Неаполь. В тот же день он писал матери:

“Дорогая мамочка! Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге. Двигаюсь отсюда на Капри ненадолго”.

В тот же день, 1 июля, Ленин переправился на Капри и поселился у Горького на вилле “Спинола” (“Беринг”). В своем “Дневнике” живший тогда на Капри К. П. Пятницкий записал:

На предыдущем развороте: Остров Капри.
Пристань в Большой гавани (фото 1890-х гг.).



Памятник В. И. Ленину, установленный на Капри в Садах Августа (современное фото).

“К обеду приезжает Лен <ин>... Возвращаюсь к чаю. Разговор между Лениным и А. М. <Горьким>. М. Ф. <Андреева> старается прекратить, предлагает разойтись. Я простился и ушел. Гулял. Вернулся в 3 <часа ночи>: еще спорят”.

И на этот раз Горький с Лениным ездили в Неаполь и Помпеи, снова, как и в 1908 г., поднимались на Везувий. Известно, что в те дни Горький водил Ленина в единственный на Капри синемаграф “Edison” на Via Tibigio. Ю. Желябужский вспоминал об одном таком вечере:

“Как всегда, у входа в кинематограф писателя <Горького> окружили каприйские мальчишки, которым он раздавал сладости и покупал входные билеты. Владимир Ильич <Ленин>, поддавшись общему веселому настроению, с непосредственностью ребенка снял, ради шутки, с головы одного, особенно шустрого мальчонки шапку. И сказал ему, что шапку утащила собака. А потом, под общий хохот, вернул юному каприйцу шапку”.

14 июля 1910 г. Ленин покинул Капри и через Неаполь и Марсель вернулся в Париж.

В 1970 г., накануне 100-летнего юбилея В. И. Ленина, чье имя остается весьма популярным в левых кругах Италии, был объявлен сбор на строительство на Капри памятного знака. Было собрано более миллиона лир народных денег, и 21 апреля 1970 г. обелиск, сделанный по проекту известного скульптора Джакомо Манцу, был установлен в одном из красивейших мест острова Капри — Садах Августа.

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОПАТИН

317

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОПАТИН (25.01.1845, Нижний Новгород — 28.12.1918, Петроград) — ученый-биолог, деятель революционного движения, переводчик. Окончил с золотой медалью ставропольскую гимназию, потом естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета; в 1867 г. успешно защитил диссертацию по биологии. Участвовал в революционном движении; многократно арестовывался и бежал. В 1870 г. организовал побег П. Л. Лаврова за границу. В 1872 г. сделал попытку освобождения Н. Г. Чернышевского из Сибири (неудачно). В годы эмиграции жил в Париже, Лондоне, Женеве. Друг Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Михаила Бакунина. Первый русский переводчик “Капитала” Маркса.

В 1884 г. был в очередной раз арестован и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

Приговорен к смертной казни через повешение; три недели провел в ожидании смерти, но казнь была заменена бессрочной каторгой с отбыванием в Шлиссельбургской крепости. В общей сложности провел в одиночном заключении 21 год. Освобожден по амнистии в октябре 1905 г. без восстановления в правах состояния.

318

В конце 1908 г. Г. А. Лопатин поселился в Италии на Лигурийском побережье близ Генуи — сначала в Кави, потом в Феццано, в доме известного писателя-эмигранта А. В. Амфитеатрова. В январе 1909 г. Лопатин уже собрался было побывать в Неаполе и на Капри у Горького, однако поездка не состоялась: как безусловный авторитет в среде революционной эмиграции Лопатин был срочно вызван в Париж для участия в “третейском суде” эсеровской организации по делу о предательстве Азефа.

Во время проведения в 1909 г. на Капри “партийной школы” Горький снова — на этот раз через Амфитеатрова — зазывал Лопатина в гости:

“А Герману Александровичу <Лопатину> передайте мой горячий привет и скажите, что прошу его о дне приезда на Капри известить меня, дабы я его встретил. Верую, что он не откажется остановиться на вилле «Spinoла», где есть много комнат и мало людей. Соблазните его музыкой, если он таковую любит, музыканта покажу хорошего! <речь, по-видимому, идет о Н. Е. Буренине. — А. К.> Каторжными песнями угощу, ей-богу! Ах, хороши!”

Письмо А. В. Амфитеатрову 5.12.1909.

Лопатин приехал на Капри 9 декабря 1909 г. и пробыл там пять дней. Живший в то время на вилле у Горького К. П. Пятницкий позднее вспоминал:

“Лопатин приехал с вечерним парходом, часу в шестом. Через 20 минут он был среди нас, в столовой Горького. Вот он стоит пред одним из окон столовой, выходящих на Неаполитанский залив. Наступает закат, спокойная гладь залива походит на исполинское серебристо-розовое зеркало. На этом фоне крупная фигура Лопатина выделяется, как статуя из темной бронзы. Ему сейчас 64 года. Он пробыл в крепости 21 год. Но тюрьма и годы не сломили его. Какой это могучий, красивый старик! Высокий рост, большая голова, широкие плечи, выпуклая богатырская грудь”.

319

На следующий день, после обеда, в превращенной в аудиторию пустующей комнате на нижнем этаже горьковской виллы “Спинола” Лопатин встречался с учащимися “каприйской школы”. Будучи блестящим рассказчиком, Лопатин в течение всего вечера и половины ночи рассказывал о своих встречах с Марксом, Энгельсом, Бакуниным, о дружбе с Иваном Тургеневым, Михаилом Салтыковым-Щедриным, Глебом Успенским, о своих многочисленных побегах, о сорвавшемся плане по освобождению Чернышевского...

Из дневников Пятницкого известно, что ранним утром в субботу, 11 декабря, Лопатин вместе с приемным сыном Горького, Зиновием Пешковым (впоследствии генералом французской армии), ходили на гору



CAFFÈ

BOTTIGLIERIA

384

Тиберия, смотрели тарантеллу в одном из придорожных ресторанчиков. После завтрака, уже вместе с Горьким и М. Ф. Андреевой, ходили к Малой гавани к знакомому каприйскому рыбаку Джованни Спадаро. Вечером были в кинематографе “Эдисон”; смотрели две новые игровые ленты: “Мазаниелло” (о восстании неаполитанцев против испанского владычества в 1647 г.) и “Савойскую кавалерию”. После полуночного чая — опять разговоры на вилле “Спинола” до четырех часов ночи.

На следующий день Лопатин собирался покинуть Капри, но помешала погода. Пятницкий записал в тот день в дневнике:

“Ветер, дождь, сумрак. Парохода не будет. Лопатин рассказывает ученикам о Марксе. Вечером опять разговоры до 21/2 ночи”.

Наутро погода улучшилась, и Лопатин уплыл в Неаполь.

Пятницкий: *“13 декабря. Вернулась хорошая погода. Вернулась обычная каприйская обстановка: сияющий день, безоблачное небо, голубое море и веселые песни над островом. Лопатин уезжает. Горький обнимает его и просит приехать снова: «Всегда приму как отца...» — говорит он. Я провожаю Лопатина до парохода, который стоит в 200 метрах от берега. Всю дорогу уговариваю писать воспоминания. Лопатин не хочет. Моя лодка еще качалась на волнах, когда пароход медленно и плавно, как лебедь, двинулся по направлению к Сорренто. Лопатин, высокий, крупный, стоял на корме, махал*

шляпою, кричал какие-то прощальные слова и, как всегда, — смеялся...”

В тот же день Горький, будучи в особо приподнятом настроении от общения с Лопатиным, писал Амфитеатру:

“Милый Александр Валентинович, — поистине: праздникам праздник и торжество из торжеств для души моей — видел Г. А. Лопатина! Впечатление — чарующее, огромное, радостное, — как будто именно его-то и ждала с тоскою душа лет тридцать, и вот он пришел, чародей сказочный. Конечно, я человек преувеличенный, и притом весьма ушиблен жаждою героя — ну да, ну да! — но — знаете что? Только один Л. Толстой действовал на мое чувствилище столь грандиозно, только с ним беседуя — чувствовал я такую радость и гордость за человека, за нашу родину. Какое дивное лицо у его души, как он чувствует красоту, этот, 21 год во гробе заключенный человек, и как ясно, безумно хорошо понимать, что «его еще воскресшего много будет». Надобно, чтобы он написал «Записки» — автобиографию. Не напишет — ограбит бедную Русь, которая стонет и воет, и страдает, и не умеет радоваться”.

Лопатин и Горький встречались потом летом 1910 г., когда Горький приезжал на Генуэзское побережье (в Аляссио) повидаться с первой женой, Е. П. Пешковой, и сыном Максимом. Самому же отправиться на Капри Лопатину опять никак не удавалось, ибо он по-прежнему

На предыдущем развороте: Большая гавань Капри.

У входа на фуникулер (фото 1895 г.).



Г. А. Лопатин и А. М. Горький
на Капри (1909 г.).

крытой улицей, Везувий, аквариум <неаполитанский аквариум был открыт в 1870 г. — А. К.>, музеи и пр. Да и Лазурного грота на Капри я ведь так и не видал... А тут еще недавно приехала туда на время одна из моих многочисленных племянниц <Л. А. Лопатина> и выражает желание повидаться. Так вот я и думаю «сбежать» вскоре в Неаполь. Когда именно, еще не знаю точно. Если поеду по железной дороге, то приеду, вероятно, во вторник, 22-го, около полудня; если же на пароходе, то — «во едину

находился в частых разъездах, улаживая бесчисленные конфликты в среде русской революционной эмиграции. (Когда однажды сестра укорила его, что он «порхает по Европе», Лопатин ответил: «Порхать-то я порхаю, только не с цветка на цветок, а с одной кучи навоза или падали на другую...»)

Только к ноябрю 1912 г. у Лопатина снова появилась возможность побывать в Неаполе и на Капри. Он писал тогда Горькому из Феццано:

«Давно уже тянет меня в Неаполь — посмотреть на Помпею с ее вновь от-

от суббот» (26 октября или 2 ноября)... Но сроки пока гадательны».

Лопатин приплыл пароходом в Неаполь поздно вечером 2 ноября 1912 г. На следующий день он писал Амфиатовым:

«Подумайте: сладко ли очутиться в «незнаком» городе «на ночь глядя», да еще в таком разбойничьем вертене, как неаполитанский порт!.. Должно быть, натура давно уже просила езды и хорошей встряски. В Неаполь приехал вчера затемно и в 9 ч. вечера. Начался грабеж: перевозчики, носильщики, указчики... Наконец я рявкнул: «Зовите карабинеров или гвардию, такие-сякие! Не дам ни копейки больше. Я и так плачу вдвое против тарифов». Тогда разбойники кротко: «К чему тут полиция? Дайте, что пожалует Ваша честь». — Беру извозчика. Путем расспросов у полицейских и местных торговцев находим узкую улочку, где едва притесняется один экипаж (двум не разминуться). Вид разбойничьего вертена. Отыскиваю моих молодоженов <племянницу с мужем>. Знаете, по сообщенным мне ценам я ожидал чего-то очень жалкого. Но действительность превзошла все мои ожидания. Это — Хитров рынок, Вяземская лавра <квартал ночлежных домов в Петербурге>... Сдаются, собственно, углы, хотя уступают и по 4 угла в одни руки. За всякими «надобностями» выходят на улицу и в публичные бесплатные учреждения... Все остальное сообразно с этим. Ужас! Зато нравы просты. Мне не нашлось ни одной комнаты. Говорю: «Куда же я пойду теперь ночевать?», а

хозяйка: «А зачем идти? Вот двое козел, две доски, я сейчас огорожу вам койку в головах у молодоженов, положу тюфяк, и отлично выспитесь!» И что же? Ведь пришлось соснуть именно так!.. Сегодня же уезжаю на Капри».

3 ноября 1912 г. Лопатин приехал на Капри (Горький тогда жил уже на новой вилле — “Серафина” на Via Mulo). В тот же день в очередном письме Амфитеатровым Лопатин описал свои “новые приключения”:

“Продолжаю мою Одиссею. В воскресенье, в полдень, даю депешу <Горькому>. Приезжаю затемно. На пристани никого. Плохо. Думаю: «С легким чемоданчиком не стоит брать извозчика. Пойду по колесной дороге, которая, наверно, ведет мимо них. А провиллу спрошу у прохожих». Иду, иду, взмок как мышь, чемоданчик оттянул руку; горы, темень и никаких прохожих. Наконец какие-то два парня. «Знаете виллу Максима Горького?» — «Знаем». — «Ведите, я заплачу». Ходили, ходили по горам и долам. Пришли к какому-то неосвященному зданию, звонились, звонились, так и не дозвонились никого. «Ведите меня вниз на мариану <в бухту>, в какую-нибудь скромную гостиницу». Внизу останавливает меня некто: «Вы — Лопатин? Я вас видал в Париже». — «Да». — «Куда же вы идете? А Горькие вас ждали на фуникулере (о коем я совсем позабыл). Не дождались, подумали, что вы опоздали к пароходу и ушли домой». — «Ведите меня к ним»... Все сложилось потом по-хорошему. Жаль только, что Алексей Максимович, стоя долго вечером на ветру, в одном пиджаке, немало простудился, что мне очень досадно и неприятно”.

И на этот раз погода на Капри не позволила Лопатину побывать в Лазурном гроте. Общение с Горьким омрачилось и напряженной атмосферой на вилле “Серафина”: как раз в эти дни начала ноября 1912 г. М. Ф. Андреева собиралась окончательно покинуть Капри и собирала вещи. Лопатин хотел побыстрее уехать с острова, но из-за шторма сумел уплыть в Неаполь лишь 10 ноября. На следующий день он, уже из Неаполя, писал Амфитеатровым:

“День за днем, я задержался на Капри целую неделю и лишь вчера уехал оттуда вместе с Б<урцевым>. И давно бы пора! Ибо как раз в это время шла подспудная трагедия и готовился последний акт... С Капри нас провожало пять шпиков: три француза, два итальянца и один русский”.

Ненастная погода преследовала Лопатина и в Неаполе, где он задержался на несколько дней перед возвращением в Феццано:

“Теперь берусь снова за жалобы и доносы. Не знаю, каков Неаполь в хорошую погоду, но в дождь я не видал еще более грязной дыры. Впрочем, и в сухомень, поутру, после поливки улиц, тротуары нестерпимо скользки и грязны. А теперь то и дело идет дождь, иной раз проливной. Можете себе представить — как это удобно для всяких поисков, осмотров и т.п.!.. Во всяком случае я порешил зайти завтра в музей, послезавтра в Помпею, а в пятницу отрясти прах с моих ног на Неаполь и его окрестности...”

Письмо Амфитеатровым 12.11.1912.



Отъезд Г. А. Лопатина с Капри (13 декабря 1909 г.).

После Февральской революции Г. А. Лопатин возвратился в Россию. Большевицкий переворот застал его тяжело больным в Петропавловской больнице в Петрограде. Там он и скончался 28 декабря 1918 г. Похоронили его на Литературных мостках Волкова кладбища рядом с Г. И. Успенским и И. С. Тургеневым, с которыми он был дружен.

П. Л. Лавров (Миртов) в своих мемуарах так написал о Г. А. Лопатине:

“Он прельщал всех и каждого, был душою всякого общества, привлекал к себе и самодура генерал-губер-

натора Восточной Сибири, и ученых исследователей, и молодых девушек, и острожных каторжников, и фанатиков-революционеров... Его рассказы, полные блеска и юмора, чаровали слушателей. Поэтому материал для его биографии мог бы быть очень богат и разнообразен. Но именно разнообразие мест и личностей, среди которых имели место разные эпизоды его жизни, здесь представляет затруднение... Лишь сам Лопатин был бы способен сгруппировать и распределить все эти эпизоды в надлежащей перспективе и гармонии. Его и уговаривали не раз это сделать. Уговаривал Иван Сергеевич Тургенев, угадывавший в нем блестящий литературный талант. Уговаривали его и друзья. Ему все было некогда. Его отвлекали всегда от усидчивой литературной работы, без возможности напечатать ее немедленно, или работа для куска хлеба, переводы, сделанные по верному заказу, или хлопоты по сотне дел...”

МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН

330

Михаил Андреевич Осоргин (19.10.1878, Пермь — 27.11.1942, Шабри, Франция) — писатель, публицист. Окончил юридический факультет Московского университета. Состоял в партии социалистов-революционеров; в 1905 г. был арестован, приговорен к ссылке, но выпущен под залог. Вместе с группой друзей-революционеров тайно переправился в Финляндию, а оттуда через Данию, Германию, Швейцарию приехал в Италию, где несколько лет работал корреспондентом “Московских ведомостей” и других либеральных российских изданий. Приобрел большую популярность у читателя в России; из более четырехсот итальянских корреспонденций наиболее значительными Осоргин считал свои статьи о громких судебных процессах над неаполитанской ма-

фией (каморрой), об итало-турецкой войне, Балканской войне 1912 г., о современной итальянской литературе, искусстве, театре.

Писатель Б. К. Зайцев, который тогда часто встречался с Осоргиным в Италии, вспоминал о нем:

“Изящный, худощавый блондин. Нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо... Очень русский человек, очень интеллигент русский — в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости, позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души”.

Проживая главным образом в Риме, Осоргин много путешествовал по Италии. В своем мемуарном эссе “Времена. Автобиографическое повествование”, написанном незадолго до смерти в 1942 г., он вспоминал:

“Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую; Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, Ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска «Венчание» в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме — еще были целы

331

в домике шесть дубков, слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе <неаполитанской> каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом <Везувия> местечку Торре-дель-Греко, отличал вино Фраскати от его орвьетских и каприйских соперников...

М. Осоргин многократно бывал в Неаполе, который он считал “наиболее итальянским городом” — “шумным, драчливым, распутным и жульническим, хотя порою прекрасным”. В 1913 г. М. Осоргин издал книгу “Очерки современной Италии”, куда вошли, в частности, и эссе о Неаполе, использованные во второй части настоящего издания.

В 1916 г. Осоргин полулегально, кружным путем через Скандинавию, возвратился в Петроград. Февральская революция застала его в Москве. Твердо решив не связывать себя официальной государственной или партийной службой, он отклонил почетное предложение Временного правительства занять пост посла демократической России в Италии. После Октябрьской революции Осоргин не пошел и на активное сотрудничество с большевиками. (Известный русский писатель-эмигрант Марк Алданов сказал однажды, что “*Михаил Осоргин был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог...*”)

Неаполь. Via Roma (Toledo) (фото 1890-х гг.).



Тем не менее после революции Осоргин продолжает активно печататься в ряде пока еще свободных периодических изданий и, имея высокий авторитет в литературной среде, избирается первым председателем Всероссийского союза журналистов и товарищем (заместителем) председателя Союза писателей. Активно участвует он и в работе “Studio Italiano” — независимого италофильского кружка (вместе с П. Муратовым, Б. Зайцевым, А. Дживелеговым, Б. Грифцовым, М. Хусидом и др.). Он был и одним из организаторов писательской кооперативной книжной лавки, чтобы, по его собственным словам, *“быть около книги и, не закабалая себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода”*.

В 1922 г. постановлением коллегии ГПУ М. А. Осоргин, вместе с семьюдесятью другими известными писателями, философами, общественными деятелями, был выслан за границу. В Берлине он долго добивался визы в Италию для того, чтобы принять участие в знаменитых “русских лекциях” осенью 1923 г., организованных в Риме итальянским русистом Этторе Ло Гатто. В составе русской делегации в Италии были тогда такие корифеи русской мысли (в те годы уже эмигранты), как Николай Бердяев, Борис Вышеславцев, Павел Муратов, Семен Франк, Борис Зайцев.

В самом конце 1923 г. Осоргин, резко отрицательно воспринявший приход к власти фашистов в Италии, окончательно обосновался в Париже. В 20–40-е годы он стал одним из самых значительных писателей русского

зарубежья (например, его роман “Сивцев Вражек” был издан беспрецедентным для эмиграции тиражом в 40 тыс. экземпляров и переведен на все основные европейские языки).

Во время Второй мировой войны, после капитуляции Франции, М. А. Осоргин вместе с третьей женой Татьяной Алексеевной (урожденной Бакуниной) уехал из оккупированного немцами Парижа в местечко Шабри на юге Франции. Оттуда он, уже тяжело больной, с риском для жизни переправлял в Америку и нейтральные страны Европы статьи, разоблачающие фашистский режим. Михаил Андреевич Осоргин скончался в Шабри 27 ноября 1942 г. и был похоронен на местном кладбище.

Приложение

М. А. ОСОРГИН

Две фотографии: Рим и Неаполь

Я недавно достал себе, а теперь привез сюда и рассматриваю две старые фотографии; одна большая — Неаполь, другая поменьше — Рима. Они слегка пожелтели, с выцветшими далями и слишком ясным передним пла-

ном. Но обе прекрасны. Неаполь взят целиком, вероятно, с Позиллиппо, так что видны два фьестона залива, ясно весь пляж под Villa Nazionale и, разумеется, дымный Везувий с прибрежными городками. На римской фотографии половину ее заняла площадь Народа, прекрасная, круглая, а вдаль к Ватикану убегают огороды Prati di Castello... Горячий, полный живописной страсти, сын Вулкана — Неаполь... И гордый Рим, скромнейший из городов Вечности и Величия... Когда-то я был влюблен в Италию и, как влюбленный, слагал свои строки о ней, хотел петь ее даже в ее обыденщине и порою — знаю и горжусь — заражал других чувством, которое было искренно. Теперь уже давно миновала пора юного увлечения, и далеко отошли горячие призраки юга, растворились в серо-красных туманах России... И вот я снова стремлюсь сюда... Маленькой, едва заметной точкой я наношу и себя на матовую поверхность старой фотографии. Вот я опять там. Я иду по Chiaia, я гуляю по аллее Национальной Виллы, я поднимаюсь на Вомеро, к монастырю Сан-Мартино и отсюда смотрю на город и на туманные дали... И нигде, никто не спрашивает, кто я, по какому праву я попираю ногами благословенную землю, каковы мои политические убеждения, как отношусь я к социальным экспериментам людей, ставших мне постольку чуждыми, поскольку они самовлюбленно жестоки и лицемерно добродетельны. И мой карман, здесь полный нелепых и обидных для самолюбия “документов”, там — я набиваю дешевыми фруктами, которыми

освежаю запекшиеся от жары и солнца, но счастливые, зацелованные счастьем свободы губы... Мошка, крошечная живая мошка села на небо Неаполя. И, слившись с панорамой города, она кажется огромной птицей, кружащейся где-то под Везувием, близ Торре-дель-Греко, близ этого злосчастного местечка, которое мне довелось однажды видеть до конька крыш залитым пеплом Везувия, снесенным с гор потоками воды после трехдневной небесной бури. И мошке этой я завидую — ее умению так сблизиться и безраздельно слиться с прекрасной и сладостно-ленивой негой bella Napoli! Зависть к мошке, свободно прилепившейся к куску красивого картона, ничтожной, беспартийной, беспаспортной мошке — вот все, что осталось от лелеянной гражданственности! Зависть, но не злоба! Я счел бы себя зверем, если бы во мне на миг родилось желание попортить крылышко этого орла, свободно парящего над Torre del Greco.

М. Осоргин. *Фотографии* (1919) //

М. А. Осоргин. *Сивцев Вражек*. М., 1999, с. 366–367.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ МУРАТОВ

338

ПАВЕЛ Павлович Муратов (март 1881, Бобров Воронежской губ. — 5.02.1950, Уотерфорд, Ирландия) — писатель, искусствовед, переводчик. Будучи по образованию военным инженером и закончив до этого кадетский корпус, П. П. Муратов во время русско-японской войны писал военные репортажи. Потом много путешествовал по Европе; печатался как художественный критик в “Зорях”, “Перевале”, “Утре России”, “Русских ведомостях”, “Старых годах”, “Золотом руне”, “Аполлоне”. Писатель Борис Константинович Зайцев, знаток Италии, с которым Муратов был знаком с 1903 г. (именно Зайцеву впоследствии будут посвящены знаменитые муратовские “Образы Италии”), в своих мемуарах писал:

339

“Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» — так до старости и осталось)... — с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно... Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось. При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться — в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные... С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать”.

Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездок в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма.

Зайцев: *“Помню весну 1906 года, московский журналист-чик «Зори» — Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу — в высокой и благородной форме”.*

Во время своих последующих многочисленных путешествий по Италии П. П. Муратов неоднократно бывал в Неаполе, объездил все побережье Неаполитанского залива. Его неаполитанские очерки (их фрагменты публикуются во второй части настоящего издания) — результат глубокого знания итальянской культуры и повседневной жизни. Муратов, в частности, писал, что “для путешественника, умеющего смешиваться с народной толпой, сама жизнь в Неаполе представляет нескончаемый интерес. Можно сказать даже, что кто не был в Неаполе, тот не видел зрелища народной жизни”. С другой стороны, положение, когда итальянцы могли увидеть в нем не заинтересованного наблюдателя, а очередного праздного иностранца (“форестьера”), всегда тяготило Муратова-исследователя:

“Надо запастись большим терпением для поездок в окрестности Неаполя. Путешественник, попавший среди дня и не в самый разгар неаполитанского сезона в какой-нибудь из ближайших городков, в Поциуоли например, мгновенно становится единственной надеждой на пропитание для всех его жителей. К нему устремляются гиды, извозчики, чистильщики сапог, нищие, лодочники и продавцы всякой дряни. Сердиться на это — и бесполезно, и несправедливо. Но удовольствие от поездки все-таки пропадает, ибо как благородны ни были бы цели ее, как ни была бы рыцарственна любовь путешественника к югу Италии, он все равно окажется среди этой крикливой, притворно-услужливой и внутренне насмешливой тол-

пы в смешном и стеснительном положении «форестьера». Быть «форестьером» в самом деле немного стыдно здесь, так как именно иностранцы и повинны больше всего в порченности этого хорошего, в сущности, народа. Уже не одно столетие стекаются со всех концов Европы люди, не привозящие с собой ничего, кроме денег, желания развлекаться и воскресной любви к красотам природы. Это они создали тот уклад жизни, который отнимает много прелести даже от посещения Помпеев и отбивает всякую охоту ехать в Сорренто и на Капри”.

Неаполитанские очерки П. П. Муратова вошли во второй том его книги “Образы Италии”, вышедшей в 1911–1912 гг. По словам Б. К. Зайцева, успех “Образов” был “большой и непререкаемый”:

“В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изящности исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке» выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го”.

В Предисловии к “Образам Италии” сам Павел Муратов писал:

“Эта книга является опытом изображения Италии: ее городов и пейзажей, ее исторического и художественного гения. Удержанные здесь образы Италии можно назвать также воспоминаниями. Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний.



Дни, прожитые там, не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчетливее на фоне неумирающего и великого прошлого. Прошлое Италии представляет главную тему этой книги. В нем больше жизни, настоящей вечной жизни, чем в итальянской современности. Она не внушает вражды, мешающей верить в будущее итальянского народа, сохранившего многие прекрасные черты. Но, думается, душа этого народа полнее и вернее выражена в его старом искусстве, в судьбе его исторических героев и в его религиозной древней связи с картинами окружающей природы. Италия принадлежит к великим темам, не устающим привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нем отдельной дорогой.

Перед Первой мировой войной, в мае—июле 1914 г., Муратов снова был в Италии. С большим трудом, через Венецию, морским путем возвратился в Россию, где был сразу же призван в действующую армию. Служил офицером в гаубичной батарее на австрийском фронте; затем был переведен на Кавказ. С весны 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат.

После большевистской революции, весной 1918 г., П. П. Муратов стал одним из организаторов Института итальянской культуры — “Studio Italiano”, который просуществовал в Москве около пяти лет. Помимо самого Муратова и таких известных литераторов, как М. Осор-

гин и Б. Зайцев, в работе института участвовали молодые преподаватели университета и сотрудники Музея изобразительных искусств — А. Габричевский, Б. Виппер, Н. Романов, А. Сидоров, М. Хусид, С. Шервинский и др.

Просветительская и общественная деятельность Муратова (он был также одним из членов Комиссии помощи голодающим) привлекла внимание властей: в августе 1921 г. Муратов был арестован. Б. Зайцев вспоминал об аресте членов Помгола:

“Помню, — в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десятков кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул: «Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!» <...> Еще помню, что через несколько минут через ту же прихожую пробирался к нам несколько неуклюже и как бы конфузливо П. П. Муратов. — «Ты зачем тут? Эх-х, ты...» — Павел Павлович был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест... — «Ну и чего же ты не повернул?» — «Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать...»

Во внутренней тюрьме Лубянки (так называемой “конторе Аванесова”) Муратов оказался в одной камере с Осоргиным и Зайцевым: для развлечения заключенные читали друг другу лекции об искусстве, литературе, истории. Вскоре Муратов был выпущен.

В начале 1922 г., как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения, П. П. Муратов вместе с семьей выехал в заграничную командировку, из которой в Россию не вернулся. Жил в Германии, потом в Италии; бывал в Неаполе и Сорренто, на вилле “Сорито” у Горького.

В 1927 г. П. П. Муратов, отрицательно относившийся к муссолиниевской диктатуре, уехал из Рима в Париж. Бывал в Японии, Америке, а незадолго до Второй мировой войны перебрался в Англию. Умер П. П. Муратов в 1950 г. в имении друзей в Ирландии.

МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ ДОБУЖИНСКИЙ

347

Мстислав Валерианович Добужинский (15.08.1875, Новгород — 20.1.1957, Нью-Йорк) — живописец, график, иллюстратор, театральный художник. В 1924 г. уехал за границу. Жил в Литве, Франции, Англии, Италии и США.

В 1901 г. М. В. Добужинский впервые побывал в Италии (Венеция). А летом 1908 г., после поездки по Швейцарии, совершил первое большое путешествие по Италии: Милан, Перуджа, Падуя, Верона, Флоренция, Сиена, Пиза, Орвието, Болонья, Венеция, Ассизи, Генуя.

В Неаполе впервые побывал в 1911 г., во время нового большого европейского путешествия — на этот раз вместе с женой Елизаветой Осиповной (урожденной Волькенштейн), десятилетней дочерью Верой и двумя сыновьями — восьмилетним Ростиславом и шестилетним

Всеволодом. После поездки по Германии и Швейцарии побывали во Флоренции, Сиене, Сан-Джиминьяно, Риме, Фраскати.

В августе 1911 г. Добужинские поселились в Неаполе на Вомеро, в верхней части города — “там наверху, откуда видно все море”. Целыми днями гуляли по Неаполю — по улице Толедо, по набережным Кьяйя и Санта-Лючия. Особый интерес Добужинского вызывали, естественно, неаполитанские художники:

“Некоторые делают вид, что копируют: тычут сухой кистью по давно намазанному холсту и предлагают туристам купить этот «Ricordo di Napoli» <сувенир из Неаполя>. Но куда соблазнительнее те розовые раковины, морские звезды, кораллы, камушки и другие диковинки, которые продаются (почему-то непременно греками) на неаполитанских улицах. Трудно удержаться от искушения, чтобы на память о южном городе не закупить этих истинных художественных даров природы, и я набиваю карманы морскими коньками, ракушками и окаменелостями”.

Из Неаполя Добужинские ездили в Помпеи, а 21 августа 1911 г. были на острове Капри, где виделись с Горьким и М. Ф. Андреевой, переехавшими к тому времени на новую виллу “Серафина” (“Мальдагена”) в южной части острова.

Летом 1914 г. М. В. Добужинский снова был в Италии и заезжал в Неаполь. Начало Первой мировой войны за-

стало его во Флоренции, и, чтобы возвратиться домой, ему пришлось проделать кружной путь через Францию и Англию — путь, ставший уже довольно опасным, ибо в Северном море всю хозяйничали германские подводные лодки.

Добужинский и впоследствии неоднократно бывал в Италии — в основном на художественных выставках или работая над декорациями к спектаклям. Особенно подолгу Добужинский жил в Неаполе в 1952–1954 гг., когда занимался оформлением опер “Хованщина” М. П. Мусоргского и “Евгений Онегин” П. И. Чайковского в неаполитанском театре “Сан-Карло”. Особенно запомнилась М. В. Добужинскому работа над декорациями к “Онегину”:

“Я же не писал тоже давно по той причине, что весь с головой ушел в постановку «Евгения Онегина» для Неаполя. Там мы провели более двух недель и несколько дней как вернулись в Рим. Вы не можете себе представить, сколько было огорчений и как я был зол на небрежность во всем и на «халтуру»... И это первый после La Scala театр в Италии! <...> Надо было все исправлять уже в Неаполе, и все же многое оказалось неисправимым. Вообще, я не помню, когда я так мучился. С костюмами тоже было скверно... Под конец часто случаются чудеса, так и тут вышло, откуда-то появились замечательные вазы, из соседнего с театром San Carlo, бывшего Королевского дворца, достали чудную мебель «ампир», белую с золотом, много спасло освещение, и в конце концов было то, что



Театр San Carlo в Неаполе (фото 1880-х гг.).

называют «Успех». Мне и режиссеру Шарову пришлось выходить на вызовы публики. Вначале же работы мы с Шаровым были в настоящей панике и написали в Рим многим знакомым, чтобы не приезжали. И все-таки из Рима было человек восемь... Шаров во время репетиций роздал актерам пушкинского «Онегина» в итальянском переводе, и никто не заинтересовался! Музыка оперы, так всеми

нами любимая, — тут встретила равнодушие прессы, и дирижер, знаменитый Serafini, недостаточно почувствовал ее — словом, у Чайковского «не было успеха»...

Письмо В. И. Франсу, начало апреля 1954 г.

«Хотя декорации писались в Риме, в мастерской Parravicini, у меня под носом, но следить за работой почти не пришлось... Когда я увидел на сцене San Carlo эти декорации — я был в полном отчаянии... Всякой отсебятины при этом оказалось невероятное количество... Так, несмотря на мои мольбы, Петропавловская крепость, видимая в окно последней картины, так и осталась с двумя шпильями! Откуда появился второй — непонятно, так как я давал точнейшие рисунки деталей... Удивлялся я и безвкусице артистов. Представь — «Татьяна» (в общем милая актриса и певица) вдруг вздумала в сцене письма нацепить на себя бриллиантовые серьги — еле успел это предупредить, а она чуть не расплакалась, а нянька (тоже хорошая «Филиппевна») все упрашивала Шарова позволить ей на балу у Лариных глядеться в лорнетку по примеру некоторых гостей!! Таких «анекдотов» я еще не встречал».

Письмо А. Н. Бенуа, конец апреля 1954 г.

Использованные во второй части настоящей книги мемуары о поездке в Неаполь летом 1911 г. вошли в книгу М. В. Добужинского «Воспоминания об Италии», издан-

ную в Петрограде в издательстве “Аквилон” в 1923 г. Эти мемуары писались в начале 20-х годов в Петрограде и Холломках, в так называемой “колонии Дома искусств”, куда, по свидетельству одного из ее руководителей, К. Чуковского, “с весны съезжалось много народа; там мы все спасались от голода — в эти годы прожить в Петербурге было трудно”. М. В. Добужинский посвятил свои “Воспоминания об Италии” дочери Вере, умершей летом 1919 г. от истощения в возрасте девятнадцати лет. Во Введении к книге автор написал:

“Мои воспоминания — дорогой лишь мне одному засушенный цветок, хранимый среди страниц книги моей личной жизни... Некогда, путешествуя по Италии, я бегло записывал свои впечатления. Через несколько лет после этого в Петербурге, в страшную зиму 1919–1920 гг., я перечитал эти отрывочные заметки и снова пережил далекие воспоминания. Тогда и написаны были эти страницы...”

И В А Н А Л Е К С Е Е В И Ч Б У Н И Н

353

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (22.10.1870, Воронеж — 8.11.1953, Париж) — прозаик, поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 г.).

И. А. Бунин впервые побывал в Италии (во Флоренции и Венеции) в 1904 г. В Неаполе впервые оказался в 1909 г., во время большого путешествия со второй женой Верой Николаевной Муромцевой — выпускницей московских Высших женских курсов, племянницей председателя Первой Государственной думы С. А. Муромцева.

Весной 1909 г. Бунины выехали из Одессы, побывали в Вене и Инсбруке, а затем переправились через альпийский перевал Бреннен в Италию, посетили Верону, Венецию, Рим и Неаполь, где остановились в гостинице “Виктория” на Via Partenore. Поначалу поездка на Капри (остров, где И. А. Бунин впоследствии проведет много

плодотворных месяцев) специально не планировалась. В своих мемуарах “Беседы с памятью” (их фрагменты использованы во второй части настоящего издания) В. Н. Бунина вспоминала:

“Ян <Иван Бунин> не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит... Мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты... О Капри ничего не было сказано, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедим ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычного. Часто в жизни играет роль пустой случай... Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагая другой стол, начал называть его «принчипе» <князь>, но Ян остался неумолим”.

Утром 25 марта 1909 г. Бунины покинули отель “Виктория” и сели на парходик, следующий на остров Капри.

В. Н. Бунина: *“Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы, и, отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город...”*

Случайно встретив по дороге падчерицу Горького, Катю Желябужскую (дочь М. Ф. Андреевой от первого брака), они узнали, что Горький и Андреева именно в этот день уезжают на некоторое время в Неаполь, и решили их навестить. Горький в то время жил уже на второй своей каприйской вилле — “Villa Spinola”, расположенной в конце Via Sopramonte на крутом склоне над Большой бухтой. Обрадовавшись Буниным, Горький посоветовал им до его возвращения поселиться в отеле “Pagano” на Via Vittorio Emanuele. Сам Горький написал о встрече с Буниными своей первой жене Е. П. Пешковой:

“Приехал Бунин с молодой своей женой — женился он на племяннице Муромцева. Ничего, славная и простая. И он такой же, как был, — хороший человек. Несколько постарел — кокетничает этим, но — жив душой и очень радуется меня серьезным своим отношением к литературе и слову”.

Через несколько дней Горький и Андреева вернулись из Неаполя вместе с А. В. Луначарским — все они тогда были увлечены организацией на Капри “школы” для передовых рабочих-большевиков. В те дни Бунины почти ежедневно бывали у Горького.

В. Н. Бунина: *“Все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпуска-*



Отель "Pagano" на Капри, где Бунины жили весной 1909 г. (фото начала XX в.).

ли, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос»... На вилле Спинола в ту весну царил на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было... На обратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький

кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затеваемой школе: «пустая затея!»

357

1 апреля 1909 г. Бунины уехали с Капри в Неаполь, а потом на Сицилию, где посетили Палермо, Сиракузы, Мессину и видели страшные последствия недавнего землетрясения. 10 апреля они вернулись на Капри, откуда потом совершили еще поездки в Неаполь и Помпеи.

В. Н. Бунина: *“Горький делал все, чтобы удержать нас на Капри. Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному острову куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь все выше и выше, выходя из темноты в лунное сияние... Страстную мы провели на Капри и вместе с Горьким видели процессии с фигурами Христа, Марии-девы, слушали пасхальную мессу. На второй день святой мы отправились в Рим, оставив опять чемоданы у Горьких”.*

22 апреля 1909 г. Бунины вернулись из Рима на Капри, а на следующий день уехали в Неаполь и оттуда — на итальянском пароходе — в Одессу.

В. Н. Бунина: *“На стоянках, после обеда, моряки приносили свои мандолины, гитару и вполголоса пели неаполитанские песни, а Ян имитировал тарантеллу и так удачно, что приводил всех в восторг”.*

Вспоминая свой первый приезд на Капри, Бунин в августе 1909 г. писал Горькому:

358

“С великой нежностью и горечью вспомнил Италию — с нежностью потому, что только теперь понял, как она вошла мне в сердце, а с горечью по той простой причине, что когда-то теперь еще раз доберешься до Вас, до казы <виллы> Вашей и до вина Вашего...”

Во второй половине марта 1910 г. Бунины снова отправились за границу. Проехали Вену, Милан, Геную, Ниццу; оттуда пароходом в Марсель и далее в Северную Африку — Оран и Бискру. Из Туниса переправились на Сицилию, потом в Неаполь, а оттуда — снова на Капри, где на этот раз пробыли две недели — с 5 по 21 мая 1910 г. Потом, после нескольких дней, проведенных вместе с Горьким в Неаполе, Бунины отправились в Афины, Смирну, Константинополь и далее через Одессу вернулись в Москву.

Следующий раз Бунины оказались в Италии в конце 1911 г. Вместе с племянником Н. А. Пушечниковым (переводчиком Джека Лондона, Голсуорси, Тагора) они через Берлин, Люцерн, Геную и Флоренцию приехали в Неаполь, а оттуда 1 ноября 1911 г. отправились на Капри, где на всю зиму поселились в лучшем на острове отеле



Отель “Quisisana”. Здесь Бунины жили трижды: с ноября 1911 по март 1912 г., с ноября 1912 по февраль 1913 г. и с декабря 1913 по март 1914 г. (фото начала XX в.).

“Quisisana” на верхнем этаже с видом на огромный сад и море. И. А. Бунин сообщал в одном из писем друзьям: *“Живем мы отлично, отель в очень уютном теплом месте, комфорт хоть бы и не Италии впору. У нас подряд три комнаты, все сообщаются — целая квартира, и все окна на юг, и чуть ли не весь день двери на балконы откры-*

ты, слепит солнце, пахнет из сада цветами, гигантским треугольником синеет море...”.

В этот раз отношения с Горьким были не столь теплыми и доверительными; сам Бунин определил их как “холодно-любезные и тяжело-дружеские”. Тогда он писал с Капри брату Ю. А. Бунину:

360

“Что до Красноперого <прозвище Горького>, то необходимость ходить к нему выбивает из интимной, тихой жизни, при которой я только и могу работать; мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету, — все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой «дружбы» приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь”.

В ноябре-декабре 1911 г. Бунин закончил на Капри повесть “Суходол”, написал рассказы “Хорошая жизнь”, “Сверчок” и “Ночной разговор”. Писал Бунин очень быстро и тут же отправлял готовые тексты в петербургские журналы. Публикация бунинских рассказов вызвала в России неоднозначную реакцию: черносотенная критика писала, например, что изображение Буниным русской деревни — это “опачкивание народа, поэзия дурных запахов, миллионы блох и вшей, портянки и портянки...”.

Под Новый, 1912 год Бунин прочел на новой горьковской вилле “Серафина” только что законченный рассказ

“Веселый двор”. Горький так описал этот вечер в письме Е. П. Пешковой:

“С восьми часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать умирает с голода, а сын ее, лентяй и бездельник, пьет, пьяный пляшет на ее могиле, а потом ложится под поезд, и ему отрезает ноги. Все это в высшей степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление... Потом долго спорили о русском народе и судьбах его”.

361

Сохранились воспоминания об этом вечере и жившей тогда на Капри Е. Викторовой:

“Пасмурный зимний день. Дует сырой, липкий <ветер> сирокко. Свирепо хлещет в окна дождь. В огромном кабинете А. М. <Горького> мрачно, на всем лежит серый отсвет. Кажется холодно, хотя большой камин пылает жарким багровым пламенем. Окна затянуло паром от поданного в кабинет самовара. Повар Кательдо в белом фартуке бесшумно устраивает раскинутый у камина чайный стол. Публики набралось много... Все расположились чинно на диванах и стульях. А. М. сел у камина в свое любимое деревянное кресло, а его место возле стола занял маленький, зеленовато-желтый, похожий на мумию И. А. Бунин... Бунин откашлялся и начал читать... И вот мы все перенеслись из дождливого дня на острове Капри в глухую русскую деревню, утопающую в знойных лучах июльского солнца... Когда Бунин прочел, как распорол бык живот старухе, у А. М. незаметно потекли слезы. Рассказ окончен. Мы все сидели подавленные. А. М.

встал, подошел к маленькому Бунину и будто окутал его своей широкоплечей фигурой: «Иван Алексеевич! Ну и хорошо же!.. — восторженно проговорил Горький, обнимая Бунину. — Вот как нужно писать! — обратился он к нам. — Учитесь! Дайте прочту!» Он еще раз перечитал яркие места».

362

Сам И. А. Бунин существенно иначе описал этот новогодний вечер на вилле «Серафима» в письме брату:

“Под Новый год читал у Горького. Все очень хвалили, сам Горький — сдержанно, намекнул, что России я не знаю, ибо наши места — не типичны, «гиблые места»... Думаю, что Горький полагает, что касаться матерей, души русского народа — это его специальность, он даже Гоголя постоянно толчет с дерьмом за «Мертвые души» — писал Гоголь Ноздревых да Собакевичей, а Киреевского, Хомякова, Бакунина — проглядел”.

В истории русской литературы так и осталось загадкой, как умел Бунин, живя на Капри, в дорогом отеле с видом на море, писать и писать столь “тяжелые рассказы” из русской жизни. В 1947 г. известный русский писатель-эмигрант М. А. Алданов, пытаясь проникнуть в тайну этого парадокса, прямо спрашивал об этом в письме к Бунину:

“Но какой Вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой «Хорошей жизни» не помню в русской литературе... Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных Вам по силе. А по знанию того, о чем Вы пишете, и во-

обще нет равных; конечно, язык «Записок охотника» или чеховских «Мужиков» не так хорош, как Ваш народный язык... Нет ничего правдивее того, что Вами описано. Как Вы все это писали по памяти иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в «Древнем человеке» можно было написать только на месте. Были ли у Вас записные книжки? Записывали ли Вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова)...”.

363

Бунин ответил Алданову:

“Что иногда, да даже и частенько, я «мрачен», это правда, но ведь не всегда, не всегда... Насчет народного языка: хоть Вы и жили только в вольинской деревне, — и как жили, Бог мой! — такой писатель, как Вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад Вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему Вы удивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у Вас, когда Вам приходится говорить, например, по-французски? Это в Вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее... И клянусь Вам — никогда я ничего не записывал... Клянусь, что девять десятых этого не с природы, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще, со всем, что кругом”.

В январе 1912 г. Бунины отъезжали с острова на несколько дней в Неаполь, посетили Поццуоли, Помпеи и вернулись на Капри через Сорренто. В феврале Бунин закончил на Капри рассказы “Захар Воробьев” (в котором некоторые критики увидели “новый пасквиль на Россию”) и “Игнат” (который вышел с задержкой и купюрами по причине того, что издатель нашел в тексте “некоторую рискованность положений и описаний”).

1 марта 1912 г. Бунины уехали с Капри. Несколько дней они провели в Неаполе, а потом отплыли на корабле через Бриндизи и остров Корфу в Патрас. Осмотрев Афины и еще несколько греческих городов, они вернулись в Россию.

В конце 1912 г. Бунины снова отправились в Италию. Побывали в Венеции и Риме, а 29 ноября приехали на Капри, чтобы провести там еще одну зиму. С дороги, в предвкушении новой встречи с островом, где ему так хорошо работалось, Бунин писал: *“Домой, домой, в Вязьму, в Вязьму!”* А Вера Николаевна, в свою очередь, отметила в одном из писем: *“Приехав сюда, почувствовали мы великое успокоение; совсем как дома...”*.

И снова Бунины (опять вместе с Н. А. Пушечниковым) поселились в отеле “Квисисана”, заняв на этот раз четыре комнаты. Уже к концу года Бунин закончил на Капри несколько новых рассказов — “Князь во князьях” (в черновом автографе — “Лукьян Степанов”), “Преступление” (“Ермил”), “Вера” (“Последнее свидание”).



Отель “Caesar Augustus” в Анакапри, где Бунины жили в марте-апреле 1913 г. (фото начала XX в.).

В феврале 1913 г. на Капри приезжал старый друг Бунина — Ф. И. Шаляпин. Друзья обменялись торжественными обедами, ставшими событиями для “русской колонии” на Капри: сначала у Шаляпина в отеле “Splendid”, через несколько дней — у Бунина в “Quisisana”.

В январе-феврале 1913 г. Бунин написал на Капри еще несколько рассказов: “Жертва” (в первоначальной редакции — “Илья Пророк”), “Будни” (“На погосте”), “Всходы новые” (“Весна”) и “Последний день”.

1 марта 1913 г. Бунины переехали из “Квисисаны” в другой отель — “Caesar Augustus” в горном городке Анакапри.

В. Н. Бунина: *“В Анакапри устроились прекрасно, у нас с Яном две хорошие комнаты с прекрасными видами.*

Из одних окон видна гора Монте-Соларо с замком Барбаросса; из другого — вид на залив, Везувий, гору Тиберия и т. д. Отель очень старинный, комфортабельный, хозяин его — сын адъютанта Гарибальди. Кухня лучше Quisisan'ской. Комната Николая Алексеевича <Пушечникова> этажом выше, тоже большая, смотрит на горы и замок”

Письмо Ю. А. Бунину 13.03.1913.

Месяц, проведенный в Анакапри, также оказался плодотворным — Бунин написал там рассказы “Иоанн Рыдалец”, “Худая трава”, “Лирник Родион”, “Сказка”.

6 апреля 1913 г. Бунины уехали с острова. В интервью одной из московских газет Бунин рассказал о своей второй каприйской зиме:

“Я очень однообразно провел зиму, прожив всю сплошь на острове Капри. Пришлось очень много работать: к этому там располагает тамошняя жизнь. На этой скале, торчащей среди синего моря и голубого прозрачного неба, много уюта, простоты, нет сутолоки, шума, а я все это очень ценю. На Капри мало живет народа. Единственный человек, с кем встречался постоянно, — это Алексей Максимович Горький. Вот уже вторую зиму я провожу с ним вместе”.

В конце декабря 1913 г. Бунины и Пушечников опять приехали на Капри, предпочтя на этот раз хорошо знакомый отель “Квисисана”. В эту, третью по счету, ка-

прийскую зиму Буниным были написаны рассказы “Святые”, “Весенний вечер”, “Братья”. В конце марта 1914 г. Бунины покинули Капри и уехали в Россию через Рим и Зальцбург.

С тех пор И. А. Бунин более не бывал в Италии. Однако к периоду 1914–1916 гг. относятся несколько его известных стихотворений, наброски к которым, судя по всему, были сделаны еще во время путешествий по окрестностям Неаполя и на острове Капри.

У ГРОБНИЦЫ ВЕРГИЛИЯ

*Дикий лавр, и плющ, и розы,
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,*

*Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.*

*Знал поэт: опять весной
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!*

*Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Вергилий,
Не моя и не твоя.*

368

П О М П Е Я

*Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.*

*Я ль виноват, что все позабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!*

*Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.*

*Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.*

К А П Р И

*Проносились над островом зимние шквалы и бури
То во мгле и дожде, то в сиянии яркой лазури,
И качались, качались цветы за стеклом,
За окном мастерской, в красных глиняных вазах, —
От дождя на стекле загорались рубины в алмазах
И свежее цветы расцветали на лоне морском.
Ветер в раме свистал, раздувал серый пепел в камине,
Градом сек по стеклу — и опять были ярки и сини
Средиземные зыби, глядевшие в дом,
А за тонким блестящим стеклом,
То на мгле дождевой, то на водной синевшей пустыне,
В золотой пустоте голубой высоты,
Всё качались, качались дышавшие морем цветы.
Проносились февральские шквалы. Светлее и жарче сияли
Африканские дали,
И утихли ветры, зацвели
В каменистых садах миндаля,
Появились туристы в панاماх и белых ботинках
На обрывах, на козьих тропинках —
И к Сицилии, к Греции, к лилиям Божьей земли,
К Палестине
Потянуло меня... И остался лишь пепел в камине
В опустевшей моей мастерской,
Где всю зиму качались цветы на синевшей пустыне морской.*

369



КАПРИЙСКИЙ ГРОТ

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала
 Подножие скалы — качался водный сплав,
Горбами шел к скале, — волна росла, сосала
Ее кровавый мох, медлительно вползала
В отверстие грота, как удав, —
И вдруг темнел, переполнялся бурным,
Гремящим шумом звучный грот,
И вспыхивал таким лазурным
Огнем его скалистый свод,
Что с криком ужаса и смехом
Кидался в сумрак дальних вод,
Будя орган пещер тысячекратным эхом,
Наяд пугливый хоровод.

372

Большевицкую революцию 1917 г. И. А. Бунин встретил крайне враждебно. В начале 1920 г. он эмигрировал из России и вторую половину жизни прожил во Франции. В 1933 г. Ивану Алексеевичу Бунину была присуждена Нобелевская премия по литературе — «за строгий художественный талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».

К неаполитано-каприйскому периоду творчества И. А. Бунина с полным правом можно отнести и один из его безусловно лучших рассказов — «Господин из Сан-Франциско» (в первой редакции «Смерть на Капри» — по прямой

На предыдущем развороте: Остров Капри.
 Путешественники на пути к дворцу Тиберия (фото 1910 г.).

аналогии со знаменитой венецианской новеллой Томаса Манна). Основное действие рассказа, написанного Буниным вскоре после отъезда из Италии, разворачивается в Неаполе и в том самом каприйском отеле «Квисисана», где в 1910-х годах подолгу жили сами Бунины.

373

Приложение

И. А. БУНИН

Господин из Сан-Франциско

(фрагменты)

В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь. <...> Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими

звуками марша, гигант командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помахал рукой пассажирам... А когда “Атлантида” вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяческих комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски: “Go away! Via!..” Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой... облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скудно, точно снегом, освещенных музеев или холодных,

пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь “Снятие с креста”, непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжаются к полудню немало людей самого первого сорта; <...> в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающих по тарелкам густой, розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков... Однако декабрь “выдался” не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее,

и вино натуральной. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруццких вольтинщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Сорренто... В день отъезда — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький парходик, направившийся к нему, так валяло из стороны в сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого парходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза... На остановках, в Каstellамаре и Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись

отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла на большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевиной листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова! Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минутку ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его

снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки поряточных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом острове в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

И. А. Бунин. Собрание сочинений в 6 тт. М., 1988, т. 4, с. 56–61.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ШАЛЯПИН

379

ФЕДОР Иванович Шаляпин (1873, Вятская губ. — 12.04.1938, Париж) — оперный певец-бас. Начиная карьеру в оперных труппах Уфы и Тифлиса. В 1893 г. переехал в Москву, а в 1894 г. — в Петербург, где пел в Аркадии, Панаевском театре, в труппе И. П. Зазулина. В 1895 г. выступал на сцене Мариинского театра, а с 1896 г. — в частной опере С. И. Мамонтова. С этого времени началась блестящая деятельность Шаляпина в “Князе Игоре” А. П. Бородина, “Псковитянке” Н. А. Римского-Корсакова, “Русалке” А. С. Даргомыжского, “Жизни за царя” М. И. Глинки и многих других операх.

16 марта 1901 г. состоялся первый триумф молодого Шаляпина в Италии — в миланском театре “Ла Скала” он выступил в роли Мефистофеля в одноименной опере

Арриго Бойто (в роли Фауста тогда дебютировал молодой Энрико Карузо; дирижировал Артуро Тосканини). Успех в Милане открыл для Шаляпина лучшие оперные сцены мира.

Италия заняла большое место в жизни Шаляпина. Первым браком (1898 г.) он был женат на итальянке — балерине Иоле Игнатъевне Торнаги, с которой познакомился во время совместной работы в частных труппах Мамонтова. Впоследствии Шаляпин неоднократно отдыхал с семьей в Аляссио на Итальянской Ривьере, отдыхал и лечился в Сальсомаджоре, жил в Монца, где находилось поместье родителей жены.

3 августа 1907 г. Шаляпин, через Неаполь, впервые приехал на Капри и остановился у своего старинного друга — Максима Горького на вилле “Блезус” (“Сеттани”). 13 августа они вместе с Горьким уехали с Капри в Аляссио, где отдыхали жена и дети Шаляпина, а также первая жена Горького — Е. П. Пешкова и его сын Максим.

В марте-апреле 1908 г. Шаляпин снова гастролировал в “Ла Скала” в Милане. Русские зрители вспоминали о его триумфе 11 апреля в роли Мефистофеля в опере “Фауст” Шарля Гуно:

“Для нас это был подлинный праздник. Каждая фраза, пропетая Шаляпиным, каждый его жест принимался как откровение. А когда Шаляпин исполнил арию со свистом, энтузиазм публики — очень темпераментной итальянской публики — перешел всякие границы. Люди вскакива-



Ф. И. Шаляпин и А. М. Горький на террасе виллы “Settani” (1908 г.).

ли с мест, обнимались с совершенно незнакомыми. Успех, выпавший на долю Шаляпина, был невероятен. Много дней весь Милан говорил только об этом спектакле”.

А в конце апреля 1908 г. Шаляпин с женой снова приехал к Горькому на Капри, где, как и в прошлый раз, остановился на вилле “Блезус”. Очевидцы вспоминали, что Шаляпин и Горький и на этот раз целые сутки проводили с рыбаками в море, с раннего утра отправляясь на нескольких больших лодках из Марина Пиккола влево — за скалы Фаральони; много гуляли по острову:

“Ходил тогда Шаляпин в римской тоге и сандалиях. Высокий, величественный, с гордо поднятой головой на мощной шее, властный, красивый, он производил огромное впечатление на окружающих уже одной внешностью своей”.

8 мая 1908 г. Шаляпин уехал с Капри в Париж, где вскоре за триумф в “Гранд-Опера” удостоился звания кавалера ордена Почетного легиона.

В конце декабря 1908 г. Шаляпин в очередной раз приезжает в Милан — на этот раз для репетиций “Бориса Годунова” Мусоргского. Русский писатель-эмигрант А. В. Амфитеатров, бывший свидетелем этих репетиций, писал Горькому:

“Работает Федор великолепно и строго. Школит итальянцев. Надо им отдать справедливость, что слушаются и стараются...”

14 января 1909 г. состоялась триумфальная премьера “Бориса Годунова” в “Ла Скала”.

Амфитеатров: *“Успех был огромный, неслыханный в чинной и сдержанной Scala. Итальянцы ходили в антракте восторженные и ошалелые... Федор был превосходен. Итальянцы очарованно говорили, что на оперной сцене подобного исполнения никогда не было, а в драме, кроме Сальвини и покойника Росси, соперников у Федора нет”.*

Сам Шаляпин скромнее оценивал свой успех, больше иронизируя над итальянской постановкой. Он писал в те дни М. Ф. Волькенштейну, что опера была представлена “несколько фантастически”: *“бояре выглядят одетыми так скверно и неверно, что больше похожи на хулиганов с Сенной, чем на бояр”.* Сцену же в корчме, по словам Шаляпина, вообще пришлось снять, так как *“корчму сделали в виде павильона, скорее походившего на машинное здание или барак...”*.

Друзья Шаляпина на Капри внимательно следили за его успехами в России и Европе — очевидцы свидетельствуют, что творчество великого русского баса было одним из главных предметов обсуждения на каприйских виллах Горького. Один из участников “каприйской школы”, Н. Е. Вилонов, писал в Россию в конце января 1909 г.:

“Сегодня Шаляпин прислал сюда <на Капри> свой голос в пластинках граммофона. После обеда пустили граммофон, и он запел. Ну, это было что-то необыкновенное. Все недостатки граммофона с его шорохами и шумом куда-то скрылись, а комната исполнилась мощным, бархатным звуком”.

В 1911 г. большой резонанс на Капри (как, впрочем, и в России, и в Европе) вызвала история, случившаяся во время одного из представлений “Бориса Годунова” в Мариинском театре, когда хор театра, встав на колени, обратился со сцены к присутствовавшему императору Николаю II с петицией об улучшении материального положения и против притеснений дирекции. Шаляпин в костюме царя Бориса, в тот момент вышедший “на бис”, поневоле стал участником этого действия и уже на следующий день был обвинен некоторыми либеральными газетами в “низкопоклонстве перед царем-убийцей”. В своих мемуарах “Маска и душа” Шаляпин так впоследствии описал этот случай:

“Я ясно почувствовал, что с моей высокой фигурой торчать так нелепо, как чучело, впереди хора, стоящего на коленях, я ни секунды больше не могу. А тут как раз стояло кресло Бориса; я быстро присел к ручке кресла на одно колено... В самых глубоких клеточках мозга не шевелилась у меня мысль, что я что-то такое сделал неблагоприятное, предал что-то, как-нибудь изменил моему достоинству и моему инстинкту свободы. Должен прямо сказать, что при всех моих недостатках рабом или холопом я никогда не был и неспособен им быть. Я понимаю, конечно, что нет никакого унижения в коленопреклоненном исполнении какого-нибудь ритуала, освященного национальной или религиозной традицией. Поцеловать туфлю наместнику Петра в Риме можно, сохраняя полное свое достоинство. Я самым спокойнейшим образом

стал бы на колени перед царем или перед патриархом, если бы такое движение входило в мизансцену какого-нибудь ритуала или обряда. Но так вот, здорово живешь, броситься на все четыре копыта перед человеком, будь он трижды царь, — на такое низкопоклонство я никогда не был способен. Это не в моей натуре, которая гораздо более склонна к оказательствам «дерзости», чем угодничества”.

Тем не менее тогда, летом-осенью 1911 г., Шаляпин оказался в очень трудном положении: его откровенно травил либеральный лагерь, а монархическая и черносотенная пресса, наоборот, всячески воспевала “верноподданнические чувства” Шаляпина. Горький был тогда одним из немногих, кто открыто встал на защиту друга, заявляя, что “Шаляпин похож на льва, связанного и отданного на растерзание свиньям”.

10 сентября 1911 г. Шаляпин приехал на Капри. Сам он позднее так описывал встречу с Горьким:

“Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани, Горький на этот раз выехал в лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим благородным его жестом, что от радостного волнения заплакал. А. М. меня успокоил, лишний раз давая мне понять, что он знает цену мелкой пакости людской”.

Горький, в свою очередь, писал 12 сентября в Париж Е. П. Пешковой:

“Приехал третьего дня Федор и — заревел, увидев меня, прослезился — конечно — и я... Да, приехал он и — такова сила его таланта, обаяния его здоровой и красивой, в корне, души — что вся эта история, весь шум — кажется теперь такой глупостью, пошлостью, мелочью в сравнении с ним. Ни он, ни я — не скрываем, конечно, что за пошлости эти ему придется платить комом нервов — драгоценная плата, усугубляющая нелепость положения до ужаса... Дорого стоило Федору все это, и еще не все, не вполне оплачено им — и жутко за него. Быть большим человеком в России — мрачная и мучительная позиция, дорогой ты мой друг, и — как поглядишь на всех более или менее крупных ребят, на все, что их окружает, — Господи помилуй! Страшно за них, и готов все им простить”.

В этот раз Шаляпин прожил на новой горьковской вилле “Серафина” на Via Mulo две недели и 24 сентября уехал с Капри. На прощание он устроил концерт, где исполнил весь свой коронный репертуар: “Двух гренадеров”, “Ноченьку”, “Сомнение” Глинки, “Блоху”, “Молодешеньку”, “Вдоль по Питерской”, “Есть на Волге утес”, “Дубинушку”, “Вниз по матушке по Волге”, многие оперные арии... А. Н. Миславская-Колпинская вспоминала позднее этот вечер:

“... Стоит Ф. И. <Шаляпин> у колонны террасы, а А. М. <Горький> ходит взад и вперед по террасе, останавливается время от времени и «дает заказ»: — Теперь «Блоху», «Дубинушку!» А ну — нашу волжскую!.. Шаляпин поет... Мы слушаем, затаив дыхание. Кажется, и море, притих-

нув, слушает, и темные горы, и весь остров. Кончил петь Шаляпин, и вдруг на дороге, на тропках, окружавших виллу, раздался взрыв аплодисментов и крики: «Viva Gorki!», «Viva Scialapin!», «Viva la musica russa!» И тут же ставшее обычным выражение симпатии к русскому изгнаннику: «Abbasso lo czar!» <Долой царя!> Словом, целая демонстрация благородных каприйцев, собравшихся у виллы при первых же звуках могучего голоса русского певца...”

После отъезда Шаляпина с Капри Горький написал А. Н. Тихонову:

“Действительно, пел Федор сверхъестественно, страшно: особенно Шуберта “Двойник” и “Ненастный день” Корсакова. Репертуарище у него расширен очень сильно. Изумительно поет Грига и вообще северных. И — Филиппа II. Да вообще — что же говорить — маг”.

В январе-феврале 1912 г. Шаляпин гастролирует в Монте-Карло и неожиданно решает снова ехать на Капри. 13 февраля 1912 г., на личной яхте известного промышленника и политика М. И. Терещенко (будущего министра Временного правительства), он отплывает из Канн и на следующий день прибывает на Капри. И на этот раз он проводит много времени у Горького. Посещает и отель “Квисисана”, где жили Иван и Вера Бунины. В один из последних вечеров на вилле Горького “Серафина” Шаляпин познакомил слушателей с оперой Мусоргского “Хованщина”, виртуозно исполнив не только свою партию — Досифея, но и все остальные, включая женские.

11 апреля 1912 г. Шаляпин вновь триумфально выступил на сцене “Ла Скала” — в роли Ивана Грозного в опере “Псковитянка” Римского-Корсакова. На следующий день он писал Горькому на Капри:

“Какое счастье ходило вчера в сердце моем! Подумай: пятнадцать лет тому назад кто бы мог предполагать, что это поистине прекрасное произведение, но трудное для удобопонимания даже для уха русской публики, — будет поставлено у Итальянцев и так им понравится?! Сладкое и славное чудо!”

Весну 1912 г. Шаляпин почти всю провел в Италии: пел “Псковитянку” в Милане, отдыхал с детьми — Борисом, Федором и Татьяной — в Монца, потом в Рапалло. А 21 февраля 1913 г., после очередных гастролей в Монте-Карло, Шаляпин снова приехал на Капри — на этот раз с новой женой, Марией Валентиновной Петцольд (официально развод с И. И. Торнаги был оформлен в 1927 г.).

Тогда на Капри проводили очередную зиму Бунины. 23 февраля остановившийся на этот раз в каприйской гостинице “Splendid” Шаляпин дал в ресторане отеля обед в честь И. А. Бунина; после обеда Шаляпин читал пушкинского “Каменного гостя”, отрывки из “Моцарта и Сальери”... Через два дня Бунин устроил ответный обед в ресторане отеля “Quisisana”. Бунин вспоминал позднее:

“Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно уди-



Капри. Справа — отель “Splendid”, где Ф. И. Шаляпин и М. В. Петцольд жили в феврале 1913 г. (фото начала XX в.).

вительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер: «Помнишь, как я пел у тебя на Капри?» Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча: «Неплохо пел! Дай Бог так-то всякому!»

28 февраля 1913 г. Шаляпин уехал с Капри в Россию. По дороге он писал Горькому:

“Очень жалко мне, что на Капри пришлось побыть мало. Так хорошо я себя всегда чувствую, побыв с тобой, как будто выпил живой воды. Эх ты, мой милый Алексей, люблю я тебя крепко; ты как огромный костер — и светишь ярко, и греешь тепло”.

Известно, что после большевистской революции именно Горький, сам пошедший на сотрудничество с новой властью, искренне советовал Шаляпину уехать из России. Он говорил тогда его жене — М. В. Петцольд:

“Вам тут не место, особенно Федору. Он артист, а не политикан. Вы должны уехать за границу”.

Младшая дочь Шаляпина — Дася (Дассия) Шаляпина-Шувалова позднее вспоминала:

“Мать поняла — Горький был прав, — надо уезжать. Мать уже несколько месяцев работала настоящим бурлаком: с веревкой и крючком в руках вылавливала в Неве бревна для какого-то государственного учреждения.

Приходила домой усталая, с отмороженными руками. Отцу за выступления платили мукой и картошкой. Мука была затхлой, а картошка мерзлой”.

Уехав из России, Шаляпин в 20-е годы много гастролировал, главным образом в Америке. После того как Горький снова уехал в Италию и поселился на вилле “Соррито” в Сорренто, Шаляпин не раз собирался навестить его. 16 сентября 1925 г. он, например, писал из Парижа: *“...Все время собирался ехать в Италию и в Сорренто — выправил визы и даже укладывал несколько раз чемоданы, но «Бог судил иное» — разные семейные и прозаические устройства жизни помешали приятному путешествию и в Италию, и, в особенности, к тебе...”.*

Наконец, 6 июня 1926 г. им удалось встретиться: Шаляпин, направляясь на гастроли в Австралию, увиделся с Горьким во время стоянки парохода в Неаполе. Через несколько дней Горький писал Е. П. Пешковой:

“Третьего дня, проездом в Австралию, был здесь Федор с Марией Валентиновной и четырьмя дочерьми. Мы с Максом ездили к нему на пароход, провели с ним часов пять. Постарел Федор. Очень. И — не столько телесно, сколько — душевно. Устал человек. Ему бы следовало отдохнуть год. Два...”.

В середине апреля 1929 г. Шаляпин приехал в Рим для участия в спектаклях Королевской оперы. 18 апреля состоялось представление “Бориса Годунова”, и Горький специально приезжал в Рим из Сорренто. Они встретились после спектакля в таверне “Библиотека” — в более

поздних мемуарах оба подтверждают, что Горький тогда настойчиво убеждал Шаляпина вернуться в Советскую Россию. Шаляпин писал в “Маске и душе”:

“Я снова и более решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь «аппарата»... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят и никиши — никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит, другой скажет: «Вышел новый декрет», а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет: «Батюшка, это же революция, пожар! Как вы можете претендовать на меня?» <...> А по разбойному характеру моему, я очень люблю быть свободным и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переносу”.

А в конце жизни, уже после смерти Горького, Шаляпин еще раз вспомнил о том, римском, “разговоре о возвращении”:

“Честно скажу, что до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я знаю твердо, что это был голос любви ко мне и к России”.

392

В 20-30-е годы Шаляпин неоднократно бывал в Италии — в Милане, Риме, Венеции, Генуе. В конце декабря 1934 г. он приехал в Неаполь, где приступил к репетициям оперы Бородина “Князь Игорь” в театре “Сан-Карло”. В те дни он писал дочери Ирине:

“Я сейчас в Неаполе. Здесь в первый (увы!) раз ставят «Князя Игоря» достаточно грандиозно (театр S. Carlo), но, конечно, как везде в Италии, халтурно — я, как мог, в короткий срок научил всех действовать (актеры так себе). Итальянское «бельканто» мешает им быть хотя бы даже посредственными актерами, все горланят «в маску» и поют, конечно, одинаковым голосом — ненавижу и люблю, — работают, откинув ногу назад и разводя по очереди то одной, то другой рукой в воздухе. Отвратительно. Устал я от этого глубокого идиотизма. Единственное утешение — оркестр — сто человек прекрасных музыкантов”.

393

На следующее утро после триумфальной премьеры “Князя Игоря” в Неаполе 28 декабря 1934 г. (где Шаляпин выступил сразу в двух ролях — князя Галицкого и Кончака) критик С. Прочида писал в газете “Рома”:

“Шаляпин — артист. Я уже говорил о нем как о несравненном режиссере, который знает Игоря, как своего соратника... Метаморфозы Шаляпина великолепны! От пьяницы князя, который «выламывается», не теряя достоинства и аристократического облика, до благородного хана, который с сердечностью предлагает союз плененному Игорю, — какой контраст с его лицом, испо-

лосованным шрамами от стрел, какое ощущение человеческой пластики! Что общего у циничного Галицкого и хана дикой орды?... Публика была подавлена тихим, одухотворенным и оригинальным искусством, поражена чередованием и сменой выразительных средств в голосе, который на протяжении двух тактов переходит от спокойного тона к громовому. Она разразилась той бесконечной овацией, которая вот уже сорок лет вспыхивает там, где этот небывалый актер раскрывает секреты своего мастерства”.

Потом состоялись еще три представления. Восторг неаполитанцев был настолько велик, что муниципалитет Неаполя решил выбить специальную золотую медаль, которая была торжественно поднесена Шаляпину после последнего спектакля. Это было последнее посещение великим певцом Неаполя.

12 апреля 1938 г. Ф. И. Шаляпин скончался от лейкемии в Париже в своей квартире на Авеню д’Эйло. Отпевание прошло в православном соборе Святого Александра Невского на улице Дарю; затем состоялась траурная церемония в “Гранд-Опера”. Шаляпин был похоронен на кладбище Батиньоль — позднее в этой же могиле была похоронена М. В. Шаляпина-Петцольд, умершая в 1964 г. в Риме. 29 октября 1984 г., в соответствии с пожеланием детей Шаляпина, выполнявших волю отца, гроб с телом Шаляпина был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ

395

Владимир Васильевич Вейдле (13.03.1895, Санкт-Петербург — 5.08.1979, Париж) — поэт, искусствовед, историк-медиевист. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета у крупнейших итальянистов И. М. Гревса и Д. В. Айналова. После большевистской революции — профессор Пермского и Петроградского университетов, Института истории искусств. В 1924 г. эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни.

“Русскую любовь к Италии” Вейдле считал естественной и благотворной. Он был уверен, что итальянские путешествия — “залог европейского бытия России, ибо нет в Европе страны, где не было бы собственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии”.

Свою первую поездку в Италию Владимир Вейдле совершил в 17-летнем возрасте после окончания училища и перед поступлением в университет — с матерью и школьным другом Александром (“Шурой”) Куренковым. В мемуарах, написанных на закате жизни, В. В. Вейдле дал главе, посвященной этому трехмесячному путешествию в марте-мае 1912 г., характерный заголовок: “Сто дней счастья или моя первая Италия”.

“Обетованная земля! Ничего более решающего для всего дальнейшего в жизни моей не было, и никогда, за всю жизнь, не был я так безмятежно, длительно и невинно счастлив, как на ее заре в эти итальянские сто дней... Здесь, на обетованной земле, отрочество мое в юность перешло. Что ж, влюбился я там впервые по-настоящему, что ли? Вот, вот, но соперниц у нее не было: в одну Италию. Сто дней этих прожил без возделенья, как и без телячьего влюбленья; ни до того, ни до другого, на удивление потомству, я еще тогда и не дорос. Любовью любил. Первая она была и основная, воспитательница всех любовей, узанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я, быть может, никогда, — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловеченьи этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, не стал бы я тем, кем я стал”.

Путешественники серьезно продумали маршрут: они решили сразу ехать на юг Италии без остановок, а потом, по мере наступления весны, подниматься на север:

“Из Вены мы прямо отправились в Неаполь. К вечеру проскользнули мимо лагуны (ничего, вернемся, когда станет теплей, в Венецию) и мчались потом всю ночь, миновали Падую, Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим, даже в Неаполе утром не задержались, с пароходной палубы любовались им, завтракали уже на Капри, отдохнули немножко в гостинице, а потом гуляли, вышли к морю”.

Наутро совершили прогулку по острову к развалинам дворца римского императора Тиберия (I в. н.э.):

“На следующий день все втроем докарабкались до виллы Тиберия, и подползли мы с Шурой на животах к самому краю отвесных высоких скал и глядели долго вниз,



Капри. Развалины дворца императора Тиберия

где жидкий, пену над собой выбрасывавший изумруд сражался не на жизнь, а на смерть с тяжелой густотой сапфира. Так встретила нас Италия”.

Прожив на Капри три дня, путешественники сели на пароходик в Неаполь:

398

“Когда отчалил пароход и “Addio Capri” было спето, и, минуя Сорренто, мы стали приближаться к сиявшим издалека берегам, перекрестился я потихоньку и еще набожней стал мысленно повторять “начинается Италия”... Вот она, обетованная земля! К ее солнцу на острове привыкнув, в ее морские ворота я въезжал. С моря открывалась мне она, как некогда грекам, селившись на этих берегах, задолго до того, как волчица выкормила Ромула и Рема”.

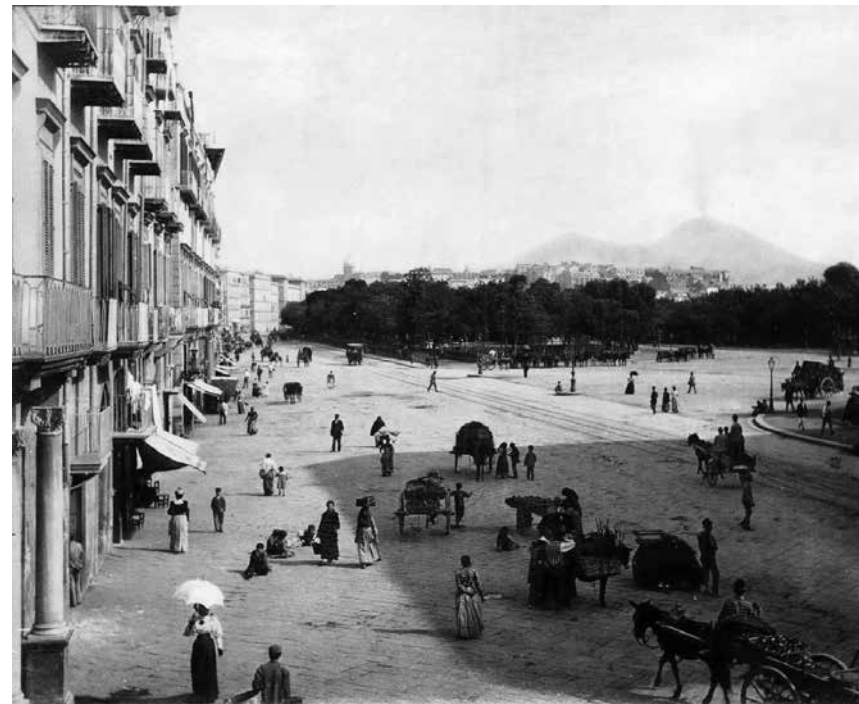
В Неаполе поселились в отеле “Хаслер” на набережной Кьяйя, наутро проснулись очень рано и “еще до кофе” побежали к морю:

“Никого; город еще спал. Вблизи и вдали все искрилось и сияло. Вверху и внизу все тонуло в золотистой синеве... Нас ждет Неаполь”.

Днем, бродя по городу, поражались “вечной праздничности” неаполитанской жизни:

“Вся Мерджеллина сегодня в цветах, и Вилла Национале полна детишек с букетиками в руках и венками на головах”.

Случайно нашли в Неаполе “уголок Флоренции” на Монте Оливето; смотрели церковь Santa-Anna dei Lombardi с ее главной достопримечательностью — террако-



Набережная Кьяйя в Неаполе. Фото начала xx в.

товыми скульптурами плакальщиц в натуральную величину мастера Гвидо Маццони в капелле Гроба Господня:

“Вечером, не успели отобедать, как подошли к гостинице четверо певцов (трое мужчин и женщина) и запели, и добрые двадцать минут прекрасно пели, и монеты им

бросали с этажер, и кричали "бис", и пели они опять. Потом гуляли мы у моря и ели мороженое на террасе кафе, а когда мама поднялась к себе, мы еще раз с Шурой вышли к морю, подошли к каменному парапету, подобному тому, что на Неве, и стали глядеть. Справа и слева мерцали, а то и сверкали огни, но прямо перед нами ровно ничего не было: запах моря, легкий плеск, теплый запах безлунной и беззвездной ночи".

Путешественники побывали в Помпеях, на Везувии, ездили на "дрожках" в "собачью пещеру" на Флегрейских полях. По мнению В.В. Вейдле именно с Неаполя он начал постигать Италию:

"Весело учась, постигали мы Неаполь, и в Неаполе Италию. Какой сумасшедший, роскошный, нищенский, злой и до одури веселящийся, — обреченный веселиться город!.. Неаполь преддверием был для меня, искал я в нем не его, а наслаждался им, вместе со спутниками моими, просто потому, что невозможно было этой смесью преисподней и небес, столь живой, да еще и весенней, не наслаждаться... Не досмотрели мы Неаполя. Нам бы и на месяц его не хватило".

В следующий раз В. В. Вейдле удалось побывать в Италии (увы, уже в фашистской) лишь в 1932 г. А на закате жизни, в 1960-е годы, его охватила новая страсть к Италии — он бывал здесь ежегодно и, если позволяло время, с удовольствием хотя бы на неделю ездил в Неаполь. И при этом всегда вспоминал свою юношескую поездку 1912-го года:

"Нынче по via Partenope, между гостиницами и морем, мчатся машины, все в одну сторону, в пять рядов, а мы, в двух шагах оттуда, на Кьяйе, с открытыми окнами спали, и никакой шум нас не будил".

В 70-летнем возрасте Вейдле написал цикл замечательных итальянских стихотворений. Одно из самых его любимых было посвящено Неаполитанскому заливу и острову Искья.

БЕРЕГ ИСК ИИ

(1965)

*Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.*

*В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь,
В этом синем сияньи серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душою бескрылой врасстая...*

*Возвращается ветер на круги свои, а она
В синеекую даль неподвижной стрелой несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется.*

Приложение

В. В. ВЕЙДЛЕ

Поездка в Пестум

402

Храм Посейдона в Пестуме, который я твердо предписал себе увидеть, не языческая, а греко-христианско-европейская, всего нашего прошлого, святыня... Из Неаполя на поезде мы ехали до захудалого полустанка, где на досках платформенной будки крупными черными буквами начертано было латинское имя давным-давно исчезнувшего города. Вокруг — никого, ничего: две-три ветхих постройки, трава. По тропинке мы шли к проселочной дороге, идущей вдоль храмов и превращенной нынче, увы, в шумный асфальтированный тракт. Никто, кроме нас, не приехал в то утро на станцию Пестум; не было никого возле храмов, пустынно была и дорога. Поразило нас больше всего, что храмы стоят просто так, без предисловий, на траве — на самой простой траве, как в России... Тысячу лет жили живыми среди живых, еще полтора тысячелетия без малого прожили посмертно; до конца предпоследнего века и неведомы были никому. Два других — полуразвалины, хотя колоннадами своими внушительно прекрасны, и один храм Посейдона сохранился много лучше. Так совершенна логика его

форм, так несокрушима строительная мощь, такая исто-
вность вложена во все его существо, что вполне оправ-
данными кажутся три недоступные шагу ступени его
гигантского постамента... Парфенон стройней и легче,
но приземистый в сравнении с ним Пестумский храм
как-то зато горячее (не только по цвету: жарче, нутром
говорит, хоть и духу отраднее его речь). Строгая, стро-
го-дорическая, еще не тронутая, как там, в Афинах, ио-
нийской грацией и улыбкой... Именно греческой своей
стороной и вспоминается мне всего живей мое первое
пробывание в Неаполе... Часы, проведенные в Песту-
ме, — не больше, чем четыре или пять, — в существе
моем отпечатлелись на всю жизнь и остались одними
из самых драгоценных среди подаренных мне Итали-
ей. Спустя полвека, лет пятнадцать назад, я прожил там
три солнечных осенних дня, сняв одну из двух комнат,
сдававшихся при остерии, только садиком своим от-
деленной от главного храма и построенной сплошь из
мощных каменных плит доримской пестумской стены.
Прожил я там эти дни столько же ради, сколько в память
первого свиданья; знаниями оснащенный, которых тог-
да у меня не было... Зато если бы единственным осталось
то первое свиданье, жил бы во мне Пестумский храм до
конца моих дней и все равно не утратил бы я обретен-
ного мною в их начале сознания, что стыдно жить вяло,
низменно или малодушно, куда образ этот в тебе не
совсем угас. Понять это (если не испытать) можно, пожа-
луй, и на фотографии глядя, но никакими снимками не

403

переживаем по-неземному земной общий пестумский пейзаж. Недаром Александр Иванов избрал его фоном своего “Явления Христа народу”, но сути его передать, при всем благоговении не смог. Ветерок морской, шевелящий траву, был бы ему для этого нужен, и вся ширь травяной равнины, близ трех храмов восходящей к морю, но лишь совсем вдалеке от них огражденной тесной цепью каменистых гор. Горы эти величавы, но не грозны...

В. Вейдле. Воспоминания // Диаспора II.
Новые материалы. СПб., 2001. С. 50-51.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУССКИЕ О НЕАПОЛЕ И КАПРИ

ПРИЕЗД В НЕАПОЛЬ

407

К. БАТЮШКОВ

1819

Никогда не забуду, с каким искренним, горячим чувством Вы пожелали мне счастливого пути и благословили на добро и благополучие. Ваше желание сбылось: благополучно я приехал в Неаполь, не ограбленный и довольно бодрый после утомительного путешествия в зимнее время, самое неприятное в Италии, где нет ни убежищ, ни каминов.

Письмо Н. М. Карамзину, 24 мая 1819 г.

С. ЩЕДРИН

1819

408

“Vedi Napoli e poi muori” (“Увидеть Неаполь и умереть”) — пословица итальянская, которую мне еще твердили в Риме. В Неаполь я приехал 15 июня нового стиля, намеревался отправиться раньше, но праздники в Риме удержали на некоторое время, ибо ни один вотюрин <от vetturino — возница> не отправлялся, не посмотревши оных... Наконец, пустился в дорогу. В карете нас сидело 6 человек: три сардинца, римлянин — военный капитан, француз — пенсионер Французской академии, и я; на аванплаце — неаполитанец и еще римлянин, — всех с вотюринами 10 человек. Первый разговор начался вопросами — кто, какой нации?... Сардинец приступил ко мне с вопросом, христиане ли русские (они всех почитают нехристианами, кто не католик), заставлял меня прочесть по-русски Ave Maria... Проехав Понтийские болота, прибыли в последний город папских владений — Террачину, — местоположение коего чрезвычайно живописно. Переночевав, въехали в неаполитанские владения... Дорога от Рима до Неаполя установлена караулами, ибо там бывали шалости. Капитан, севши в карету и держа в руках пистолеты, говорил: лучше хочу умереть, нежели дать себя ограбить. Но приехавши в Альбано, он от-

409

винтил курок и дуло у пистолетов. Я спросил у него: для чего? — Чтобы в случае нападения они бы видели, что я не хотел защищаться, — вот и вся храбрость! И в самом деле, сказывают, что не надо иметь ничего, и они, взявши контрибуцию, уходят. Это делается с почтой, там едут богатые, а к вотюринам не лезут, боясь, что самих ограбят. Впрочем, все тихо и ничего не слышать, все говорят: это было, было, а когда было, Бог знает... Досадны нищие в Риме, но здесь несносны, бегут за каретой мальчишек 20 с милю, крича во все горло: “ечеленцо, дате квальке коза” <“ваше благородие, подайте что-нибудь”>. Неаполитанец их отогнал не словами, так палкой... Нельзя равнодушно видеть, до какой степени этот народ гадок, весь голый, прикрытый тряпчочкой, и то прорванной, — прося милостыню, делает всякие подлости, кидая камушки, подхватывая оные ртом, визжит, скрипит зубами, так что нельзя перенести. Народ же ничем не может быть доволен, всегда мало, а пуще те люди, которых берешь для переноски вещей или других потребностей, давая цену ту, которую сам просил, и требует больше до тех пор, покамест обрутаешь, тогда только отойдет, и я так к этому привык, лишь он разинет рот, то кстати или нет, уж я

В. ЯКОВЛЕВ

(1847)

начну пушить... Подъезжая к Неаполю, на одной миле нас останавливали раза три или больше для осмотра чешмоданов, до которых и не думали дотрагиваться. Наконец, въехали в город; ввечеру я остановился в трактире с французом; на другой день поехал к посланнику и тут же встретил К. Н. Батюшкова, который мне и предложил у себя комнату до тех пор, покамест приищу квартиру, удобную для занятий.

С. Щедрин. *Письма из Италии*. М.; Л., 1932, с. 108–112.

Когда я приехал в Неаполь, Везувий дремал. Днем над ним лениво клубился дымок, белый, как страусовое перо; ночью, когда море исчезало под темною синевою сумрака и у подножия горы, вдоль берега, засвечивались огоньки, вулкан по временам выкатывал из своего жерла багровую звезду пламени, которая, блеснув на вершине, быстро потухала. Эти грозные огненные вздохи под небесами и эти мирные вечерние огоньки внизу; сонный залив и шумный, суетящийся, осыпанный газовыми огнями Неаполь — все это сливалось в магическую картину, от которой невозможно отвести глаза без сожаления...

411

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 64–66.

А. ГЕРЦЕН

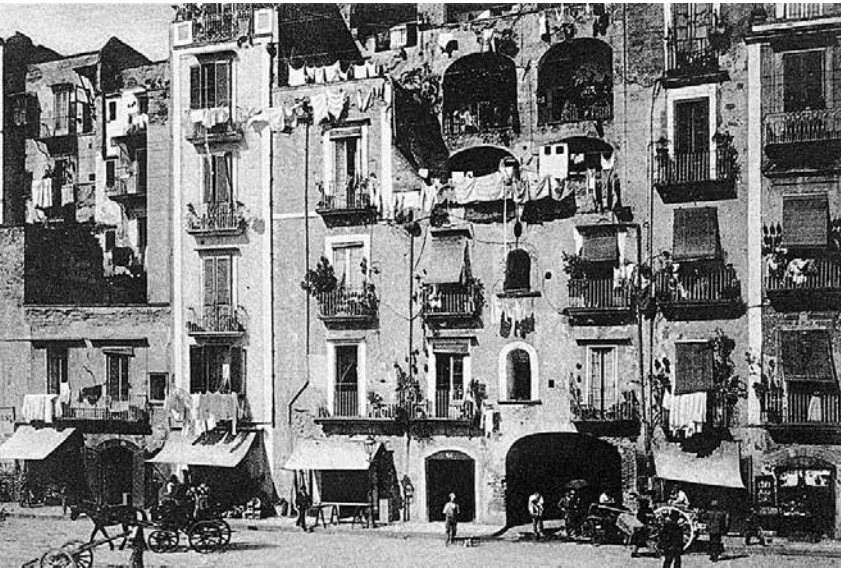
1848

412

Переход от римской природы к неаполитанской до того поразителен, до того резок, что я хочу сказать несколько слов о маленьком переезде нашем. Печальная Кампанья со своими водопроводами и голубыми горами, пропадающими на горизонте, сменяется еще более печальными Понтийскими болотами; их все торопят миновать, боясь малярии; сырая почва этих потных полей испаряет изнурительные и трудноизлечимые лихорадки; даже стада становятся редки. И в то же время возле них степенные на вид и заброшенные города Велетри, Албано удивляют своим населением: это цвет романского племени, каждая женщина — тип правильной, классической красоты, каждый мужчина может служить моделью для художника, и что за грация в движениях, в позах, что за стройность!.. Дикая полоса продолжается до Террачины. Небольшой город угрюм, Средиземное море беспокойно бьется за старинными воротами его; огромная и совершенно одинокая скала стоит у выезда... За скалой начинается природа веселая, смеющаяся, совсем иная; население гораздо менее красивое, но больше движущееся, шумливое; одичалые черты лаццарони и подбострастные манеры неаполитанской черни начина-

ют показываться; серьезный и гордый вид крестьянина, нищего, пастуха Кампаньи заменяется насмешливым выражением и движениями пульчинеллы; на место величавой, правильной красоты романьольской женщины, внушающей уважение, встречаются дерзкие, зовущие взгляды, милая вертлявость, неправильные черты, внушающие чувства, вовсе не похожие на уважение. В неаполитанском населении есть что-то фавновское и приапическое, здесь никто и не подозревает немецкого изобретения платонической любви... Мы приехали вечером. Солнце садилось, пурпуровым светом освещая море, синее, темно-синее, и гору, застроенную домами, на которой стоит Камалдулинский монастырь и крепость С.-Эльм. По мере того как садилось солнце, дым над жерлом Везувия краснел и струйка каленой и растопленной лавы медленно стекала по горе. Улицы кипели народом, песни, органы, разные инструменты раздавались со всех сторон, марионетки и пульчинеллы — плясали, сыпали скороговорками; на балконах стояли дамы между цветов, в окнах начали показываться огоньки... я ничего подобного и не подозревал, просто упиваешься, забываешь все на свете, телесно наслаждаешься собой

413



Неаполь. Старые дома на Via della Marina (фото 1890-х гг.).

и природой. Sta, viator! <Остановись, путник!> — лучшего ты не увидишь. “Посмотри на Неаполь — и потом умри” — как это глупо! — “Посмотри на Неаполь — и возненавидь смерти!”...

А. И. ГЕРЦЕН. *Письма из Франции и Италии* // Сочинения в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 105-108.

Н. ЛУХМАНОВА

1898

Неаполь так отличается от всех виденных мною городов, что мне кажется, там особый мир. Едва вступив на улицы города, делаешься добычей каких-то чрезвычайно веселых и смешных оборванцев, которые тащат багаж, указывают извозчика, карабкаются на козлы и являются почетной стражей путешественника в гостиницу, которую он имел неосторожность назвать при них. Конечно, за все, даже за buono giorno и за улыбку, приветствовавшую его при вступлении на неаполитанскую почву, он платит сантимами, и это галденье, этот торг из-за его персоны составляет первый и чуть ли не единственный диссонанс со своеобразным впечатлением, которое производит город... Какие странные улицы приходится проезжать! Узкие, длинные, грязные, с высокими домами, унизанными балконами и кончающимися плоскими крышами. Муравейник лавок внизу. Мужчины и женщины покупают, продают, болтают с необыкновенно оживленной жестикуляцией. Народ большею частью мелкий, некрасивый, с желтым цветом лица, но зато всюду блестят черные, красивые глаза, а главное, веселая, приветливая улыбка и даже смех, обнажающий белые, прекрасные зубы. Иногда вдруг открывается лабиринт необыкновенно узких

В. БУНИНА-МУРОМЦЕВА

1909

417

улиц; вся мостовая засорена отбросами фруктов, овощей, листьями салата, но тут же стоят корзины махровой пунцовой гвоздики, левкоев, и за несколько копеек бегущий рядом с вашей коляской оборванец предлагает вам пучок желтых или белых роз... Всех орденов монахи, от темно-го капуцина до босоногого кармелита, шныряют в толпе; жирные лица с заплывшими глазами, желтые скулы и острые глаза аскетов. На перекрестках позвякивают бубенчики, и оттуда вдруг вторгается в толпу прохожих стадо коз... В нишах домов — Мадонны, причесанные и одетые, как парикмахерские куклы, или черные кресты с распятием, выставляющим напоказ страшные кровавые раны. И временами среди всех этих скученных и грязных построек вдруг выдвигается монументальный старинный дворец; сквозь бронзовые ворота видны колоннады, портики и запущенный таинственный сад. Большая часть этих дворцов заперта; оставшиеся потомки слишком бедны, чтобы поддерживать великолепие прежней жизни, и слишком горды, чтобы отдавать их внаем.

Н. А. Лухманова. *В волшебной стране песен и нищеты* (1898). СПб., 1899, с. 22–23.)

Осмотрев бегло Венецию, мы взяли билеты в международном вагоне и отправились в Рим, решив там остановиться. Но и там встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром. У нашего вагона стоял русский лакей в ливрее, помогавший старой княгине сходить со ступенек вагона. И мы взяли билеты дальше, на юг, спасаясь от непогоды и от старой княгини с ее ливрейным лакеем. В Неаполе, где было теплее, мостовые блестели от только что пролившегося дождя. Остановились мы на набережной, в гостинице “Виктория”. И пробыли в ней трое суток... Наутро мы поднялись на Вомеру, откуда открывается один из широчайших видов мира — Ян <Иван Бунин> всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место. А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами. А потом рыбный завтрак с холодным вином “Позилиппо” в огромном длинном ресторане, еще пустом, — сезон едва начался — и Неаполь победил меня... На третий день пребывания в этом городе песен и мандолин мы уже освоились с пристававшими мальчишками, смело отбиваясь от них словами “виа, виа”; примирились с тем, что кофе был отвратительный, как,

М. ДОБУЖИНСКИЙ

1911

419

впрочем, и во всей Италии; слушали в салоне после длинного обеда пение и игру неаполитанцев; старший обходил всех с шапкой, и один раз англичанин положил такую маленькую монету, что старичок, талантливый исполнитель песен, возвратил ему этот грош; Ян уже не удивлялся, когда перед сном выходил один на улицу, что к нему подбегали со всех сторон подозрительные личности и, суя открытки, предлагали “табло виван” <живые картины — *фр.*>...

В. Н. Бунина-Муромцева. *Беседы с памятью* // Литературное наследство. Т. 84, вып. 2. М., 1973, с. 207-208.

Близится Неаполь: вдали уже показался Везувий, но скоро скрывается в грозových облаках. Мелькают высокие конусы соломенных скирд и пинии необычайной высоты; виноград висит на деревьях огромными зелеными занавесами. Еще города не видно, но тревожно чувствуется его приближение. Поезд нервно торопится, и мы въезжаем в дымный и гулкий вокзал... Веет югом: пальмы на площади, ряд балконов на сплошной стене домов — совсем Испания. В широко раскрытую дверь магазина вижу, как приказчик стоит на прилавке и разворачивает вниз длинную полосу материи. Вероятно, некогда восточные купцы так разворачивали свои шелка в том же Неаполе перед женами сеньеров и дамами Ренессанса. Проезжаем по монотонным широким улицам, замощенным большими плитами и запруженным шумным народом. Едем мимо старого черного замка и колоннады S. Francesco di Paolo, неожиданно для меня похожего на наш Казанский собор, мимо дворцовых ворот с конями Клодта — таких же, что стоят на Аничковом мосту; проезжаем через весь город, и наш плетеный экипаж взбирается по идущей зигзагами улице к громоздящимся на горе домам. Мы поселяемся там наверху, откуда видно все море... Я верен своей стра-

В. ВЕЙДЛЕ

1912

сти и в тот же вечер спускаюсь в город, чтобы путаться в незнакомых улицах. Но гроза удерживает меня, она надвигается со всех сторон, и я дохожу лишь до опустевшей набережной, не в силах оторваться от феерического зрелища летающих лент розовых молний в гигантской пепельно-лиловой туче, с зловещей медленностью подымающейся над тихим морем... Я бегу от современных кварталов. Тянет в эти маленькие улочки, идущие вниз и вверх по сторонам от буржуазной и безличной Via Roma — прежней Via Toledo. Эти каменные лестницы-коридоры сплошь увешаны сохнувшим бельем, висящим гирляндами поперек улицы над головой, и это похоже на праздничные флаги. Нищая, шумная детвора наполняет криком дворы старых палаццо с грандиозными воротами — чудесной архитектуры дворцы, стиснутые в эти переулки, — теперь это жилища, кишашие беднейшим людом. Тут же на улицах идет домашняя жизнь, здесь и готовят пищу, и едят, здесь же и спят на кроватях, точно эти дома выплеснули из себя переполнившее их население. И все это орет, поет, свистит, ругается, суетится, снует взад и вперед или лениво сидит у порога домов. Во всем такой “юг”, и всюду такие изумительные контрасты!

М. Добужинский. *Путь к Неаполю. Неаполь* //
Воспоминания. М., 1987, с. 269-270.

Мы все трое на палубе теперь. Предвкушаем Неаполь. Мама пестрый платок, вчера купленный, на голову накинула, чтоб ей ветер волос не растрепал; Шура, приятель мой, вооружился малополезным в мореплавании отцовским оперным биноклем; я же — то в Бедекер <путеводитель> загляну, наставляя их обоих насчет того, что мы видим или скоро увидим, то бегаю вдоль и поперек, нетерпеливо трепеща от ни на что не похожего младенческого восторга. Веду себя, по маминым словам, точно не семнадцать мне лет, а семь... Когда я на седьмом десятке лет впервые к Пирею подплывал и Акрополь с палубы увидел, разве я не так же внутренне затрепетал от нетерпеливой ребячливой радости?.. Вдалеке широчайшим амфитеатром поднимался город к верхнему своему дворцу. Справа, над правой горой двуглавой горы <Везувия> дымное облако заметно расширилось... Вот она вся передо мной, партенопейская, а за ней и остальная, богам посвященная, священная издревле земля... Не здесь ли, в ПUTEОЛАХ (Почцуоли), Савл, ставший Павлом, сошел на берег со своего Диоскурам вверенного корабля? Хоть и бушевал, да невредимым доставил его Посейдон в страну его мученической кон-

ПАНОРАМА НЕАПОЛЯ

С. ЩЕДРИН

423

1819

чины... Так я думал — или так мне следовало думать, —
когда черным дымом пыхтя, приближалось суденышко
наше к толстым башням Кастельнуово...

В. Вейдле. *Воспоминания // Диаспора II.*
Новые материалы. СПб., 2001. С. 49-50.

Неаполь, смотря на оный с какой-нибудь горы, иностранцу покажется городом разоренным, ибо все дома без кровель и точно те домики, которые дети строят из карт. Город чрезвычайно обширен, и местоположение самое привлекательное, но нет никакого пренсипального <главного> строения, как то имеют другие итальянские города, которые как бы покрывают собой город и останавливают глаз зрителя, от чего более делается впечатления и предметы живо остаются в памяти, — но зато отличается шумом, и не мудрено: город сей из многолюднейших в Европе и, сверх того, наполнен итальянцами, народом, который имеет две крайности: или кричит во все горло, или показывает жестами.

С. Щедрин. *Письма из Италии.* М.; Л., 1932, с. 115-116.

Н. ГОГОЛЬ

1838

424

Вид Неаполя, как Вы, я думаю, знаете из описаний и рассказов, удивительный. Передо мною море, голубое, как небо, лиловые и розовые горы с городами вокруг него. Передо мною Везувий. Он теперь выбрасывает пламя и дым. Спектакль удивительный! Вообразите себе огромный фейерверк, который не перестает ни на минуту. Давно уже он не выбрасывал столько огня и дыма. Ожидают извержения. Громы, выстрелы и летящие из глубины его раскаленные красные камни, все это — прелесть! Еще четыре дня назад можно было подыматься на самую его вершину и смотреть в его ужасное отверстие. Теперь нельзя. Доходят только до половины; далее чувствуется слишком большой жар и опасно от летящих камней. Место, где я живу, в сорока верстах от него в расстоянии. Но он совершенно кажется близок, и кажется, к нему нет и двух верст. Это происходит от воздуха, который так здесь чист и тонок, что все совершенно видно вдали. Небо здесь ясно и светло-голубого цвета, но такого ярко-го, что нельзя найти краски, чтобы нарисовать его. Все светло. Свет от солнца необыкновенный. Кажется, здесь совсем нет теней. Весь Неаполь и все города, которые попадают в этой стороне Италии, без крыш. Дома вам по-

кажутся или недостроенными, или погоревшими. Вместо крыши гладкая платформа, на которой по вечерам здесь имеют обыкновение сидеть, наслаждаясь видом залива, Везувия, неба и удивительных окрестностей.

Письмо матери 30 июля 1838 г.



В. ЯКОВЛЕВ

1847

428

Везувию дана самая видная роль во всех здешних пейзажах. Перспектива многих улиц Неаполя замыкается этим вечно дымящимся исполином; плыву ли я в алой барке по заливу, или брожу по мертвым улицам Помпеи; любуюсь ли тарантеллой на террасе дома, или отдыхаю под пальмой на Капо-ди-Монте — глаза мои не расстаются с Везувием. Всюду — и между разрозненными колоннами разрушенных храмов, и в глубине аллея, обвитых виноградными гирляндами, — на голубом фоне неба рисуется он, со своим дымом, как грозный дух тьмы, посреди светлого, улыбающегося эдема... Первого августа подземные огни работали деятельнее, чем обыкновенно. Густые клубы серого дыма вырывались из жерла и длинной цепью стлались над “кратером”. Неаполитанцы называют так свой залив. Вечером, когда солнце готово было опуститься за величественные скалы Искьи, над заливом, с вершины Везувия на лиловые холмы Сорренто, перекинута была гигантская арка дыма, золотимого вечерним светом. Можно было судить о работе вулкана за целый день; но так как огня днем не видно, то любопытные иностранцы не могли дожидаться сумрака. Десятки Плиниев с борта французских кора-

блей поплыли в своих тулонских либурах наблюдать извержение, то есть выпить несколько бутылок вулканического вина, которого запасы у пустытника на Везувии не переводятся. Я в свою очередь помчался в Портучи по *via di ferro*. Нигде в мире рельсы не разлеглись по более живописным местам: справа весело блещет яхонтовый залив, омывая амфитеатр белых, желтых, розовых домов Неаполя; слева холмы, покрытые гранатовыми, персиковыми деревьями, виллы, потопленные в зеленом море лимонных садов и виноградников; и над всем этим мрачный Везувий, меняющий свой цвет и утром, и в полдень, и вечером. При последнем вечернем освещении он был бархатисто-фиолетового цвета.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 64–66.

На предыдущем развороте: Вид на Неаполитанский залив
(фото середины XIX в.).

А. ГЕРЦЕН

1863

430

Паскаль говорит, что если бы у Клеопатры линия носа была другая, то судьбы древнего Рима были бы иные. Тут нет ничего удивительного. Шутка — линия носа! Линия вообще! Отнимите у Неаполя линию моря, линию гор, полукруг его залива, что же останется? Кишащее гнездо нравственной ничтожности и добродушного шутовства. Грязь, вонь, нестройные звуки, ослиный крик возчиков и самих ослов, крик и брань торговков, дребезжанье скверных экипажей и хлопанье бичей — рядом с совершенным умственным затишьем и с отсутствием всякого стремления выйти из него. А с ними, с этими линиями, будущность Неаполя обеспечена. С ними он будет во веки веков звать путника, и путник, откуда бы он ни шел, преклонится перед этими пределами красоты. Я смело говорю пределами; могут быть такие же красоты, могут быть иные, но лучше, изящнее, музыкальнее не могут быть.

А. И. Герцен. *С континента. Письмо из Неаполя* // Сочинения в 30 тт. М., 1959, т. 17. с. 280–281.

П. МУРАТОВ

1910-е

431

Неаполь никогда нельзя представить себе без классической панорамы гор и моря. Баснословная красота ее вошла глубокой чертой в народную душу. Нигде не увидишь столько людей, засмотревшихся на мир, сколько встречается их на Корсо Витторио Эммануэле, проложенном по склонам горы Сант-Эльмо, и на каждом повороте, открывающем безмерный вид на город, на Везувий и на залив. Этим видом неаполитанец гордится, как лучшим своим достоянием. Приезжий может явиться сюда с каким угодно предубеждением против “банальной” красоты неаполитанского пейзажа. Он непременно испытает дух захватывающую радость, когда увидит Неаполь от монастыря Сан-Мартино или виллы Бельведере на Вомеро. Линия берега, плавно убегающего к темным рощам Сорренто, тонкие очертания Капри и Искьи пробудят в душе его древнее, как свет, воспоминание о земном рае. Каким верным спутником жизни в Неаполе становится этот далекий очерк Капри! Проснувшись и подойдя к окну, видишь его тающим голубым облаком на горизонте. Он пропадает в полдень в ослепительно сияющем воздухе и вечером появляется снова, чтобы пылать багряно на закате и, густо лиловея, соединяться

УТРО В НЕАПОЛЕ

Е. БАРАТЫНСКИЙ

433

1844

с ночью. Неаполитанцу дорог этот с детства знакомый силуэт, как дороги ему Кастель Сант-Эльмо, дым Везувия, скалы и гроты Позилиппо. Открывающиеся повсюду далекие виды приучили его считать своим все, что доступно взору. Можно быть парижанином и видеть окрестности Парижа только с воскресного пароходика. Но нет такого обездоленного житейскими благами неаполитанца, который не проходил бы десятки раз в году сквозь туннели Позилиппо, не бывал бы в Портичи, Торре дель Греко и даже Кастелламаре.

П. П. Муратов. *Жизнь в Неаполе* // *Образы Италии*. М., 1994, с. 319–320.)

Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упи-
ваюсь живительным воздухом... Вот проснулся город: на
осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного
малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец по-
луголый, но в красной шапке; это не всадник, а блажен-
ный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце,
которое никогда его не оставит без призрения.

Письмо Н. В. Путяте, май 1844 г.

П. МУРАТОВ

1910-е

434

Каждое утро приезжий просыпается здесь от звяканья бесчисленных колокольчиков. Это гонят по городу стада коз и коров. Зрелище малообычное, и нет ничего более курьезного, чем пастушеские сцены, разыгрывающиеся по соседству с фешенебельными отелями на Кьяйе. Коров и коз здесь доят прямо на мостовой; иногда можно наблюдать даже, как заплативший два сольди охотник до парного молока становится на колени и утоляет жажду, обходясь без всякого сосуда. Немного позднее по неаполитанским улицам проходят ослы, нагруженные всякими продуктами окрестных деревень. Они упорно карабкаются по лестницам и не скользят в уличной грязи; погонщики с озабоченными деревенскими лицами управляют ими, придерживая одной рукою ношу и другой крепко взявшись за корень хвоста. Торговля и жизнь начинаются на городских улицах. Крики продавцов и газетчиков разносятся далеко в изумительно чистом утреннем воздухе. Экипажи, управляемые искусными неаполитанскими кучерами, с хлопаньем бичей мчатся на Кьяйю и Санта-Лючию в поисках иностранцев, задумавших совершить загородную прогулку. Полуголые дети заводят свои шумные игры на белых от утренне-

го солнца ступенях какой-нибудь salita <лестницы>. В верхних окнах появляются черноволосые женщины. Они развешивают пестрое белье на канатах, перекинутых из дома в дом, или опускают на длинной веревке вниз корзину с мелкой монетой. Ожидаящий на улице разносчик кладет туда свежие, пахнущие землей овощи, провожая корзину вверх выразительным жестом и крепкой любезностью. Ремесленники садятся за работу в полутемных и сырых подвалах. Солнечный воздух вливается туда в раскрытые настежь двери. Там, в золотистой полутени, едва различимы блестящие глаза и бронзовые тела младших учеников. Они поют неаполитанскую песенку, такую же простую, жалобную и украшенную лишь чувством природы, как сама их доля в этом мире.

П. П. МУРАТОВ. *Жизнь в Неаполе* //
Образы Италии. М., 1994, с. 317–318.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ЖИЗНЬ

436

С. ЩЕДРИН

1819

Вы сами себе представьте весь ералаш: берег уставлен стойками, где лазарони продают устрицы и прочие морские гадины, также и рыбу, тут же находится колодец с серной водой, трактиры, куда собираются ужинать только одно рыбное, и едят на открытом воздухе под моими окнами; тут же расставлены по бокам стулья для зрителей, множество народу наполняют сию часть города, сверх того дорога сия ведет в Королевский сад, стук и шум самый сильный начинается в 6 часов, в которое время только мимо проезжают и проходят, не останавливаясь; пешие прогуливаются в саду, а в экипажах ездят по берегу до 8 часов... Некоторые идут купаться в ванны, которые расставлены по берегу морскому, впереди их обыкновенно бегут кучи мальчишек, кувыркаясь и валяясь по земле и в грязи... В 10 часов садятся ужинать и часов до 12. Я смотрю с удовольствием, как



Неаполь. Гулянье на Villa Nazionale (фото 1890-х гг.).

они потчуют себя рыбами; стоя на балконе, чувствуешь, как рыба воняет, не от того, чтобы была испортившейся, но так хорошо готовят. Хозяйка мне часто говорит, что одни только неаполитанцы могут такую вонь есть. И эти ужины продолжаются до 3 часов утра, а шум еще более, все стойки освещены и каждый лазарон во все горло кричит, и этот крик не уменьшается, ибо они по переменам кричат, с женой и детьми.

С. Щедрин. *Письма из Италии*. М.; Л., 1932, с. 120-121.

К. БАТЮШКОВ

1819

438

Какая земля! Верьте, она выше всех описаний — для того, кто любит историю, природу и поэзию; для того даже, кто жаден к грубым, чувственным наслаждениям, земля сия — рай небесный. Но ум, требующий пищи в настоящем, ум деятельный, здесь скоро завянет и погибнет. Сердце, живущее дружбой, замрет. Общество бесплодно, пусто. Найдете дома такие, как в Париже, у иностранцев, но живости, любезности французской не требуйте. Едва, едва найдешь человека, с которым обменешься мыслями. От Европы мы отделены морями и стеною китайскою. М-me Staël сказала справедливо, что в Террачине кончается Европа. В среднем классе есть много умных людей, особенно между адвокатами, ученых, но они без кафедры немые, иностранцев не любят, и, может быть, справедливо. В общество я заглядываю, как в маскарад; живу дома, с книгами; посещаю Помпею и берега залива — наставительные, как книги; страшусь только забыть русскую грамоту...

Письмо С. С. Уварову, май 1819 г.

Е. БАРАТЫНСКИЙ

1844

439

Мы живем в Неаполе, как в деревне: дни наши монотонны, но небо, но воздух, но море, но юг вообще не дают времени ни скучать, ни задумываться. Каждый день наслаждаюсь одним и тем же и всегда с новым упоением. Жары не несносны, в России иногда бывает удушнее. Веселый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с фейерверками — все это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию. Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем, по крайней мере не останавливаемся долго на одной мысли — это не в здешнем климате.

Письмо Н. В. Путяте, май 1844 г.

П. МУРАТОВ

1910-е

440

Едва ли следует искать в Неаполе впечатлений искусства и истории, похожих на те, которые встречают путешественника в городах верхней и средней Италии. Неаполь далеко не беден искусством, — в здешнем музее собраны и в образцовом порядке расположены неисчислимы сокровища, добытые при раскопках Геркуланума и Помпеи. Только здесь и можно получить представление о драгоценной и редкой красоте античных бронз — еще более драгоценной и редкой от покрывающей их синей и зеленой патины времени. Есть много замечательного и в картинной галерее, занимающей верхний этаж. Там находится удивительный тициановский портрет папы Павла III с племянниками и рядом с ним грандиозный портрет Климента VII работы Себастьяно дель Пьомбо и предвещающий Веласкеса строгий женский портрет Бассано. Немало любопытного можно увидеть и в иных неаполитанских церквях. Интереснейший цикл фресок “Семь таинств” написан на сводах церкви Инкороната каким-то близким последователем Симоне Мартини. Стенная живопись в Санта Мария ди Донна Реджина дает, быть может, случай заглянуть в творчество таинственного предшественника Джотто, Пьетро Каваллини.

В Санта Кьяра и в Сан Джованни а Карбонаро гробницы анжуйских и венгерских королей, изваянные тосканскими скульпторами треченто, образуют единственный в своем роде дикий и торжественный ансамбль. Во всяком другом городе этого было бы достаточно, чтобы надолго удержать внимание путешественника на впечатлениях искусства и старины. В Неаполе эти впечатления держатся недолго. Они быстро уступают место неудержимому натиску неаполитанской жизни. Отвлеченные формы статуй, побледневшие краски старых картин, неосязаемые образы прошлого очень скоро теряются и исчезают в шумящем и блистающем всеми силами жизни зрелище нынешнего Неаполя. У него нет никакой связи с искусством этих старинных заезжих мастеров, с историей этих давно обратившихся в прах чужеземных королей. Вокруг стен музея, укрывших остатки тонкой античной цивилизации, бурлит народная жизнь, способная, кажется, похоронить их глубже, чем лава и пепел Везувия. В современном Неаполе нет никаких материальных следов Партенопей и Неаполиса. Река жизни текла здесь всегда так стремительно, что на ее природных берегах не осталось исторических

441

отложений. Глубокое внутреннее согласие между церковным нефом или залой картинной галереи и улицей составляет существо итальянского города, итальянской жизни. В Неаполе музей и церковь с их прохладой, тишиной и бесстрастной атмосферой созерцания кажутся островами, затерянными среди стихии неаполитанской улицы. Видеть только их — не значит еще видеть Неаполь, жить в Неаполе. Повторять здесь образ жизни, такой естественный в Риме и Флоренции, — значит, обречь себя добровольно на участь Робинзона. Для путешественника, умеющего смешиваться с народной толпой, сама жизнь в Неаполе представляет нескончаемый интерес. Можно сказать даже, что кто не был в Неаполе, тот не видел зрелища народной жизни. Мы только привыкли говорить о бьющей ключом уличной жизни больших европейских городов. Но, в сущности, нет ничего более монотонного и механического, чем оживление толпы на парижских больших бульварах. Бесперывное движение автомобилей и омнибусов непременно наведет тяжелое и неприятное оцепенение на всякого, кто решится провести час перед обедом за столиком одного из кафе на перекрестке у парижской Оперы. Здесь на-

чинаешь отчетливо понимать при взгляде на лица прохожих и соседей, в чем состоит автоматизм жизни большого города. Эти люди должны проводить целые дни на улице вовсе не потому, что улица их дом, а потому, что они, по существу, бездомны. Парижской толпой всегда управляет какая-то скрытая необходимость, и в самой напряженности уличного движения там всегда чувствуется что-то застывшее, одинаковое, таящее огромную усталость и, может быть, даже отвращение к жизни. Чтобы видеть толпу, действительно переполненную безотчетной, нерассуждающей и суеверной радостью существования, надо пройти по главной улице Неаполя, знаменитой Via Toledo. Ее тесные и грязные тротуары с утра и до позднего вечера запружены народом, умеющим быть счастливым от простого сознания своего бытия. Все эти люди никуда не спешат, но вместе с тем они и не убивают времени до отчаяния равнодушно... После нескольких дней пребывания иностранец начинает находить вкус в медленной прогулке вверх и вниз по Via Toledo. Его перестает удивлять вечное движение толпы, не имеющее никаких видимых оснований. Скоро он начинает предпочитать эту улицу — самую оживленную

улицу во всей Европе, — уставленной скучными дорогами отелями набережной, Ривьера ди Кьяйя. Все плохие качества неаполитанского народа — предательство, лукавство, корыстолюбие и порочность — можно простить за прекраснородушно увлечение такой невинной вещью, как хождение взад и вперед по главной улице. Есть что-то заразительное в этом увлечении. Когда под вечер приближаешься к Толедо по усеянной балконами узкой и шумной страда ди Кьяйя, невольно и сам начинаешь спешить, точно впереди ожидает какое-то необыкновенное зрелище! Для приезжего в зрелище неаполитанской жизни есть много необыкновенного. Чтобы видеть его как следует, надо сделать несколько шагов в сторону от главной улицы. Здесь совершенно исчезает всякий признак города в европейском значении этого слова. Улицы превращаются в проходы между высокими стенами домов, сменяются лестницами, тупиками, дворами, образуют путаницу, в которой могут разобраться лишь населяющие их из поколения в поколение аборигены. Само собой понятно, что здесь и не может быть никакой границы между жильем и улицей. У неаполитанца нет никакой домашней жизни, кроме той, которая от-

крыта взору каждого прохожего в любом переулке налево от Толедо или в окрестностях университета. На этой мостовой, покрытой всегда, даже в самую сухую погоду, слоем грязи, он исполняет несложное дело своей жизни. О лени неаполитанского народа сложились легенды. Но в действительности полная праздность встречается редко в бедных кварталах. Весь этот люд чем-то занят, и больше всего занят торговлей. Нигде в Европе не торгуют с такой страстью, как в Неаполе. Половина населения здесь всегда на улице, с тем чтобы продавать нечто другой, более счастливой или более несчастной половине. Трудно представить себе, чем только не торгуют вокруг неаполитанского Меркато <рынка>. Десятки тысяч людей существуют здесь изготовлением и продажей предметов благочестия и “jettature”, предохраняющих от дурного глаза. Целая улица близ Сан-Лоренцо занята лавками, торгующими восковыми статуями святых, искусственными цветами и вотивными предметами. Неаполь — это сплошной рынок всяких съестных припасов, овощей, фруктов, рыбы, frutti di mare <даров моря> и вина. Нет улицы, где, имея в кармане несколько сольди, нельзя было бы запастись всем этим мимоходом и не

В. ВЕЙДЛЕ

1912

заходя вовсе в лавку. Неаполитанец любит есть на улице. Всякое народное увеселение сопровождается дымящимися котлами, где варятся традиционные макароны. В каждом переулке, идущем от Via Toledo, есть прилавки, где продают затейливых морских животных, которых так вкусно глотать при свете уличного фонаря, запивая темным “граньяно” или светлым “капри бьянко”. Мостовая усеяна здесь раковинами и лимонными корками. Острый запах морских отбросов, гниющих плодов и вина никогда не выветривается из тесных улиц Неаполя.

П. П. Муратов. *Жизнь в Неаполе* //
Образы Италии. М., 1994, с. 314–317.

Вечно празднуют что-то в этом городе, вечно не протолкнуться на via Toledo, на Толедо, как здесь запросто говорят и куда спешат отовсюду неаполитанцы и форрестьеры <иностранцы>, не столько по делам или для покупок, сколько ради самой этой толчеи».

В. Вейдле. *Воспоминания* // Диаспора II.
Новые материалы. СПб., 2001. С. 53.

НЕАПОЛИТАНЦЫ И НЕАПОЛИТАНКИ

В. ЯКОВЛЕВ

1847

448

С. ЩЕДРИН

1819

Чудной народ, которых я на одном дне десять раз ругаю и десять раз хвалю. Спросите у него что-нибудь, он тотчас скажет с учтивством, попросите, чтоб показал дорогу, пробежит мило, не требуя благодарности; но зато попросите у него хоть воды, которую в некоторых местах предлагают за безделицу, не даст даром и нагрубиянит. Все, где только коснется до денег, они нестерпимы, а пуще с иностранцами, запрашивают страшную цену, — и дайте ему, что он требует сам, и всегда недоволен. И вообще простой народ в Неаполе грубее, нежели в Риме, которого здесь нескоро поймешь: чтобы он поработал, если у него в кармане карлин... да ему и дела нет: он, приставив корзинку к стене, дрыхнет в ней на солнце или, лежа в оной, смотрит на всех с презрением. На пищу же им очень мало надобно, я не знаю, чем они бывают сыты, — апельсин да кусок хлеба, и все тут...

С. Щедрин. *Письма из Италии*. М.; Л., 1932, с. 122–123, 131.

449

Взор мой падал в глубокие стремнины и на бесприютные скалы. С редким удовольствием я наконец заметил под собой деревушку, прилепленную к бедру горы... Молоденькие девушки, с веселыми речитативами, с звонким хохотом, полоскавшие белье в античном саркофаге, встретили меня как пришельца с луны. Некоторые подставляли свой кувшин под кристальную струю водомета, падавшую в этот овальный бассейн, иссеченный из восточного гранита, и, застенчиво улыбаясь, предлагали мне освежиться. С античною грацией эти загорелые красавицы поднимали кувшин на голову, слегка поддерживая его одной рукой и, опираясь о пышно развитое бедро, расходились по гористым переулкам, которые местами иссечены в скале ступенями. В поступи южных женщин заметно врожденное благородство и привлекательность невыразимая. Несмотря на крайнюю небрежность наряда вообще, эти молодые женщины обличают род классического вкуса в уборке своих иссиня-черных и всегда прекрасных волос: длинные и густые косы с трудом придерживаются колоссальной бронзовой булавкой, которая, в случае надобности, с

А. ГЕРЦЕН

1863



Неаполь. Уличная сценка.

большим успехом исполняет назначение стилета. Эта смесь грации и нищеты, босых ног и изящной прически встречается только на юге.

В.Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855.)

Беспечное легкомыслие и вечное рассеяние мешают неаполитанцу сложиться до совершеннолетия и подумать о своем положении, и то же беспечное легкомыслие помогает ему весело переносить все на свете. Станный народ: он трусит перед вздором и строит свои дома под вчерашним кратером. Все остальные стороны его жизни носят тот же характер небрежности и необдуманности. Работники и простой народ живут в каменных щелях между шестизэтажными домами, в грязи и вони, о которой теперь в Европе не имеют понятия; для них ничего не сделано, у них нет ни воздуха, ни воды, а они-то и составляют все население Неаполя. Народу уступлена, правда, улица — улица, но не солнце — солнце за стеной, и этот народ, так грязно живущий, страстно любит свет, цвет, веселье, хохот, зрелища, наружный блеск; ему королевский дворец необходимее чистой квартиры и в три месяца один фейерверк дороже свечки у себя дома.

451

А. И. Герцен. *С континента. Письмо из Неаполя* // Сочинения в 30 тт. М., 1959, т. 17, с. 282-283.

Н. ЛУХМАНОВА

1898

452

Щегольство составляет такую же язву Неаполя, как и нищета. *Fara figura*, т. е. быть представительным, — вот высшая духовная потребность этого народа. Козлятник, прогоняющий три раза в день свое стадо, по воскресеньям гуляет в котелке, пиджаке и лакированных сапогах, а главное, на сбереженные гроши он причесывается у парикмахера, у него идеальный пробор, два кока на висках и подвитые усы. Говорят о кокетстве женщин — надо видеть итальянских мужчин! От козлятника до маркиза, от юноши до старика, с какою грацией и осторожностью приподнимают они при случае над головою шляпу и снова надевают ее, с какой тревогой двумя пальцами дотрагиваются до своих коков и усов. Кто-то сказал, что умственное развитие народа узнается по количеству парикмахерских. В Лондоне их почти нет; парижанин большею частью сам и джентльмен, и парикмахер; в Петербурге редко кто причесывается у парикмахера, больше бреются и стригутся; в Неаполе за широко открытыми дверями, на виду у всех проходящих, с гордостью часами просиживают мужчины, подвергаясь всевозможным манипуляциям местных Фигаро. И на каждой улице таких священнодействую-

щих заведений по четыре и по пять. С ними конкурируют сапожники, — и, как у нас перед каким-нибудь эстампным магазином, так там перед блестящей и действительно красивой обувью всегда толпится народ, юноши мысленно примеряют на себя ботинки и со вздохом толкуют о ценах. Чистильщики сапог наживают здесь деньги, потому что неаполитанцы стоят на одной ноге, куря скверную, вонючую сигару, в то время как другую полируют двумя щетками, — здесь признак бонтонности, и иной юноша в воскресенье воздержится от всякой еды, но зато на каждом углу будет позировать, давая если не чистить, то хоть отряхнуть пыль со своих блестящих, как зеркало, ботинок. Около модных кондитерских и ресторанов стоят всегда юноши густою толпой, ковыряя во рту зубочистками; грешный человек, но я часто подозревала, что этим и ограничивалось их угощение... Это желание казаться богаче и представительнее, чем то дозволяют средства, мучит не только низший и средний класс, но и высший. Не только нужда и разорение скрываются здесь, как величайшая тайна, но употребляются все средства, чтобы пустить пыль в глаза. Люди, которые живут буквально впроголодь, ко-

453

П. МУРАТОВ

1910-е

торые не в состоянии поддержать свой развалившийся дом, тем не менее имеют великолепный зал, куда сносится все лучшее в доме, чтобы принимать в нем гостей, и от 2 до 6 часов обязательно катаются в своем экипаже по Кьяйе и Толедо. Видя их экипаж, кучера и лакея, хорошо одетых, выбритых и важно восседающих на козлах, трудно представить себе, что это печальная и притом ни для кого из знающих не тайная комедия.

Н. А. Лухманова. *В волшебной стране песен и нищеты* (1898). СПб., 1899, с. 71.)

Неаполитанец живет только тогда, когда испытывает удовольствие. Он умеет наслаждаться своей ленивой и легкой походкой, своим ярким галстуком, сияющим небом над головой, ощущением на лице морского ветра, шумом колес, хлопанием бичей, пестрыми нарядами встречных женщин и запахом съестного, вырывающимся из широко открытых дверей ресторана. На Толедо собрано все, что он любит в мире. И никакое другое человеческое существо не любит мир такой крепкой, упорной, животной любовью.

455

П. П. Муратов. *Жизнь в Неаполе* // *Образы Италии*. М., 1994, с. 315.

ПРАЗДНИКИ В НЕАПОЛЕ

456

В. ЯКОВЛЕВ

1847

Гитары зазвучали, бубны загремели; пестрая толпа раступилась, образовала маленькую арену, и ловкая пара выпорхнула на середину, с легкостью и грациозностью. Каких вы не ожидали бы от простых горожан. Наконец, между танцующими я заметил одну молодую женщину, обольстительную, как гверчиновы сивиллы... Никогда не забыть мне этих магических черных глаз этого бархатистого лица, покрытого легкой золотистой тенью и всею роскошью румянца. Танцевали, разумеется, тарантеллу: Вы знаете эту страстную, меланхолическую и вместе неистовую пляску. Неаполитанки пляшут свой национальный танец не одними ногами, а всеми мускулами, суставами, головой, глазами. Каждый хотел, по-видимому, превзойти всех до восторженности. Плясали — до изнеможения. Утомленная пара заменялась свежеею. Женские груди волновались; мужчины срывали с своей шеи легкие платки, потому что куртки уже

давно были сброшены. Очередь дошла до меня... Как Азиятцы не понимают того, чтобы порядочный человек стал трудиться танцевать, особливо, когда он в состоянии заплатить танцовщицам; так Неаполитанец не понимает, чтобы можно было смотреть на пляску и не принять в ней участия. И хозяин и гости, опьяненные несравненно больше пляской, чем легким вином, которым беспрестанно прохлаждались, приступили ко мне, как к человеку, который отказывается от удовольствия единственно из застенчивости. Им и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог не знать тарантеллы. На мое искушение, кто-то подвел ко мне прелестную звезду праздника, которая пристально и простодушно глядела мне в глаза своими большими бархатными глазами, нимало не подозревая их губельного влияния... Я чувствовал, что все члены мои были наэлектризованы, мускулы напряглись и сжимались сами собою; голова моя закружилась... Я уже плясал тарантеллу!.. Сомневаюсь, чтоб вы поступили благоразумнее.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855.)

Н. ЛУХМАНОВА

1898

458

Я приехала в Неаполь в декабре. Зима давала себя знать только свежими утренниками и вечерами; днем же солнце так грело, что можно было ходить в одном платье. Такое оживление, какое довелось мне увидеть 24 декабря, в канун их Рождества, я не встречала никогда; улицы были буквально переполнены веселой, праздной толпой; звонкие крики и взрывы хохота сыпались со всех сторон; экипажи едва двигались в густой толпе; народные волны приливали и останавливались всюду, где было что-нибудь интересное; каждый магазин и даже лавка съестных припасов, каждый фруктовый ларек старались перещеголять соседа убранством... В одном месте толпа рукоплескала перед выставкой колбасника, ухитрившегося сделать, из сосисок и сала, — чело- века, чуть не в натуральную величину. На улице Santa Brigitta, казалось, море выкинуло всех представителей своего царства: лангусты, пульпы, угри, мерланы, миноги; даже живые петухи и куры связаны ногами по десять и двенадцать пар, и тут же сковороды и кухни с готовыми блюдами, с котлами горячего томатного соуса, в который бедняк за 1/2 копейки имеет право обмакнуть свой хлеб... В Рождество и в Пасху нет такой бедной се-

мы, живущей в bassi или пещере, которая не могла бы в этот день хорошо поесть. Так называемое “Братство Корзины” учредило здесь оригинальный и в то же время благотельный для народа обычай: каждую неделю бедняк несет старосте своего квартала (одному из членов этого братства) от 50 сантимов, что составляет на наши деньги приблизительно 17 копеек, до 1 лиры или 2-х , и так платит он, например, с 30 марта по 24 декабря. На всю эту сумму ему покупается (конечно, по дешевой цене вследствие громадного забора) столько провизии, что семья его буквально целую неделю не выходит из-за стола, и праздник становится для нее действительно веселым и светлым. От этого обычая теряют, конечно, трактиры и рестораны, так как никто не бежит от своего сытного, веселого стола; и выигрывают аптекари, которые, как говорят, на Пасху и Рождество достигают максимума продажи касторового масла и других таких же невинных, но действенных средств... Улицы освещены тысячами огней; у каждого продавца свои лампочки и своя система освещения. Но вот наступал час Ave Maria, и весь Неаполь горел в огнях. Глухой проснулся бы от его шума. Ракеты со страшным треском лопались в воз-

459

С. ГЛАГОЛЬ

1900

духе; римские свечи рассыпались звездами; на балконах, в руках стоявших людей, появлялись громадные смоляные факелы, брызги от которых падали огненным дождем на улицу. Всюду гремели ружейные выстрелы...

Н. А. Лухманова. *В волшебной стране песен и нищеты* (1898). СПб., 1899, с. 26–29.

Неаполитанцы давно бросили носить свой национальный костюм, но южное солнце все-таки придает и их международным лохмотьям удивительную красоту, и на каждом шагу попадаются такие группы, что хоть сейчас на полотно. Но если хотите видеть этот уголок во всей его красе, приходите сюда вечером в воскресенье или еще лучше в день какого-нибудь святого, имя которого празднует соседняя церковь. О, тогда неаполитанец дает полный простор своей страсти ко всякому шуму, треску и яркому свету. Через всю улицу перекинута арка из зелени с бумажными цветами, и на этих арках сотни зажженных разноцветных стаканчиков. В нескольких местах вензеля и освещенные транспаранты с изображениями святых. Из окон свешиваются ковры и разные цветные тряпки, а внизу толпа в праздничном наряде поет, играет на мандолине и гитаре, пускает ракеты и десятки монгольфьеров из цветной папиросной бумаги и поджигает одну за другою десятки петард, которые наполняют воздух таким треском и грохотом, что издали можно подумать, не берет ли город приступом целая неприятельская армия. И при этом посмотрите, как все довольны, какие у всех оживленные, веселые лица!

М. ГОРЬКИЙ

1907



Музыкальный ансамбль на Капри (фото 1890-х гг.).

Даже становится завидно, что люди могут так просто веселиться. И продолжается это веселье и сегодня, и завтра, и послезавтра, пока не сожгут все масло и не израсходуют все петарды. А там, глядишь, такой же праздник у соседей, на другой улице, и так без конца. Мы, северяне, не умеем так веселиться.

С. Глаголь. На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию. М., 1900, с. 161-163.

Вчера каприйцы устроили какой-то праздник, — собственно говоря, праздника никакого не полагалось по святцам, но была хорошая погода, и люди сочли это достаточно серьезной причиной для безделья и радости. Какой они устроили фейерверк изумительный! Ничего подобного я никогда не видал. На горе, темной ночью, огонь играл целые симфонии. Целый день гремела музыка, народишко шлялся по острову и орал, как пьяный... Чувствуешь себя в опере, честное слово! Итальянцы будут хорошими социалистами, мне кажется.

Письмо И. П. Ладьяжникову, 8 июня 1907 г.

П. МУРАТОВ

1910-е

464

Для неаполитанца нет более привлекательной цели в жизни, чем праздник, с музыкой, с процессиями, с едой на людях, с шумом, пальбой, вечерней иллюминацией и заключительным фейерверком. Кому случилось прожить здесь даже только неделю, тот непременно видел неаполитанский уличный праздник, хотя бы в маленьком, “домашнем” виде. Сколько флагов тогда, сколько цветных фонариков, сколько наряженных в бумажные костюмы ребят в счастливом квартале праздника! Неаполитанец не может существовать без этого. Когда нет более значительных ресурсов веселья, он в воскресенье вечером раскладывает на перекрестке костер. Вокруг каждого такого костра играют на мандолинах и поют. Чтобы вышло как можно шумнее, туда бросают хлопущки. Но главное здесь, конечно, в зрелище. Зрелище получается действительно очень красивое, когда смотришь с какого-нибудь высокого места на огромный город и видишь вспыхивающие в синеве вечера бесчисленные костры, выбрасывающие высоко оранжевый дым и золотые искры. Живя в Неаполе, начинаешь понимать, какое непреодолимое отвращение от всего будничного, упорядоченного и правильного заложено в этом народе...

Всякое дело жизни теряет в Неаполе свою серьезную и моральную основу. Политика, которой неаполитанцы предаются с такой страстью, становится здесь тоже похожа на азартную игру. Итальянский парламент видел бы в своих стенах меньше интриг и нечистых сделок, если бы в нем было меньше южан, слишком горячо желающих для себя разных земных благ. При такой врожденной любви к беспорядку естественно, что этот народ с трудом поддается основанной на законе гражданственности. Неаполитанская каморра является, в сущности, установлением глубоко национальным. Она управляет городской жизнью при помощи преступлений. Действуя на воображение толпы, каморра завоевывает тем самым вечную популярность вместе с народным праздником и народным театром. В Неаполе несколько десятков театров; среди них находится знаменитая опера Сан-Карло. Но для понимания здешних нравов гораздо более интересны маленькие театрики, разбросанные в народных кварталах. По вечерам они все бывают переполнены. Побывав в одном из таких театров, невольно приходишь к заключению, что неаполитанцы в самом деле счастливые люди. За несколько соль-

465

ди, которые стоят дешевые места, здесь можно увидеть в тот же вечер одноактную драму, комедию с участием Пульчинеллы, кинематограф и услышать новые canzoni <песни>... Неаполитанские актеры играют превосходно. Напряженное и страстное внимание зрительного зала вызывает в них естественный подъем. Разыгрываемые драмы просты, правдивы и значительны, как сама народная жизнь. Их литературность так наивна и условна, что на нее не тратятся никакие интеллектуальные силы ни актеров, ни зрителей. Все сводится к ярким моментам в игре, поражающим сердца зрителей, как молния. Когда на сцене блеснут и раскроются с сухим треском ножи, когда мелькнет движение поединка или убийства, хорошо знакомое неаполитанской толпе, зрители приходят в совершенный восторг. Под гром аплодисментов и одобрительных возгласов убитый встает тогда, кланяется, становится на место, и сцена убийства повторяется для полного удовольствия публики. После антракта неаполитанцы готовятся смеяться до упаду — идет комедия с непременно участием Пульчинеллы. Как и во времена незабвенной commedia dell'Arte, роль этой маски является почти сплошной импровизацией.

Необходимо какое-то изумительно щедрое дарование, чтобы так легко увлекать, так бесконечно разнообразно смешить зрителей движениями, интонациями, шутками на диалекте, как делают это хорошие Пульчинеллы. Не знаешь, чем надо здесь больше восхищаться — глубиной подлинности их таланта или вечной жизненностью этого образа национальной традиции. При изменившихся условиях быта, нравах, понятиях Пульчинелла остался неизменным и необходимым участником комедии жизни. Сколько раз менялись мотивы и темы пьесы, сколько раз менялась канва, по которой ему надо было выводить свои шутки и lazzi <выходки>, сколько раз менялись наряды тех персонажей, с которыми ему надо было выходить на сцену! Он появляется в белом, низко подвязанном балахоне, с белым колпаком на голове и с черной носатой маской на лице среди молодых людей в цилиндрах и дам в модных платьях. Это нисколько не удивительно. Пульчинелла принимает участие во всех делах нашего времени. Как нынешний неаполитанец, он ожидает наследства от американского дядюшки, давно эмигрировавшего в Аргентину, он выбирает в парламент, читает газеты, рассуждает об авиации, ездит на

автомобиле. Механизм современной жизни не убил еще этого неуклюжего хитреца, лентяя, обжору и резонера. Он еще жив, и вместе с ним жив неаполитанский народный характер. Когда в одном из этих маленьких театриков, отделанных в такой удивительно театральный красный цвет, слышишь рукоплескания зрителей на прощальный поклон актеров, тогда становится понятно, как дорого неаполитанцу историческое упрямство Пульчинеллы и как почтенна его историческая глупость, выражающая старую мудрость этого народа. Пульчинелла древен, как сама жизнь на берегах Неаполитанского залива и склонах Везувия. В ателланских фарсах, разыгрывавшихся здесь в итало-греческую и римскую эпоху, он уже участвовал под именем Макка. Оставшиеся изображения показывают, что он даже сохранил с тех пор свой огромный, крючковатый нос. Он дошел до нас, как существо из античного мира, чудесно пережившее тысячелетия. Составляет ли он единственное и странное исключение? Действительно ли так прочно погребена в современном Неаполе древняя культура, как это кажется в первый день, когда выйдешь из музея на Via Toledo? По мере того как приезжий приглядывается к



Неаполитанская гарантелла.

здешней народной жизни, он начинает различать в ней черты глубокой древности... Страсть к игре и легкой наживе, невинная порочность, дух приключений, торговля, шум, плутовство, уличные драки — все, одним словом, чем переполнен и теперь лабиринт огромного города, все это уже было изображено в одной очень старой книге. Когда поднялся спор о времени и месте написания “Сатирикона”, можно было легко доказать, на основании бесчисленных совпадений в нравах и сохранившихся в народном диалекте особенностей речи, что место действия знаменитого романа — Неаполь. Для подтверждения этого нет даже особой надобности в ученых исследованиях. Дух “Сатирикона” и сейчас еще удивительно чувствуется в Неаполе. Его надо читать под этим небом и среди этой жизни. Похождения Энкольпа, Аскильта и Гитона разыгрываются в узких и грязных переулках, на площадях, запруженных праздным или торгующим людом, на пригородных виллах, на подозрительных постоянных дворах, в притонах около порта, пропитанных запахом моря, — и от всего этого неизменно веет Неаполем... Несмотря на крайнюю грубость слов и непристойность отдельных сцен, древний латинский роман

производит в конце концов незабываемое впечатление природной грации и странной свежести. Едва ли можно назвать изображенные там нравы испорченными только потому, что в них меньше лицемерия, чем в современной морали... Участие природы во всем, любовь к жизни и широкое дыхание окружающих человека пространств земли и моря составляли счастье античного мира. И это счастье до сих пор не вполне оставило Неаполь. Сверкающие белые дороги ведут на Позилиппо, и открывающийся оттуда вид вулканических форм Мизенского мыса и Флегрейских полей соединяется со вкусом тонкой пыли и горько-соленой влаги морского ветра. Этот горький вкус — горький привкус оливок, гранатов и некоторых здешних вин — кажется странным для обычного представления о сладостной красоте неаполитанского пейзажа. Но, быть может, так доходит до нас через природу какая-то правда об античной жизни, разросшейся некогда на этой земле, — о крепких соках и морских солях, питавших ее, о ее первобытном горьком зерне.

П. П. МУРАТОВ. *Жизнь в Неаполе* //
Образы Италии. М., 1994, с. 321–323.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ МУЗЫКА

472

М. НЕСТЕРОВ

1908

На Капри все пропитано музыкой, пением... Вечером не умолкали мандолины. Они тренькали повсюду, на порогах парикмахерских, заливались в тратториях, — где только не было их на Капри! А шарманки! О, они преследовали нас всюду! Мы с сестрой запомнили одну, большую; хозяин возил ее на двухколеске. Она была его любимицей-кормилицей. Была она такая нарядная, причудливо задрапированная яркой материей, обшитой золотой бахромой, с картинкой на лицевой стороне. Она имела свой репертуар, свой тон, свою манеру играть. Эту шарманку было слышно издалека. Она врывается в вашу жизнь, вашу душу. Она желала всюду господствовать — в солнечный яркий жаркий полдень, равно как и в ненастный, дождливый вечер. Она и ее «патроне» одинаково неутомимо преследовали нас. Не было человеческих сил, чтобы избавиться от этих двух тиранов — «патроне» и его шарманки. Мы мечтали, что

уедем с Капри и тогда не услышим больше звуков, нас изводящих. Не тут-то было... Покидаем Капри. Садимся в лодку, чтобы доехать к пароходу в Неаполь, но и здесь, на лодке, на морских волнах, она, наша шарманка, и ее «патроне». Они, как и мы, покидали Капри. На пароходе эти заговорщики, эти деспоты вступили в свои шарманочные права — она заиграла какую-то бравурную народную песенку... Шарманка и ее господин были неутомимы, и под эти звуки мы подошли к Неаполю. Она и сейчас, через много лет, слышится мне. Да, это была веселая, довольная собой шарманка. Быть может, она не была слишком умной шарманкой, но она так радостно, бодро исполняла свое призвание.

М. НЕСТЕРОВ. *Воспоминания*. С.278.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ЛОТЕРЕЯ

474

Н. ЛУХМАНОВА

1898

На всем свете нет человека легкомысленнее итальянца. Суеверный, верящий в предсказание, чудеса, дурной и хороший глаз, он никогда не откажется от лотереи, открывающей такое широкое поле его нервной деятельности, его опьяняет мысль, что достаточно иметь несколько копеек, чтобы выиграть горсть золота. От этого lotto кормятся не только держатели лавчонок, продающих билеты, но и всевозможные идиоты, предсказатели и шарлатаны. Главное дело взять, конечно, счастливый номер. Как руководство к этому, есть даже книга, *La Smogita*. Эту грязную, засаленную книжонку можно найти всюду: как в дорогом отеле, блестящем ресторане, так и в самом последнем притоне. Все это человек слышит, видит, все окружающие его предметы обозначены в ней номерами, она указывает, в какие фазисы луны можно верить снам и как по временам года, ветру, солнцу, урожаю угадать счастливый номер. Хозяин пансиона, где мы стояли,

спас как-то от смерти маленькую черную собачонку и взял номера билетов, соответствующих: смерть, собака, черная, спасение, и выиграл несколько сот франков. На следующий же день после розыгрыша это было известно в Неаполе; собаку его явилось покупать человек двадцать; он не продал, но к вечеру же она исчезла из его дома самым непонятным образом... Страсть к игре до того сильна в итальянцах, что мне указывали семейства, которые дали обет поститься, вернее, голодать по субботам с тем, чтобы эти гроши употреблять на лотерею; пост всегда был в честь какого-то святого, под покровительство которого и ставился взятый билет. Теперь задача изменялась, искался не только счастливый номер, но и благодарный, внимательный святой, который предсказал бы номер, поэтому патроны менялись каждую субботу... К сожалению, духовенство не только не борется с этой пагубной страстью народа, но, напротив, так же страстно предано игре, и никогда ни один аббат не откажется отслужить обедню за счастливый выигрыш.

Н. А. Лухманова. *В волшебной стране песен и нищеты* (1898). СПб., 1899, с. 87–92.

П. МУРАТОВ

1910-е

476

Неаполитанец до страсти любит деньги, но способы медленного и честного обогащения созданы не для него. Он предпочитает жить от субботы до субботы надеждой на выигрыш в lotto. Ни в одном из итальянских городов правительственная лотерея не дает столько прибыли государству, как в Неаполе. Путешественник, встретившийся с обманом и плутовством, напрасно будет упрекать здешний народ в алчности и корыстолюбии. На самом деле это вовсе не алчность и корыстолюбие — это все та же любовь к игре, все тот же азарт, который заставляет неаполитанца поставить в субботу последний грош на заветные цифры *terna sessa* <тройного угадывания>.

П. П. Муратов. *Жизнь в Неаполе* // *Образы Италии*. М., 1994, с. 321-323.)

НЕАПОЛЬ И РИМ

А. ГЕРЦЕН

1848

477

Всю эту разницу двух стран, двух природ, двух населений вы видите на самом рубеже их, переезжая от Террачины до Гаэты... Но самую резкую противоположность, самый крутой антитезис составляют Рим и Неаполь, они столько же похожи друг на друга, как строгая и величаявая матрона на резвую, легкомысленную гетеру, как Рим времен Пунических войн на Рим времен Тиверия и Нерона, искавший по сочувствию неаполитанского неба. Рим напоминает о бренности вещей, о минувшем, о смерти, это вечное *memento mori* <помни о смерти>, Неаполь — об упоительной прелести настоящего, о жизни, о *carpe diem* <пользуйся днем>. Рим, как вдова, верная прошедшему, не отрывается от кладбища, не забывает утраченного, его развалины ему больше необходимы, нежели Квиринал. Неаполь верен наслаждению, верен настоящему, он беснуется и пляшет на Геркулануме, т. е. на гробовой доске; дымящийся Везувий на-

С. ГЛАГОЛЬ

1900

поминает ему, что надобно пользоваться жизнью пока, до лавы. Философия Анакреонта и Горация сделалась его кодексом, перешла в нравы... Поживши в Риме, невозможно его не уважать, но от Рима устаешь, — устаешь так, как от людей, с которыми беспрерывно надобно говорить о важных предметах. Рим действует на нервы, поддерживает натянутое состояние восторженности — может, оттого-то у него и было столько героев и столько фанатиков. Неаполь нельзя не любить, и если б вы только пробыли в нем один день, всю жизнь стали бы вспоминать со вздохом об этом дне.

А. И. ГЕРЦЕН. *Письма из Франции и Италии* //
Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 107-108.

После шумного и безалаберного Неаполя Рим производит впечатление серьезного и хмурого города. В Неаполе все время вы чувствуете, что город наполовину существует туристами, что для туристов и все эти магазины с роскошными витринами, и все эти бесконечные ряды отелей, и рестораны, и уличные оркестры, и villa nationale, и чуть ли даже не сам Везувий. В Риме не то. Чувствуется, что у него своя собственная жизнь, у каждого свое дело, и на вас никто не обращает внимания.

479

С. ГЛАГОЛЬ. На юг. *Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию*. М., 1900, с. 189.

М. ОСОРГИН

1913

480

Рим — это сама Италия, сумма всей Италии, но не современно промышленной, а Италии вне возраста, Италии вековой. И как непохож на него Неаполь, шумный, драчливый, распутный и жульнический, хотя порою прекрасный! Но и Неаполь — чисто итальянский город, в полную противоположность Милану, Турину и Венеции. Неаполь — il paese di ciccagna, обетованная страна сытого и веселого безделья; не так обстоит дело в действительности, но так мечтает южный итальянец, и так называет он свою любимую столицу. Неаполитанец — синоним романтического, веселого проходимца, как римлянин — гордого предками простака...

М. Осоргин. *Очерки современной Италии*. М., 1913, с. 76–77.

СУДЬБА НЕАПОЛЯ

К. БАТЮШКОВ

1819

481

Прелестная земля! Здесь бывают землетрясения, наводнения, извержение Везувия с горящей лавой и пеплом; здесь бывают притом пожары, повальные болезни, горячка. Целые горы скрываются, и горы выходят из моря; другие вдруг превращаются в огнедышащие. Здесь от болот или испарений земли вулканический воздух заражается и рождает заразу: люди умирают как мухи. Но зато здесь солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен и сладок! Все имеет свою выгодную сторону; Плиний погибает под пеплом, племянник описывает смерть дядюшки. На пепле вырастает славный виноград и сочные овощи...

Письмо А. И. Тургеневу 24 марта 1819 г.

С. ЩЕДРИН

1820

482

Сегодняшний день, должно думать, у Везувия праздник и много стряпают, ибо и он дымил чрезвычайным образом, на что, смотря из своего окошка, я беспрестанно восклицаю: “Какая великолепная страна, — кажется, здесь Бог показывает людям приятности с чудесами, одним дает наслаждаться, но тут же грозит наказанием, кто не умеет оным пользоваться”.

Письмо родным, сентябрь 1820 г.

В. ЯКОВЛЕВ

1847

483

Вот дымится он, мрачный Ариман этого лучезарного эдема. У подножия его, под массами вулканического пепла, лежит мертвая Помпея — прелестная любовница, пораженная в минуту гнева; Помпея со своими разрушенными храмами и уцелевшими гробницами, с непоблекшими сладострастными фресками и обгорелыми скелетами. И тут же, на этом вулканическом основании, нежится, до рокового часа, белеющая вереница палатцов, вилл и хижин Портичи, вереница, сливающаяся с Неаполем. Облитый солнцем, Неаполь дремлет на своих прибрежных холмах, точно одалиска, отдыхающая после купанья...

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 86.



А. ГЕРЦЕН

1848

486

Я думаю, если б везде был такой воздух, такой климат и такая природа, то было бы гораздо больше счастливых и беззаботных грешников. С религиозной точки зрения нельзя допустить, чтоб люди жили на этом сладострастном берегу, и почему знать — может, усердные молитвы первых христиан много способствовали к извержению Везувия, погубившему Помпею и Геркуланум? В самом деле, здесь, в теплом, влажном, вулканическом воздухе, дыхание, жизнь — нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное. Самый сильный человек делается здесь Самсоном, остриженным под гребенку, готовым на всякое увлечение и не способным ни на какое дело. Беда, если к тому же кто-нибудь докажет, что именно увлечение-то и есть жизнь, а дела — вздор, что их совсем и делать не нужно... Тут-то бы, кажется, и развиваться человечеству — так нет. Судьба этого удивительного края самая жалкая. Неаполь лишен даже тех блестящих и ярких воспоминаний, которыми себя утешали другие города Италии во время невзгоды. Он имел эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имел. Старый Рим бежал умирать в его объятия, и, разлагаясь в его упоительном воздухе, он заразил, он развратил весь этот берег. А потом

На предыдущем развороте: Неаполь.
Набережная Santa Lucia (фото 1890-х гг.).

487

один враг за другим являлись его тормозить и мучить; Неаполь служил приманкой всем диким завоевателям — сарацинам и Гогенштауфенам, норманнам и испанцам, анжуйцам и Бурбонам. Ограбивши его, не оставляли его в покое, как другие города, в нем жили — потому что в нем хорошо жилось. Как же было не образоваться такой черни, как лаццарони, помесь всех рабов, низший слой всего побитого, осадок десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся!

А. И. Герцен. *Письма из Франции и Италии*
(1848) // Сочинения в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 105, 108.

1863

Завтра мы едем отсюда, и мне почти жаль Неаполь. С ним скоро сживаешься, как с некоторыми женщинами, наперекор разуму и в прямом отношении к их недостаткам и слабостям. Неаполь, может, потому и нра-

вится, что он так же неисправим, как они. Геология и история сделали все, чтобы он покаялся и шел в путях благочестия, но на него ничего не действует, или хуже — все подстрекает его идти в противоположную сторону. Везувий, Низида, катакомбы — эти грубые угрозы, эти гуртовые *memento mori* <помни о смерти> притупили здесь свое жало, и “Гетера, пляшущая на Геркулануме, т. е. на гробовой доске”, пока, до лавы, так же мало заботится о ней, как Лаура в “Дон-Жуане” о том, что в Париже холодно. Глядя на струйку дыма, напоминающую, что Везувий не умер, а только спит, никто не думает об извержении... Эта художественная бездушность, эта беспечность ребенка и куртизанки — вдохновение Неаполя. Его ничем не возмущаемая жажда наслаждений увлекает в круговорот его вихря его поклонников и притупляет в них все чувства, кроме чувства красоты. Нецеремонный эпикуреизм этого края — не новость; это его геологическая физиология. При входе в один помпейский дом выкладено камнем “*Salve lucrum*” <Привет барышу>. Какое наглое простодушие! Какая отвратительная откровенность! Только на этой вулканической корке, звенящей местами под копытом лошади или под

брошенным камнем, могла прийти в голову эта циническая надпись, и не только прийти в голову, но и быть исполнена отличной мозаикой. “*Salve lucrum*”, а вместо барыша пришла лава. Везувий перехитрил остряка, ему бы догадаться и написать еще вместо “*Cave canem*” <Берегись собаки>, как его сосед, “*Cave montem*” <Берегись горы>. Но вот он, колоссальный *cave montem*, вышедший из тысячелетней могилы, вот он, скелет целого города, стяхнувший с себя пепел. Неаполитанец сквозь его каменные ребра весело смотрит на свежую зелень, на зреющие лозы и, стоя на террасе Диомедова дворца, думает, хорош ли будет сбор винограда в эту осень. А там, залет ли лава Портичи или что-нибудь другое, дохнут ли потеющие, непроставшие солфатары своим отравленным дыханием, и скоро ли его самого (если он бедный человек) стащат едва умершего, полунагого, без имени в темную яму темных катакомб, где такая же теснота трупов, как живых на улице, — до этого ему дела нет!

А. И. ГЕРЦЕН. *С континента. Письмо из Неаполя.*
Post scriptum (1863). // Сочинения в 30 тт. М., 1959, т. 17, с. 287–288.

Н. ЛУХМАНОВА

1898

490

Я часто и подолгу жила в Европе, но города, подобного Неаполю, не встречала нигде... Нигде не чувствуешь себя с такою силою, как здесь, царем природы, человеком, которому подвластны и море, и земля, и горы; нигде не чувствуешь себя таким ничтожеством, робким маленьким созданием Божьим, которому нужна защита и покровительство — от моря, вдруг раздражающегося бурей, когда разъяренные волны бросаются на город, смеются над гранитной набережной, вырывая громадные плиты, унося, как добычу, вековые деревья и, напугав, заставив дрожать человека в бессилии, уходят и снова нежно, робко шурша, лижут каменистый мол, баюкают лодки рыболовов, доставляя им богатую добычу; от Везувия, верхушка которого вечно напоминает человеку о страшной разрушительной силе, о мертвых городах, лежащих у подошвы горы, о тысячах людских жизней, погибших от одного ее дыхания.

Н. А. Лухманова. *В волшебной стране песен и нищеты* (1898). СПб., 1899, с. 6-7.

С. ГЛАГОЛЬ

1900

491

Весь северо-западный склон вулкана покрыт лавою и трещинами, которые вечером рдеют зловещим огнем и делают весь этот склон похожим на гигантскую кучу угля, потухшую сверху, но горящую где-то внутри... Когда выйдешь ночью на балкон и смотришь на эту рдеющую огненную массу, высящуюся над уснувшим городом, и когда сообразишь, что эта раскаленная лава видна за какие-нибудь пятнадцать верст, невольно становится как-то жутко на душе и начинаешь совершенно не понимать, как могут спокойно жить люди в тех беленьких домиках, которые рассыпаны по горе, чуть что не у самых огнедышащих трещин. Но человек ко всему привыкает, а Везувий к тому же приносит и хороший доход.

С. Глаголь. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию*. М., 1900, с. 169.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕЗУВИЙ

492

А. БРЮЛЛОВ

1824

Другой день назначен был Везувию. Прибыв в Портичи и взяв ослов, пустились <братья Брюлловы. — А.К.> вверх к Везувию. Дорога с каждым шагом становилась все поразительнее: с одной стороны необозримый и прекрасный вид, с другой стороны сады, хорошо обработанные, еще несколько шагов — и взору открывалась ужасная пустота застывших волн огненного потока лавы. Наконец мы достигли хижины, построенной на некотором возвышении и, можно сказать, на половине дороги. Отдохнув несколько, мы отправились далее; я первый слез с осла и начал всходить на крутизну; пройдя некоторое расстояние, я начал удивляться, как могли называть сей путь трудным, и думал, что никаких препятствий уже не будет; но с каждым шагом встречал новые препятствия, так что, наконец, почти не мог уже вперед подаваться, утопая в песке и золе и катясь назад; но с большим усилием достигли вершины; солнце уже

клонилось к западу, вся природа начинала покоиться, только в кратере раздавался глухой шум от падающих камней, которых мы почти не могли рассмотреть в дальнем расстоянии, ибо окружность кратера имела 3 итальянских мили, или 5 верст. Маленький дым курился из кратера; ночью мы заметили маленькие огни, однако никаких следствий не было. В Неаполе многие думали, увидавши огонь на Везувии, что это было маленькое извержение...

Письмо родителям, 8 мая 1824 г.

М. ПОГОДИН

1839

494

Чудное утро! Нанимаем коляску и отправляемся... Лишь только приехали мы в Резину, предместье, где нанимаются проводники, как они окружили нас со своими ослими, рычащими изо всей силы; а хозяева их кричали еще громче. Скорее наняли сколько было надо, чтоб избавиться от остальных, — и в поход!.. За предместием тотчас дорога поднимается круто и тянется между огородами по каменной мостовой узкой полосе, которая часто оборачивается из стороны в сторону, однообразная, скучная, утомительная... При подошве Везувия, через два часа пути, мы выпили по стаканчику вина и отправились уже пешком, а жена на носилках, потому что ехать вскоре стало невозможно. Народу набралось за нами множество: кроме разносчиков, провожатых и носильщиков пристало множество ребятишек в ожидании нескольких гранов или копеек; часть осталась с ослими и ненужными вещами, другая понесла за нами верхнее платье... После нескольких отдыхов, часов через пять, мы достигли благополучно вершины и расположились под маленькой тенью, сочиненной наскоро нашими вожаками. Тотчас положили они в камни яйца, кои через минуту и сварились, и завтрак был готов. С удовольствием

выпили мы, усталые, по стакану вина, закусили и пошли вокруг широкой енды <чаши> кратера. Шевырев звал было меня поближе ко дну, я последовал, как вдруг в двух местах вспыхнул огонек, с шумом поднялся дым, обсыпались камни, и я назад... Спускаться легко и забавно — по золе, успевай только вытаскивать ноги. Так и едешь или спалзываешь вниз, зола подсыпается и увлекает вас все ниже и ниже. Очень скоро, кажется в час, достигли мы до наших ослов, расплатились с лишними адъютантами и пустились в обратный путь... Чтобы дать понятие о дешевизне, я скажу здесь, что все путешествие на Везувий, с ослими, проводниками, завтраками на вершине, с коляскою, на которой мы выехали из дома и воротились домой, обошлось нам двоим в 12 рублей; носильщикам, которые несли мою жену на носилках до самого кратера, 5 рублей с небольшим.

М. П. Погодин. *Год в чужих краях. Дорожный дневник* (1839). М., 1844, ч. 2, с. 180-183.



В. ЯКОВЛЕВ

1847

498

Погибший Геркулан — это мрачная картина, достойная кисти Сальватора Розы. В двух шагах оттуда ожидала меня сцена, которая могла бы быть передана только мастерским карандашом Гогарта. Толпа людей с накинутыми на одно плечо куртками атаковала меня на улице: толщина моих подошв была подмечена, намерение мое взобраться на Везувий — открыто... С криком на все существующие и несуществующие лады смуглые, мускулистые парни геройски навязывались в проводники; веттурины из всех сил хлопали бичом, зазывая меня в свои читадины, и подвигались ко мне как будто с решительным намерением переломить мне колесами ноги; другие, нимало не сообразуясь с размерами моих членов, совали мне в руку поводья оседланных лошаков и ослов, которые были неприличного роста дворовой собаки. Сквозь эту пеструю, крикливую толпу я с трудом проложил себе путь до конторы патентованных жокайтов. Нахожу, что это самая затруднительная часть пути на вулкан. Я вскочил на доброго коня — и оставил весь этот муравейник в облаке пыли. Проводник объявил, что следовать ему за мною пешком нет ни малейшей возможности и что я должен выдать ему шесть карли-

нов, для найма осла. Деньги отсчитаны, но лишь только итальянец положил их в свой карман, как почувствовал особенную, до той поры не подозреваемую легкость, прыть в ногах и стал уверять меня, что ему было бы лестно бежать за мною пешком, лишь бы сберечь шесть карлинов, которые он не привык тратить на такие пустяки... Я был неумолим, как филантроп, и заставил бедняка сесть на осла. Мы ехали между виноградниками, которыми покрыта подошва Везувия. Далее — серая, угрюмая пустыня. Это море лавы, некогда бушевавшее. Конь мой шагал по старинным руслам огненных потоков. Проводник, указывая на различные слои лавы, пытался определить мне эпохи нескольких извержений. В самом деле, по этим пластам лавы можно прочесть всю историю Везувия. Часа через два езды мы были на платформе San Salvatore. Это маленький оазис посреди безмолвной пустыни; несколько деревьев отеняют каменный домик. Здесь меня встретили две почтенные особы, анахореты по одежде, трактирщики по ремеслу. Как усталому страннику, они поспешили оказать мне гостеприимство, и на столе явилась бутылка *Lacsuma Christi*. Но я уже в Неаполе познакомился с этим вином:

499

На предыдущем развороте: Лава
на склонах Везувия (фото конца XIX в.).

огонь неаполитанского неба и вулканическая почва, на которой зреет виноград, придают этой золотистой влаге какое-то одуряющее свойство. Я поблагодарил отшельников и поспешил насытить мои глаза зрелищем блистательной панорамы, открывавшейся с этой высоты. *Camagna Felice*, озаренная розовым и золотым блеском вечера, расстилалась подо мной, как эдем, охраняемый со всех сторон горами, которые принимали различные оттенки опалов. Улыбающиеся виллы дремали посреди лавровых и миртовых садов. Неаполь, покоящийся на скате зеленых холмов, — это ленивая нимфа, опускающая свои белые ноги в ярко-синие волны... Сумрак пал. Я зажег мой факел и пожелал пустынным доброй ночи. Через несколько минут я был уже у самой кручи горы. Отсюда кажется, что вершины можно достигнуть менее чем в четверть часа. Дорога крута. Ноги тонут в сыпучей золе, но я шагаю с энергией отъявленного туриста и оставляю проводника далеко за собою. Чтобы подвинуться вперед на шаг, надо шагнуть три раза. Это работа Сизифа. Энергия, с какою вы пошли на приступ, скоро ослабевает, ваш посох медленнее и глубже упирается в сугробы золы... Между тем сумрак густеет, но ка-

кой сумрак! Это голубое небо, опускающееся на землю. Живописцы признаются, что такого колера на палитре не существует... Ветер потушил мой факел. Я продолжал подниматься среди глубокого мрака. Вдруг путь мой озарился адским блеском. Я был уже во владении огня: желтые следы его прикосновения заметны здесь на каждом камне; но ни кратера, ни пламени не видно до той минуты, покуда не ступишь на вершину... Часть площадки, отделявшей меня от кратера, волновалась; толстая кора вулкана лопалась, раздиралась на полумы, на мелкие куски; широкие трещины сияли кровавым огнем, и из них со свистом вырывался густой желтый дым... Вдруг облако дыма над кратером побагровело, послышался шум подземных громов, вся громада Везувия страшно дрогнула, и широкий сноп ослепительного огня вырвался из жерла... Багровые шары высоко взлетели к небу посреди огненного дождя пепла: это раскаленные камни, кубы фута в два величиною, отрываемые силою огня от внутренних стен кратера. Меня уже предупредили, что этих каменных ядер нечего бояться. Брошенные вверх перпендикулярно, они падают в том же самом направлении в жерло или на закраины его... Я покушался взо-

И. АКСАКОВ

1857

браться на самый конус, до края широкой бездны, но колебавшаяся под моими ногами кора кратера и новые взрывы вулкана остановили меня на полпути. По скользким сугробам золы я скатился назад на площадку, ошеломленный, черный, опаленный... Я провел ночь на вулкане. Луна взошла поздно. Мой вожатый разнежился, лежа в теплой золе, и заснул как убитый... Я глядел вниз. Под ярким блеском итальянской луны море сверкало и ясно обозначилось белеющими зданиями полукружие берегов Неаполя; ночные огни, и неподвижные, и перебегающие, один за другим постепенно погасали. Утро было близко.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 72–79.

Был я на Везувии, всходил на самый Везувий, видел кратер, извержение, текущую лаву. Для одного Везувия можно приехать нарочно из России. Теперь извержение, и поэтому входят очень многие, даже дамы: последних большей частью вносят на носилках. Все восхождение продолжается 2 ½ часа. Сначала верхом до подошвы самого конуса, а на конус надо было взбираться пешком. Ноги уходят в лаву, превратившуюся в песок, конус почти перпендикулярен, и мучительнее восхождения я вообразить не умею, даром что меня подтаскивали на веревке двое провожатых... Но когда я влез на гору — мигом забыл всякую усталость. Великопнее, ужаснее, торжественнее зрелища создать нельзя. Со страшным шумом и ревом, возвещающим невидимую таинственную работу стихий в преисподней земли, вырываются из двух жерл (старого и нового, открывшегося в 1855 г.), дымясь и беснуясь — два огненные языка; в подлинном смысле слова кратеры будто изрыгают, вместе с огнем, камни, серу и куски раскаленной, как уголь, лавы. Мы подходили (т.е. я, один итальянец из Венеции и человек пять провожатых) очень близко, только, разумеется, на самое горло взлезть уже нельзя по случаю извержения,

Б. ЧИЧЕРИН

1859

однако же оно от вас вышиною не более двух саженей. Вы стоите на коре лавы, т.е. на лаве, отвердевшей и застывшей волнами, толщиной в пол-аршина, — но под этим слоем везде лежит лава раскаленная, как уголь, что вы видите сквозь трещины; изо всех щелей этого черепа горы поднимается дым; словом, на пол-аршина над вами — море огня, лава хрустит... Мы закурили сигары на огне Везувия, т.е. на выброшенном им при нас куске лавы.

И.С. Аксаков в его письмах. М., 2004, т.3. С. 339-340.

Я совершил восхождение и на Везувий, и притом в особенных обстоятельствах. В то время было извержение, но не из кратера, а из бокового ущелья. Ночью из Неаполя виднелась огненная полоса, как горящие угли. В Неаполитанском заливе стояли тогда два русских фрегата, на одном из которых был Григорович (известный литератор Д.Н. Григорович — А.К.). Однажды мы обедали в ресторане с ним и с двумя капитанами. Они предложили съездить ночью на Везувий посмотреть извержение. Большое шоссе было перерезано лавою; мы наняли ослон и взяли проводников, которые должны были вести нас окольными путями. Дорога в ночной темноте была убийственная; мы карабкались по невероятным тропинкам, а иногда и вовсе без тропинок, по крутым скатам и кустарникам. Наконец, после трех часов такой езды, мы совершенно измученные добрали до Эрми-тажа. Тут мы думали несколько отдохнуть, но нашли только крошечную комнату с несколькими деревянными стульями. Спросили поесть; ничего не было. Монах принес нам только бутылку вина, которая оказалась укусом, так что в рот нельзя было взять. Что было делать? Мы решились пешком, через груды лавы, идти на то ме-

А. ЧЕХОВ

1891

сто, откуда видно было извержение. Шли, шли, медленно подвигаясь с помощью факелов во тьме крошечной, по невообразимым кочкам, на которых можно было переломать себе ноги. Вдруг проводники объявили, что у них факелы погасли, и что надобно возвращаться назад. Тут уже я взбунтовался и решительно сказал, что останусь сидеть на лаве, пока они не вернуться с новыми факелами. Так мы и сделали. Насилу, наконец, мы добрались до желанного места, но тут перед нами открылось действительно невиданное зрелище. Мы стояли над извержением и видели под собою долину, представляющую настоящий ад. Огненные потоки непрерывно, то здесь, то там пробивались сквозь землю и текли медленными ручьями, пока постепенно не застывали. Воздух наполнен был смрадом, а лава кругом была такая горячая, что один из проводников завернул в кусок мягкой лавы медную монету, которую я сохранил. Налюбовавшись этим необыкновенным зрелищем, мы съехали обратно и к утру уже остановились отдохнуть в Геркулануме.

Воспоминания Б.Н. Чичерина.
Путешествие за границу. М., 1932. С. 81.

Осмотрев Помпею, завтракал в ресторане, потом решил отправиться на Везувий. Такому решению сильно способствовало выпитое мною отличное красное вино. До подошвы Везувия пришлось ехать верхом. Сегодня по этому случаю у меня в некоторых частях моего брэнного тела такое чувство, как будто я был в третьем отделении и меня там выпороли. Что за мученье взбираться на Везувий! Пепел, горы лавы, застывшие волны расплавленных минералов, кочки и всякая пакость. Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело... Идешь, идешь, идешь, а до вершины все еще далеко. Думаешь: не вернуться ли? Но вернуться совестно, на смех поднимут. Восшествие началось в 2 ½ часа и кончилось в 6. Кратер Везувия имеет несколько сажен в диаметре. Я стоял на краю его и смотрел на него, как в чашку. Почва кругом, покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера валит белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит и храпит сатана. Шум довольно смешанный: тут слышится и прибой волн, и гром небесный, и стук рельс, и падение досок. Очень страшно и притом хочется прыгнуть в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени высокую температу-

С. ГЛАГОЛЬ

1900



Извержение Везувия (1872 г.).

ру, что в ней плавится медная монета. Спускаться так же скверно, как и подниматься. По колена грузнешь в пепле. Я страшно устал. Возвращался назад верхом через деревушки и мимо дач; пахло великолепно и светила луна.

Письмо родным 7 апреля 1891 г.

Если вы смотрите на Везувий днем, когда он тонет в дымке синеватой дали, он не производит особенного впечатления. На него смотришь, как на какую-то декорацию, неизбежную при виде на Неаполь. И белое облачко на его вершине кажется таким же неизбежным аксессуаром, и только вечером, в сумерки, начинаешь чувствовать к этому великану некоторое почтение. Весь северо-западный склон вулкана покрыт лавой и трещинами, которые вечером рдеют зловещим огнем и делают весь этот склон похожим на гигантскую кучу угля, потухшую сверху, но горящую где-то внутри... Когда выйдешь ночью на балкон и смотришь на эту рдеющую огненную массу, высящуюся над уснувшим городом, и когдаобразишь, что эта раскаленная лава видна за какие-нибудь пятнадцать верст, невольно становится как-то жутко на душе и начинаешь совершенно не понимать, как могут спокойно жить люди в тех беленьких домиках, которые рассыпаны по горе, чуть что не у самых огнедышащих трещин. Но человек ко всему привыкает, а Везувий к тому же приносит и хороший доход. Вся масса туристов, посещающих Неаполь, считает своим долгом подняться на Везувий и заглянуть в его кратер, и благодаря этому

перед вами целая серия контор и проводников, обративших Везувий в свою оброчную статью. Подняться на Везувий можно самыми разнообразными путями. Самый простой и легкий — это железная дорога, которую устроила и довела чуть ли не до самого кратера компания Кука, но это способ не дешевый. За удовольствие подняться и спуститься по этой дороге надо заплатить по 25 франков с персоны, а если принять во внимание разные добавочные расходы, то и все 30... Мы решили подняться на Везувий более поэтичным манером. Добрые люди посоветовали нам избрать путь от Помпеи, так сказать, по пути сгубившего Помпею извержения. Едем в Помпею. Здесь оказывается, что отель “Диомед” завладел наилучшим путем на Везувий и требует за доставку к кратеру частью в экипаже, а частью верхом и пешком по 15 франков, предупреждая, что вверху придется снова платить по 4 франка, да потом еще что-то, т. е. в сущности те же 25–30 франков. Мы, конечно, возмущаемся и указываем, что за эту цену мы могли бы подняться и по железной дороге Кука, но “Диомед” непоколебим. Тогда на выручку приходит Hôtel Suisse и предлагает нас доставить тем же путем, что и “Диомед”, но всего за 7 франков с чело-

века. Сначала мы колеблемся ввиду такого быстрого падения цен, но толстый и добродушный владелец отеля быстро побеждает нас своим красноречием... Садимся в пролетку приготовленного нам извозчика и, действительно, очень быстро приезжаем в какую-то деревушку “на полпути”, где мы должны сесть на лошадей. Начинается некоторое разочарование. Лошади выглядят очень хмуро, седла рваные, уздечки в узелках, но проводник продолжает уверять, что это лучшие лошади в околотке и что у них быстрый и покойный аллюр. Делать нечего. Садимся и трогаемся в путь. Оказывается, что одна кляча немилосердно трясет, а другая спотыкается чуть не через каждые пять шагов и в довершение удовольствия, как только вы прибавляете шагу, так провожатый ваш хватает лошадь за хвост, для того чтобы ему было легче бежать за вами. Но не возвращаться же назад, и потому едем. К тому же с каждым шагом поднимаемся выше и выше, и кругом открывается такая панорама, что уже не хочется остановиться и хочется увидеть ее поскорее во всей красе. Скоро все виноградники остаются позади, а с ними исчезает и всякий признак дороги, и мы едем просто целиком по пеплу, на котором кое-где

видны следы лошадиных копыт... Вдали показывается беленькое строение, и проводник объявляет, что это остерия, устроенная для отдыха, и требует, чтобы мы дали вздохнуть лошадям... Нечего делать, заезжаем в остерию. Там, очевидно, тоже приготавливались содрать с нас несколько франков и уже поставили в беседке на стол стаканы и фиаски с вином. Отдыхаем десять минут, выпиваем вино и снова двигаемся в путь. Впереди уже нет даже и лошадиных следов, и едем уже совсем целиком по пеплу... Вокруг такая безотрадная картина, точно вы не в нескольких верстах от Неаполя, Сорренто и Капри, а где-то в сожженной африканской пустыне... А вот и настоящая лава. Из глубокого слоя серого пепла торчат какие-то странные темные массы. Точно гигантская рука смесила какое-то черно-коричневое тесто и набросала его кусками... А между тем подъем все круче и круче, и перед нами уже виднеются жалкие шалаши из кусков лавы с несколькими пучками соломы вместо крыши, где мы должны оставить лошадей. Смотрим вперед и наверх и приходим в полное отчаянье. Перед нами еще большая половина пути и пути по уклону почти в 45 градусов, а среди покрывающей его лавы никаких при-

знаков даже тропинки. Очевидно, к такому настроению путников здесь привыкли, и откуда-то из-за глыб лавы со всех сторон является десяток оборванцев, которые предлагают вам взбираться на кручу, держась за веревку, или даже предлагают нести вас на носилках. И за все это, конечно, тоже десятки франков. Являются и продавцы воды и вина, предлагающие вам стакан воды за франк или стакан скверного вина за три франка... Утешаем себя тем, что ругаем проводника на всевозможных языках, и снова карабкаемся дальше... Перед нами сложенный из кусков лавы забор и в пролете этого забора муниципальная стража города Резины, требующая с нас по четыре франка за удовольствие взойти за забор. Платим по четыре франка, покидаем своего проводника у ворот и под конвоем нового идем дальше. Идти уже легко... и через несколько секунд мы на краю кратера. Но — увы! — все-таки смотреть не на что. Перед нами громадная воронкообразная яма, наполненная клубами густого смрадного серного дыма, который скрывает все от наших глаз... Говорят, что ночью впечатление гораздо сильнее и грандиознее, но для того чтобы подняться на гору ночью, нужны крепкие ноги и надо приехать с вечера и

В. РОЗАНОВ

1901

515

остаться до утра. Разочарованные, начинаем спускаться. Это, конечно, уже несравненно легче подъема, и местами прямо можно катиться по гудам пепла, как по снежной горе. Только ноги при этом уходят по щиколотку в пепел и обувь превращается совсем в лохмотья... Невольно вспоминаем мы совет одного из путешественников, тоже побывавшего на Везувии и не выдавшего там ничего, кроме массы вырывающегося из кратера дыма. Он советовал на Везувий совсем не ходить и всем говорить, что вы там были. Но если вы, читатель, не послушаетесь и все-таки захотите заглянуть в кратер, то не следуйте нашему примеру и поезжайте с Куком.

С. Глаголь. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию.* М., 1900, с. 169-182.

Уже плечи начали ощущать часам к двум дня первый горный холодок, знакомый мне по Кавказу и Альпам. Это — не наш липкий, сырой холод равнин. Горный холодок свеж, приятен, возбуждительно. Точно воздушное шампанское струится около щек, забирается за галстук, под рубашку, стирает пот с вас и берет усталость. “Вперед! Дальше!” — “Lava, signori”, — обернулся кучер. Нас сидело в ландо четыре персоны. По узкой, неудобной, крутой и недовольно ровной дороге тянулось шагом 8-10 ландо, тянулось утомительно, долго, трудно, скучно. Уже миновались бесконечные неаполитанские улицы, по которым, незаметно для себя, мы выехали прямо к подножию Везувия. “Вот он!” — до сих пор видный только издали... Первая лава не была интересна. Местами виноградники прерывались, в земле показывался излом, и видно было, что это текучая земля или текучий фундамент земли, по ее особому сложению. Кругом земля была необыкновенно тщательно разработана. “Это виноград, из которого готовится вино «Lacrime Christi» <Слезы Христа>”. Местное недорогое и не очень вкусное вино, бутылку которого нам подали на дороге. Вообще, все время пути идет маленькая торговля: вам



подают в экипаж то роскошные желтые розы, то подносят лоток с изделиями из лавы, то предлагают апельсинов, сок которых около Неаполя и вообще в Италии часто заменяет воду. Или вдруг к экипажу подходят 5-6 человек, стариков и молодых, мужчин и женщин, со скрипками и флейтами. Не обращая внимания на равнодушные или даже раздраженные лица едущих, они играют маленькую серенаду и, кончив ее, протягивают шапку, чтобы получить несколько “centesimo”. Все это раздражает; но, наконец, и все это нужно человеку, и вы любуетесь на его цепкость существования. Как на самом кратере Везувия еще растет последняя травка, так на последнем возможном пункте, вот на минуте случайного вашего “partie de plaisir” <увеселительная прогулка — фр.>, все еще живет и ползет человеческая деятельность, человеческий труд, человеческая озабоченность друг о друге. Ибо что такое труд этого музыканта, или фигляра, или коробейника? Где-то в углу, в избенке, почти в хлеве, у него ползают затерянные ребятишки, хлопочет около очага старуха, и старик муж или старик отец берет балабайку и звенит вам в нос нелепую песню, равнодушный к вам, вашему удовольствию или ругательству, чтобы

принести домой маленькие “massagioni”... — “Вы что-то задумались? Да смотрите же кругом!” — Действительно, последние виноградники исчезли. Шла травка или мелкий кустарник; кое-где издали виднелось человеческое жилье. Мы ехали одни, отстав от одних экипажей, оставив за собою другие. Лошади страшно трудились. Везувий был прямо перед глазами; огромный, очевидный. И кругом, кругом... Это не были бока вулкана, а как бы целая страна, уезд, перековерканный, изломанный, черный, отвратительный и страшный. Чувство планетности нашей жизни вдруг охватило меня. Никогда ведь оно не доходит до сердца. Живем в Петербурге, а не на земном шаре, на Шпалерной улице, а не в части света, именуемой “Европа”. Вообще чувство земного шара, особое космическое чувство, устранено из нашего психического состава; это чувство огромное, ужасное, новое — и вдруг оно полезло в меня, маленького, бессильного его вместить и, однако, долженствующего вместить... Лава гадка. Есть для нее неудобное в печати сравнение. Черные горы навалены одна на другую, ползут, скашиваются, переламываются, пучатся пузырями и пещерами и наконец вьются чудовищными переплетающимися

жгутами, очевидно, вчера жидкие и огненные, сегодня черные и холодные. Это “вчера” было тысячу лет назад; но тут, в этой единственной точке, века — как один день. Ведь ничто не вырастает здесь, не движется, не перемещается, и вечный покой вида действительно сближает столетия до Рождества Христова и после Рождества Христова как бы в утро и вечер одного дня. Для Везувия извержение — это секунда жизни, настоящего бытия; но когда нет извержения — что для него века! Их нет, для него нет; а следовательно, и нет для него времени, кроме часов, когда он чудовищно зашевелил челюстями, сожрал два города и заснул нимало не сытый. “У, чудовище!” — вот мысль путника. “Земля, я чувствую тебя!” — вот другая еще мысль. И как были правы древние, одушевив вулкан. Его извержения, в их холодном, черном цвете, в самом деле напоминают до гадких подробностей о какой-то минутно бурной болезни планеты, что-то неудобное сожравшей и не смогшей переварить сожранное. Да, боль планеты — вот идея извержения, которую вы вдруг начинаете чувствовать, видя несомненные последствия болезни. Слишком все подробно перед глазами, и это огромное проистекает не из жизни этого

Неаполя, не от мелких биологических ниточек бытия на земле, а от бытия и биологии самой земли, ее самой! Земля, о, какое ты чудовище!.. “Неужели же мы там поедем?” — спросил я, увидя какую-то ленточку не перед глазами, но скорее над головой. Мне сказали, что это — железная дорога. “Не хочу! Не хочу!” Но я не смел этого сказать, а только чувствовал... Лошади наконец остановились... Сели завтракать. Куверты, тарелки, прислуга во фраках — все как обыкновенно, как в Смоленской губернии, где я тоже с почтовых лошадей бывало пересаживался в вагон. А вот подали и вагоны. Все встали из-за стола. Нас провели в узенькую деревянную постройку, похожую на сарайчик, и, при помощи служителя перепрыгнув через широкую щель между вагоном и полом станции, мы очутились в крошечном вагончике. Это — с потолком и полом ящик, с крошечными скамеечками для двух и перильцами. Я рассмотрел, что поезд идет по одному, посередине поставленному огромному и высокому рельсу, т. е. он идет как бы совершенно неустойчиво, готовый сковырнуться набок, и тянут его железные канаты... Неаполитанский залив, Сорренто, Каstellамаре, руины Помпеи, острова Капри и далекая Искья — все

поплыло перед очами вниз. “Воздух, откуда этот воздух, он давит меня”. Почти сейчас же и до конца поднятия мною овладел такой ужас, какого я никогда не испытывал. Это не был страх смерти, это было страшное положение, совершенная отмена прежних условий жизни и наступление новых... Положение путника, когда не работаешь, а только созерцаешь, увеличивало страх. Я замечал, еще гимназистом, на Волге, что когда в бурю сам гребешь в лодке — ничуть не страшно; но когда только едешь на лодке, а гребут хотя бы взрослые и уверенные в своих силах мужики, ужасно страшно. Деятельность вводит в подробности; видишь весло, а не бурю, спину товарища, а не волну, которая тебя опрокинет. Так и в поднятии на Везувий. Механические средства передвижения, сделав физически безопасным поднятие на него, не только не сократили, но до известной степени впервые открыли в полном объеме метафизически страшную сторону этого поднятия. “Вы только сидите, а уж мы вас доведем”. Только сидите? Нет, сядьте вы, пожалуйста, сядьте, а я вас повезу, хоть на собственной спине, побегу под вами колесиком по матери-сырой-земле, мне привычной, мне родной, как это счастливое колесо вагона,

которое видит только тот вершок земли, которого касается. Я вижу планету, как путник, как пассажир вижу — это страшно, к этому я бессилён... Поэтому, когда поезд остановился, я думал не о Везувии, не о “впереди”, а о том, что неминуемо и безусловно я еще раз буду должен спуститься по этой ужасной дороге... “Вперед и вверх”. Но уже глаза были обращены к земле, планета исчезла, настал труд, и я бодро шел вперед, с душой, утомленной пережитым, но без волнения к “впереди”. Почва состояла из обгорелых шлаков, через которые бесчисленные туристы пробили что-то вроде тропы. Через каждые пять минут приходилось останавливаться. Наклон был чрезвычайно крут... Но вот и конец. Перед нами открылась пропасть. Мы стали на губе вулкана... Путники по горизонтальной, слабого наклона, тропке перебирались с этой стороны оврага “на ту”; губа чудовища там срасталась с десной. Дальше шел зев, в который не заглядывал ни один смертный. Я сел. Вулкан дышал. Пары и дымы не струятся из него, а выдыхаются через каждые две-три-пять минут. Он как бы задыхается в своей славе, в своем господстве. “Мне все подвластно, я — ничему...” Губы его — в трещинах, и дым сочится через эти

ПОМПЕИ

трещины. “Как все зыбко, Боже, — как все зыбко здесь!” Стоит пошевелиться чудовищу, поперхнуться — и мы все погibli, и железная дорога порвется, как паутина; он задышит, и покажутся огненные змеи-расщелины, а губы его развалятся, немощно и мощно. “О, ужасный старец, как ты жив и как ты страшен!”

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления. Чудовище* (1901) // Среди художников. М., 1994, с. 77–83.)

К. БАТЮШКОВ

525

1819

Судьба, конечно, не без причины таила около двух тысяч лет под золой Везувия Помпею и вдруг открыла ее: это живой комментарий на историю и на поэтов римских. Каждый шаг открывает вам что-нибудь новое или поверяет старое: я, как невежда, но полный чувств, наслаждаюсь зрелищем сего кладбища целого города. Помпею не можно назвать развалинами, как обыкновенно называют остатки древности. Здесь не видите следов времени или разрушения; основания домов совершенно целы, недостает кровель. Вы ходите по улицам из одной в другую, мимо рядов колонн, красивых гробниц и стен, на коих живопись не утратила ни красоты, ни свежести. Форум, где множество храмов, два театра, огромный цирк уцелели почти совершенно. Везувий еще дымится над городом и, кажется, грозит новою золою. Кругом виды живописные, море и повсюду воспоминания; здесь можно читать Плиния, Тацита и Вергилия и охоту верить музу истории и поэзии.

Письмо Н. М. Карамзину 24 мая 1819 г.

А. БРЮЛЛОВ

1824

526

Первое наше желание <Александра и Карла Брюлловых. — А. К.> было видеть Помпею и Везувий; проехав Портичи, Резину, Торре ди Греко, Торре ди Аннунциата, наконец, увидели мы какое-то пространное возвышение, покрытое недавно насаженной рощею, и нам сказали, что это Помпея. Мы приближались, и нам открылась откопанная часть сего несчастного города. Мы взошли; у входа сидели сторожа-проводники; один из них предложил нам свои услуги и сказал, что это место был малый форум, или место, где собирался народ для торга и других публичных дел... Вид сих развалин невольно заставил меня перенестись в то время, когда эти стены были еще обитаемы, когда этот форум, на котором мы стояли одни и где тишина была только прерываема какой-нибудь ящерицей, был наполнен народом, который, может быть, с заботливостью хлопотал, чтобы приобрести еще что-нибудь и тем увеличить свое имущество, не думая об опасности, им угрожающей, которая их лишила всего ихнего богатства, многих — самого драгоценного — друзей, родственников, других — и жизни. Нельзя пройти сии развалины, не почувствовав в себе какого-то совершенно нового чувства, заставляющего все забыть, кроме ужасного происшествия с сим городом.

Пробежав пустые улицы, вступил я на главный форум, окруженный с двух сторон колоннами, увидел по правую руку храм Юпитера, налево трибунал, напротив базилику, возле храм Венеры, против одного — Пантеон. Представьте себе это, и вы можете понять то чувство, которое мною овладело при сем зрелище. Верхи зданий все обрушились, низы же со всеми вещами, коих тление пощадило, совершенно сохранены. Жертвенники, на коих уже 1800 лет кровь не лилась, стоят на своих местах неприкосновенны. Может быть, жрец, распростертый перед жертвенником Зевса и просивший помощи, и сам Зевс в одно время поражены были перуном Везувия. И после сей ужасной революции стихий в сем городе везде царствует спокойствие и тишина. Сюда пускай приходят рассуждать о тщете! В сем городе еще находятся два театра, свидетели его великолепия. Наконец, я вышел на большую дорогу всего города, где хоронили всех значительных и отличительных особ (Strada dei Sepolcri); надгробные памятники на сей дороге лучше всего сохранились из остатков сего города, точно как бы время, почтя сии памятники, воздвигнутые добродетели, сохранило их для позднейшего потомства, как свидетели их деяний.

Письмо родителям 8 мая 1824 г.

М. ПОГОДИН

1839

528

Большая часть Помпеи лежит еще под золою, покрыта виноградниками, огородами, где мы гуляли, погруженные в задумчивость... Ощущения при осмотре Помпеи ни с чем сравнить нельзя. Вы переноситесь в другой мир. Вся древняя жизнь перед вами, жизнь совершенно особливая. Удивительна судьба Помпеи! Засыпав ее землею, золою и лавою, судьба сохранила в ней для нас образ древнего города, которого мы никак не могли бы воссоздать в такой полноте и ясности по описаниям. Таким образом, погибший город стал полезнее для науки всех городов уцелевших. Хотите ли вы поклониться в храме, воскурить фимиам, учинить возлияние — нет, я забылся, вы христианин; так посмотрите, по крайней мере, на богослужение язычников. У вас есть судебное дело — ступайте к претору. Вот он судит в базилике. Но вы еще не закупили припасов съестных на нынешний день: поспешите на рынок, пока не кончился торг; оттуда на площадь, где решается общее дело; а вот начинается и представление Сенекиной “Медеи” — пора в театр. Дома не придется побыть ни часу. Вся жизнь происходит на улице, на площади. И потому дома все очень малы, тесны, в одно жилье, вокруг квадратной площади,

среди которой бьет фонтан. Пять-шесть комнат, с особыми дверьми с дворика, вот и весь дом. Улицы, или лучше сказать — проулки, узенькие, в коих расходиться трудно, не только что разъезжаться. С улицы домов и не видать: одни стены без окошек. Мы блуждали по бесконечным поворотам, заходя в театр, базилики, храмы, наконец, пришли в улицу гробниц, где древняя жизнь вспоминается еще живее. День в Помпее принадлежит к самым приятным и полным во всяком путешествии.

М. П. Погодин. *Год в чужих краях. Дорожный дневник* (1839). М., 1844, ч. 2, с. 172-174.

В. ЯКОВЛЕВ

1847

530

Нынче все эти неудобства для путешественника устранены железной дорогой, которая в тридцать пять минут времени переносит вас из шумного Неаполя в молчаливую Помпею, и чем быстрее перемещение, тем контраст поразительнее. Это первая, по времени, железная дорога в Италии. Рельсы проложены по берегу моря, у подошвы Везувия... Местами вагон летит мимо лимонных садов и виноградников, мимо олеандровых и миртовых аллей, местами между двумя черными, лоснящимися стенами лавы; — вот поезд нырнул в темный туннель, пробитый в лаве, которою накрыт весь этот берег до Помпеи: несколько секунд летим во мраке посреди клубящегося пара и оглушительного гула, — и снова мы под блистательными лучами солнца, мчимся поперек улиц людного селения, осыпая искрами любопытных, сбегających позевать на проезжающих... Вот еще станция: ярко выбеленный домик, и на нем надпись: Pompei. Помпея — станция железной дороги! За этим домиком возвышаются холмы серого вулканического пепла, весьма похожего на высохшую землю, скрывается знаменитый мертвый античный город. Большая часть его до сих пор еще не открыта, и на массах пепла и земли, покрываю-



Помпеи (фото 1865 г.).

щих фронтоны его зданий, зеленеют виноградники, зреют персики и абрикосы. Широкая, плодородная полоса земли отделяет ныне Помпею от моря, на котором до знаменитой катастрофы, по свидетельству Тита Ливия, этот город имел значительный порт.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 160-163.

М. НЕСТЕРОВ

1889

532

Долго бродил я по этому мертвому городу. Целые улицы с разрушенными домами... Вот Via Annunziata, дальше Via Diamea. Вот кладбище, в стороне форум, тут и там развалины храмов, дворцов, все это когда-то жило, поражало красотой, теперь же изредка пробежит как угорелый, с книжкой в руках, англичанин, все ему нужно, все обнюхает. А вот и Везувий. Это его соседство надделало тут такие чудеса. Он и теперь еще дымится, а когда смеркается, то по его огромному остову текут огненные потоки лавы, а из главного кратера то и дело вырывается вместе с дымом и огонь.

Из письма родным 22 июня 1889 г.

С. ГЛАГОЛЬ

1900

533

Грустное впечатление разрушения произвели на меня и развалины Помпеи... И там уцелели только обломки стен и колонн, а вся масса найденных статуй, мозаик, утвари и вообще всего, что представляло наибольший интерес, — все это давным-давно развезено оттуда по всему миру и наполняет бесчисленные музеи всех стран. При этом археологи исполнили свою задачу с таким совершенством, что и целые поколения завоевателей Рима едва ли могли бы сделать лучше. Только в одном доме Веттиев оставили руководители раскопок все на своем месте и, точно желая искупить все остальное расхищение, даже насадили в дворике этого дома цветы и провели в фонтаны воду, чтобы придать всему жилой вид, да в одном из лупанариев оставили еще в сохранности его неприличные фрески, рисующие во всей его неприглядности классический римский разврат... Теперь, говорят, какая-то американская компания собирается взять развалины на откуп и на их месте восстановить Помпею в том виде, какой она имела до злополучного извержения. Почему нужно возводить эти постройки на месте самой Помпеи, вместо того чтобы построить то же самое рядом, и почему нужно испортить последние

В. РОЗАНОВ

1901

остатки древних построек, заложив их массой новых кирпичей и камней и загородив их новыми статуями и стенами, это, конечно, вопрос, на который могут ответить только предприимчивые американцы и ведущие с ними переговоры неаполитанские власти. А впрочем, ведь такая обновленная Помпея будет приносить хороший доход. Из-за чего же церемониться?

С. Глаголь. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию.* М., 1900, с. 193-195.

Устроение жилища удивительно связано с нашей психологией. Оно и вытекает из нее; а раз уже остановилось и окрепло, в свою очередь, влияет на нее обратно... Психология моллюска, таскающего за собою раковину, независимо от прочих причин, должна единственно от этой причины быть совершенно иною, чем психология рыскающего по лесу волка. Человек всегда несколько похож на свой дом. По крайней мере, это столько же верно, как и то, что дом человека похож на своего хозяина... С этими мыслями я вошел в Помпеи, таинственный город, засыпанный заживо пеплом Везувия и в настоящее время открытый любопытством ученых. Я назвал его "таинственным", потому что считаю вполне таинственным весь древний античный мир, "засыпанный" гораздо глубже и гораздо сильнее "извержением", какое две тысячи лет назад началось из Галилеи и потянулось на запад... "Извержение" христианства до такой степени засыпало нас новыми чувствами, другими понятиями, оно родило вокруг нашего "я" такой организм, сквозь который ничего античного пробиться не может. Лава Везувия сожгла все живое в Помпеях. Языческое чувство, едва подходя к христианину, до такой же степени сжи-

гается в нем, что для физического созерцания остается только зола... Прежде всего их жизнь была более летняя, и душа их тоже была более летняя, чем наша. Я заметил, что греки и итальянцы все равно строят теперь себе жилища зимние, как в Петербурге и Лондоне... Душа стала массивною, тяжелою у христиан... Все стали бояться друг друга, не доверять. — “Мы все каемся; ну, так уже все равно, убьем — а потом покаемся”. Чувство трепета за себя и неуважения к другому, неуважения вообще к природе человеческой (“павшей”), неустранимо из христианина, и потребность хорошего замка, цепной собаки, постоянного национального войска и *magna charta libertatum* <великой хартии вольностей>, как обеспечения против разнообразных укусов соседа, стало психологическою нуждою, бытовою особенностью и задачей истории. Жилища в Помпеях имеют летнюю психологию, воздушную, доверчивую. “Если даже обокрадут, то уж лучше внезапно: не стану же я всю жизнь готовиться к этому”. В жилищах много воздуха. Свет шел сверху. На дворе в то же время собиралась дождевая вода, т. е. двор, крошечный и узкий, был введен внутрь дома как его органическая часть. Но главное — свет сверху. Не могу я

постигнуть неодолимой потребности христиан закрываться от прямого солнечного света, выражающейся в верхней драпировке окон. У нас, например, в Петербурге и без того свету мало, и этот ничтожный свет еще загорожен домами *vis-à-vis*; все это чувствуют, все ради этого стремятся в четвертый и пятый этаж; но даже и в первом этаже, и в бельэтаже, где свет в окно идет какой-то мутный, от земли, всю верхнюю половину окна заделывают гардинами, занавесками, полотняными, бесконечно пыльными тряпками, кружевами, тюлем; не хотят света от солнца, а хотят его отраженным или от земли, или от стены противоположного дома... Дома в Помпеях все невелики и для каждой семьи, с прислугой, был свой дом. Это черта независимости, это вытекает из независимости и, в свою очередь, поддерживает ее. Мы все — жильцы, т. е. странствующие особы, скорее “жмемся” на свете, чем живем на свете. Дом у нас — муравейник. Это всегда Ноев ковчег, но с крайним недружелюбием его жителей. Мы и страшно замкнуты, как Каин после убийства, и столь же страшно обусловлены, стеснены, зависимы. От кого я не завишу? В детях я завишу от педагога и гимназии, в семье и браке — от священника, в труде — от



департамента и конторы. Только когда я засыпаю, блаженно чувствую, что до утра отлетели все зависимости. Несмотря на то что цезари страшно сжали Рим, эта сжатость была более исторической, т. е. она более вошла в историю и описывается в истории, чем проникла в быт. В провинциях римских, в муниципиях, в маленьких городках и областях, как эти Помпеи, шла совершенно независимая жизнь, свободная, развернутая, хохочущая, веселая, дружелюбная и нимало не угнетенная императором. А не угнетал император, то, уж конечно, не угнетал ни педагог, ни гимназия, ни полицмейстер, ни “служба” в том тысячеголовом ее разветвлении, в каком мы ее знаем сейчас... Неприятную сторону наших комнат представляет их крайняя пестрота. Мы ее переиначиваем, делаем так и делаем иначе, и все остаемся недовольны, не замечая, что нам не нравится, в сущности, самая пестрота, а не способ запестрения. В Помпеях стенная живопись показывает высочайший цельный вкус. Вся стена — ярко-красная; это — огромное красное полотно, и в середине его — маленькая сценка, летящий Меркурий, охотящаяся Диана или мирная сцена из Одиссеи. Глаз не разбегается, внимание не дробится, оно ничего

не ищет, потому что все прямо перед собой находит. Или еще: стена вся черная — и среди ее живой цветок, желтое с пунцовым, белое с лиловым. Это сообщало комнатам удивительное единство плана и настроения. Из зданий меня занял один храм Аполлона, сейчас же по входе в Помпеи. Храм Аполлона!!! Я вошел в него пораженный, удивленный... это было кое-что, в останках, в обломках, но, однако, кое-что столь же живое, конкретное, как листок, зеленый и душистый, оторванный от неизвестного дерева и попавший вам в руки. Чтобы почувствовать контраст, я стал читать: “Да воскреснет Бог и расточатся врази Его” — любимую детскую мою молитву, которую бывало всегда торопливо читал в бане, когда няня или мать, мывшая меня, на 1/2 минуты выйдут в предбанник. По нашей домашней вере баня (единственное место, где никогда нет образа) исполнена нечистой силой, а нечистая сила особенно опасна для неразумных и неопытных детей, и, оставаясь один, я прямо испытывал ужас быть схваченным и куда-то унесенным, но верил всегда в несокрушимость “Да воскреснет Бог”. В храме Аполлона — с сохранившимся алтарем, жертвенником, омфалосом — я зачитал ее же. Славянизм и грецизм

М. ДОБУЖИНСКИЙ

1911

543

смешались, встретились. “А вот здесь стоял квадрант”, — сказал мне гид. — “Что?” — “Квадрант, солнечный круг, разделенный на градусы”. Это было перед алтарем, на боковом перистиле, сзади жреца и перед глазами народа. — “Боже! В самом деле, ведь Аполлон — не статуя, как мы привыкли его представлять себе, а — солнце, и до статуи красивого юноши, под которым почему-то подписано Аполлон, греки поздно дошли, и это уже был *décadence*, вырождение”... “Да, если солнце — только раскаленный докрасна камень, каким у нас в Костроме нагревают для бань воду, то, конечно, все это, и мрамор и колонны — ужасный вздор; но если есть животворящее солнце?.. Но есть ли?”

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления. Помпеи* // Среди художников. М., 1994, с. 100-106.

Мы избавились от гидов и одни ходим по улицам Помпей. К счастью, нет ни туристов, ни глупых экскурсий, и единственные живые существа, кроме нас, — зеленые быстрые ящерицы. Здесь их царство. Меня волнуют глубокие колеи от колес на необычайно крупных булыжниках мостовой — эти до странности реальные следы когда-то кипевшей жизни. Заходим в один восхитительный дом около *Porta Nola*, гуляем по садику “Дома актера”, заглядываем в “Дом с золотыми амурами”. В одном из домов — чудесная белая комната с зеленым и розовым легким узором, мозаичные полы, белые гермы и, как последний уцелевший трепет жизни, настойчивая и наивная эротика. Навещаем и маленький музей, где нет ничего любопытного, кроме слепков умерших помпейцев, собаки и скарба, найденного при раскопках. Так мы проходим весь город до *Porta Vesuvio* и кончаем свой день, отдыхая на мраморных плитах чудесного театра. Уже вечерет, и стоит необыкновенная тишина. Но раздается странный трубный звук. Это трубят в раковину — кончают раскопки в дальнем, не тронутом еще углу Помпей, город запирают, и мы уходим вместе с последними рабочими.

М. В. Добужинский. *Неаполь* // Воспоминания. М., 1987, с. 270-271.

П. МУРАТОВ

1910-е

544

У входа в Помпеи удивляет вечное стечение иностранцев, не зависящее ни от часа дня, ни от времени года. Нестройная жизнь гостиниц и ресторанов шумит у самых ворот переставшего существовать античного города. С конвульсивной поспешностью проводники предлагают свои услуги, а когда видишь старых и больных путешественников, садящихся на носилки, начинает казаться, что все эти собравшиеся здесь люди жаждут исцеления от каких-то недугов, обещанного им в стенах Помпей. Не обманчивым можно назвать это впечатление. Сто лет Помпей свидетельствуют о том могущественном желании прикоснуться к античному, которое скрывается где-то в душе современного человека. Едва ли разумно видеть в том одно любопытство. Скромность помпейских чудес давно уже успела бы разочаровать всех любопытных. Простота, правильность, единообразие господствуют на улицах Помпей... Чувство камня, одно из важнейших чувств античного существования, можно испытать на улицах Помпей с необычайной силой. И жар солнца также нигде не ощущается острее, чем на этих каменных улицах. Нынешние Помпеи почти лишены прохлады, но заботу о тени выдает каждая руина помпейского

дома, помпейского двора. Под этим безоблачным небом тень была неизменной спутницей дней античного человека, первым чудом мира, открывавшимся глазам античного ребенка. Она провела по своей полосе длинные прямые улицы, очертила овалы театров и квадраты перистилей, легла в каннелюрах колонн, нарисовала все подробности их антаблементов. Ее скользящая жизнь одна не отлетела и ныне от стен и уличных плит Помпей. Архитектурность помпейских жилищ слилась таким образом с воздушной игрой света и тени. В тени выступал природный синий или золотистый отлив камня, но он исчезал на солнце, растворяясь в сверкающей белизне кампанийского летнего полдня. Желание дать отдых глазам привело к раскраске стен и колонн внутри атриумов и перистилей. Улица, впрочем, осталась неокрашенной, и никакое резкое пятно цвета не гасило на ней блеск голубоватых далей. Помпеянин не медлил на улице, его жизнь вне дома протекала на обширных форумах, в театрах, в театрах. И важнее этой жизни, так определенно общественной, была для него замкнутая стенами домашняя жизнь. Любовь к дому строила Помпеи. Никогда после человек не располагал так заботы и радости су-

545

ществования по клеточкам своего жилища... Иногда кажется, что только благодаря стройному порядку домов и улиц, благодаря этой твердости всяческих форм Помпеи сохранились так хорошо под пеплом Везувия. Отрытая из-под земли античность не ослепила новых людей невиданными сокровищами. Она принесла с собой в мир лишь новое чувство отдыха, точно бывшая приветливость, бывшее гостеприимство украшенного помпейского дома действительно воскресли среди развалин. Один за другим обходит эти дома путешественник, не раз сожалея о бесчисленных предметах быта и остатках живописи, перенесенных в Неаполитанский музей. Долгое время наука странным образом довершала опустошение города, и только с недавних пор здесь стали оставлять все найденное на самом месте находки. Для верного понятия о помпейском доме достаточно видеть, благодаря этому, два больших дома, отрытых в течение последних пятнадцати лет, — дом Веттиев и дом “Amorini dorati <золотых амуров>”. Целые стены разнообразной и отлично сохранившейся живописи видны в доме Веттиев. Висящие маски, скульптурные фрагменты в перистиле “Amorini dorati” остаются одним из прекраснейших воспомина-

ний о Помпеях. Но главное место в ряду этих воспоминаний занимает живопись. Запоминается чаще всего ее фон — красный, черный или желтый, — обнаруживающий необычайную силу и чистоту цвета. Волшебными кажутся маленькие летящие фигурки на таком черном фоне в доме Веттиев. Здесь почти слышишь тонкое жужжание полета этих крошечных гениев помпейского воздуха... С возрастающим изумлением мы угадываем здесь в одно и то же время бедность и изысканность жизненного обихода, суровость и нежность нравов. Умение жить деятельно в строгой архитектуре улиц и площадей согласуется с умением отдыхать созерцательно среди цветов и маленьких деревьев своего перистила. Глубокая домашняя набожность, любовь к предкам и к детям сочетаются с бесстыдством эротических картин, с непристойной шуткой приапей. Не двойственным существом был вместивший все это античный человек. Двойным в сравнении с нашим был только его объем природных сил, и, может быть, в смутном чаянии столь щедрого дара стекаются иностранцы к воротам нынешних Помпей. Точно в самом ее солнце и воздухе еще остались искры древней живительной силы. В Помпеях долго не замечаешь

ПОЕЗДКА НА КАПРИ

В. ЯКОВЛЕВ

549

1847

усталости. Не утомляет зрелище их улиц, таких простых, прямых, разнообразных. Прекрасный вид открывался когда-то с верхних ступеней театра, с треугольного форума. В этой южной части города не без волнения увидит маленький храм Изиды тот, кто помнит историю Жерара де Нерваля. Драматическая религия Востока утвердилась в маленькой римской колонии, чтобы так странно соединиться с драматической судьбой одного поэта. Но это единственное место драмы в Помпеях. Здесь не кажется драмой даже катастрофическая гибель города. Он не был проклят, как Содом и Гоморра, и души его обитателей не были осуждены на адские муки. За городом, на улице Гробниц, есть одна гробница, построенная в виде полукруглой мраморной скамьи по прекрасному замыслу покоящейся там помпеянки Мамии. Немало путников, проходивших по большой дороге, отдыхало на этой скамье, ведя тихие беседы, поминая добрым словом умершую. Тень Мамии присутствовала тогда среди них, занимая одно из мест полукруглой скамьи, слушая их речи. Таких воздушных теней полны Помпеи, и сердце не раз обращает к ним благодарность, не раз грустит вместе с ними в их опустелом доме.

П. П. Муратов. *Помпеи* // Образы Италии. М., 1994, с. 324–326.)

Истомленный отравляющей негой Неаполя, я, как Тиверий, спешил удалиться на Капрею. Еще раз плыву по этому чудному Тирренскому морю. Латинский парус трепещет, как крыло подстреленной чайки; ленивый ветерок возлагает всю работу на бронзово-мускулистых четырех соррентийцев. Неаполитанский моряк на берегу ленив, любит понежиться на теплом черном песке, прослушать целый вечер импровизаторов; но на море, за веслом, эти гребцы деятельны, как черти, поют отрывки из своих национальных баркарол или шутят между собою с врожденным комизмом... Берег — это непрерывная, фантастически беспорядочная стена черных, желтых, красноватых, зеленоватых скал. Развалины башен, полуодетые ярко-зеленым плющом, чернеют на вершине утесов, точно орлиные гнезда... Капрея, издали казавшаяся античной галерой в открытом море, росла перед нами до колоссальных размеров. Мы уже могли



Пароход на Капри (фото начала XX в.).

восхищаться причудливыми очертаниями ее утесов, отличать яркую зелень виноградников от дымчатых листьев маслины... Краски, какими изображает Капрею Тацит, свойственны этому острову и поныне... Скалы, встающие из вод отвесными стенами, неприступны, как естественная цитадель. Пристани существуют только на двух пунктах. Группа каменных лачуг на берегу, десятка два лодок и несколько парусов составляли все богатство здешнего порта. Такие пристани у скалистых берегов называются в Италии *la marina*.

В. Д. Яковлев. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 81–83.

В. РОЗАНОВ

1901

Для того чтобы значительнейшую часть своего царствования провести на острове, представляющем в лучшем случае только место для постройки дворца и для небольших прогулок, — нужно, чтобы этот остров представлял собою что-нибудь действительно особенное. Таков Капри около Неаполя, куда удалился Тиверий, второй римский император, человек мизантропический, тонкий, пронизательный, рано внутренне утомленный той пассивно хитрой ролью, в которую толкнула его мать, игравшая в его начальной судьбе роль пружины часов... В восемь часов утра небольшой пароход, вроде неевского “Петергофа”, отходит ежедневно от пристани на *Via Partenope* к Капри, заходя по пути в Сорренто. Капри не дальше от Неаполя, или немного дальше, чем от Петербурга Кронштадт. Но Кронштадт из Петербурга не виден, а Капри весь виден, и как? Прекрасным голубоватым облачком, опрокинутым над горизонтом. В ярко солнечной синеве неба вырезана, точно из дымчатого топаза, изящная угловатая фигура, характерная, неподвижная, незабываемая для живших в Неаполе. Даль вовсе скрывает все подробности острова, и для неаполитанца в поле зрения стоит только его небесная выкройка. Вме-

сте с Везувием и заливом это и составляет красоту Неаполя. Но сам Неаполь шумен, грязен и неблагочестив; нужно из него выехать, и всего лучше поехать именно на Капри, чтобы оценить единственную в мире красоту этого пункта земного шара... Пароход долго не отчаливал, а вокруг его плавал итальянец. Он плавал, по крайней мере, час, — ловя мелкую медную монету, которую ему бросала с борта парохода публика. Монета падала на дно, схватить ее в воздухе пловцу было невозможно, и он нырял, поднимал со дна и показывал ее публике. Скоро подплыли к пароходу, стоявшему саженьях в 50 от берега, еще две небольшие лодки, и в них мальчики от восьми до шести лет пробовали плясать тарантеллу, тоже ожидая, что после этого кто-нибудь кинет им пять или десять centesimo (1/20 или 1/10 лиры, по-нашему 4 или 2 копейки). Пловец неумоимо балагурил и острил. Он не был уныл. В самом деле, плавать в воде все-таки не так трудно, как тесать камни или служить в ассенизации города. Мы видим в его способе пропитания унижение, но это потому, что его ремесло для зрителя ново, но ведь для него оно ежедневно и стародавнее, и он так же мало стесняется своих ныряний за пятаком, как показывающий

“Петрушку” мужик мало стесняется сообщества этого “Петрушки”... Пароход дал последний свисток, и как пловец, так и танцоры тарантеллы сбросили свои маски, т. е. попросту надели панталоны и превратились в сухопутных жителей. Мы пошли на Сорренто; дул ветерок, обыкновенный береговой бриз, усиливаемый ходом парохода, и было свежо. Красота Неаполитанского залива вся зависит от его формы и от цвета воды. Она имеет вид красивого изумруда, по которому около берега, в мелких местах и над подводными камнями плавают бирюзовые большие пятна. Но последние редки. Основной фон воды — изумительно мягкий изумруд, и если смотреть с носа парохода вперед, навстречу солнечному лучу, то последний, преломляясь в гранях зыби, дает капли-бриллианты по нескончаемому лазурному полю. От всего этого нельзя оторвать глаз... В Сорренто, не подходя к берегу, пароход высадил и принял пассажиров и багаж и повернул на Капри. “На Капри! Вот — Капри!” И сердце историка не могло не волноваться. Отвлеченные очертания острова стали разрешаться в подробности; география уступила место картине. Чем ближе мы подошли, тем очевиднее становилось, что остров собственно

огромный, и если из Неаполя он кажется картинкой, то на самом деле это хоть и крошечная, но все-таки страна. Это нисколько не место для дворца, он даже велик для Петербурга, в нем возможны поездки, и притом какие нельзя начать и кончить в один день. Словом — это оригинальная и замкнутая в себе местность, представляющая в микроскопе все элементы солнечной южной и вместе приморской жизни. Причуда Тиверия становилась понятна. “Рим (империя) — обширный сарай, в котором хозяину со вкусом нужно выбрать уютный себе уголок!” То чувство психологического облегчения и лучшей независимости, которое после огромного Неаполя я испытал, выйдя на узенькую полоску миниатюрного залива в Капри, это же чувство мог испытывать и мог его искать Тиверий... Скалы Капри прямо падают в море. Глубина тут должна быть огромная, потому что прямо из моря скалы взбегают кверху на страшную, головокружительную высоту. Море слегка волнуется около берега. Какой гром тут должен получаться во время волнения! Вальпургиева ночь; или — ночь Тиверия, может быть, более страшная и фантастичная, чем вымыслы сказок. Но теперь море было совершенно тихо, оно только как-

то дышало, без волн подымаясь и опускаясь всею своею тяжелою массою. Это было видно по лодкам, которые никак не могли устанавливаться около трапа; гладь вод именно дышала, и на дышащей груди скорлупа-лодочка аршина на два поднималась и аршина на два опускалась, трап — среди совершенной тишины то погружался ступенями в воду, то висел этими ступенями в воздухе... Но уже публика скакала в лодки, грузно, удачно и неудачно, падая или удерживаясь, по временам ушибаясь... Но как только прыжок делался удачно, моментально принужденная улыбка заменялась счастливейшею, все настроение духа пассажира менялось и он кричал лодочнику: “Avanti! Avanti!” Через минуту из полукислых, полувстревоженных пассажиров перешел в счастливый разряд и я.

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления. Капри* // Среди художников. М., 1994, с. 87–91.

М. ГОРЬКИЙ

1906

556

Капри — кусок крошечный, но вкусный. Вообще здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься... Неаполитанский залив — и особенно Капри — красивее и глубже любви и женщин. В любви узнаешь все сразу — здесь едва ли возможно узнать все... У меня в голове веселый черт танцует тарантеллу, и я пьян — без вина...

Письмо Л. Н. Андрееву 5 ноября 1906 г.

Справа: Пароход на Капри (фото начала хх в.).

В. БУНИНА - МУРОМЦЕВА

1909

557

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И действительно, не знали, куда глядеть: на Везувий ли, грозно



ЛАЗУРНЫЙ ГРОТ

559

царивший над беззаботными неаполитанцами; на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие и манящие Абруцкие горы или на выступающий из воды остров Искья с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви опростившийся Ламартин... Остановки, крики, итальянские лица со сверкающими глазами и зубами. Вот и Сорренто, показавшийся нам тесным; отвесный берег с виллами, отелями, садами. А минут через двадцать и Капри. Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть на лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней. Капри и для нас оказался островом, и островом сказочным, — он не соединен ни с прошлыми, ни тем более с последующими событиями нашей жизни. Очутились мы на нем в одну из таких счастливых весен, во всяком случае моих.

В. Н. БУНИНА-МУРОМЦЕВА. *Беседы с памятью* // Литературное наследство. Т. 84, вып. 2. М., 1973, с. 209.

Н. ГОГОЛЬ

1838

На днях я сделал маленькую поездку по морю, на большой лодке, к некоторым островам, и между прочим посетил знаменитый голубой грот на острове Капри. Мы въехали в дыру, прорытую в скале, никак не шире узенькой лодки. Въехали мы туда на лодочках, нагнувши свои головы, и очутились вдруг под огромным и широким сводом. Все пространство под этим сводом было покрыто лодками. Темнота порядочная, но воды ярко голубые и казались освещенными снизу каким-то голубым огнем. Эффект был удивительный. Несколько плавающих и кричащих моряков и лазарони (так называются обитатели Неаполя, народ, который лежит нагишом весь день на улице и, лежа, глотает макароны длины непомерной) оживляли эту картину.

Письмо матери 30 июля 1838 г.

В. ЯКОВЛЕВ

1847

560

Все утро просидел я в тени моей пальмы, читая любопытную хронику Гая Светония Транквилла. Наконец, маленький Гаэтано прибежал напомнить мне, что до полудня остается не больше двух часов времени — это самая благоприятная пора для посещения Лазурного грота... Я спустился к пристани и бедным жилищам капрейских моряков. Некоторые из этих кудрявых молодцов, сидя в лодке, прилежно удили свой обед; другие, вероятно удовольствовавшиеся щепоткой макарон, сладко спали на песке... Шумные группы моряков атаковали меня с обоих флангов: все это привилегированные чичероне Лазурного грота. Для одной моей особы предлагалось, круглым счетом, лодок десять. Когда же я избрал только одну из этих плоскодонных лодочек, приспособленных к тесному входу в морскую пещеру, — отвергнутые баркаролы стали решительно утверждать, что попасть в грот сегодня нет ни малейшей возможности... Несмотря ни на что, мой баркарол, сильный надеждой на четыре карлина, геройски вынес общую оппозицию, — сдвинул с прибрежных валунов свою лодку и, стоя по колено в воде, подставил скамью, по которой мне следовало пробежать, улучив момент, как скоро волны отхлынут от

берега. Пльвем. Моряки с берега провожают нас злобными восклицаниями. Мы скользим у подножия скалистых громад, отвесно встающих из воды на страшную высоту. Волны, с ритмическим гулом разбивающиеся об эти неприступные стены, меняют свой колер беспрерывно: то заблещут зеленью, то лазурью, и песок на дне нальется голубым; то отражая в себе желтые утесы, волны раскидываются полосатой тигровой шкурой. Выходим из-под тени скал, — солнце рассыпает по морю свои ослепительные, кричащие искры. Без малого полчаса лодка плясала вдоль этих негостеприимных утесов. Наконец, моряк возгласил победным тоном: “Ecco la grotta, signore!” И гребец указал мне в перпендикулярной стене утесов черноватую лазейку, похожую на верхушку стрелчатой двери, полузатопленной морем... Море еще не успело успокоиться после ночной бури. С львиным рычаньем волны осаждали незыблемые основания каменных громад и поминутно закрывали заповедную лазейку. — “Теперь, эччеленца, ложитесь”. — По этой команде, я поспешно убрался на днище лодки, под поперечные скамьи.... Широкий вал двинул нас к гроту, но моряк не успел дать лодке надлежащее направление...

561

Меня окатило теплой соленой водою, лодку ударило о скалу, и если она не разбилась вдребезги, то единственно потому, что моряк принял значительную часть удара на свой череп. Я приподнялся с затопленного дна лодки и с большим трудом поместился на корме, расположив ноги по бортам. Ошеломленный моряк принялся выкачивать из лодки воду, меж тем как весла его уплывали... Моряк мой плакал как ребенок, но не от боли, а из опасения, чтоб я не пожаловался на него в полиции, которая здесь бережет иностранца пуще своего глаза... Мы возвратились на пристань... Расположившись отдохнуть на берегу, посреди сушившихся сетей и одежды рыболовов, я глядел на море, как глядят на изменившую, но все еще обожаемую красавицу, — с досадой и с любовью... Я возвратился в мою очаровательную локанду... Вечером, наедине, доброе сердце прислужницы не дозволило ей умолчать насчет того обстоятельства, что нередко приходится прогостить здесь недели две и все-таки не попасть ни разу в Лазурный грот. Я ждал этой вожделенной минуты не более четырех дней... Наконец, в одно божественное утро усердные моряки разбудили меня порядочно рано с радостной вестью, что Лазурный грот



У входа в Лазурный грот (фото начала XX в.).

сегодня к моим услугам. — “Il vento e candidato! Ветер переменял свое направление”. — На этот раз море чуть дышало у тесного входа в Лазурный грот. Я покойно лег в лодку, зажмурив глаза от удовольствия. Теплые волны обняли лодку и нежно двинули нас под узкий свод утесов. Когда я открыл глаза, мы были уже в новом мире. Земной мир, с его красками и оттенками, исчез. Здесь

царствовал один цвет — голубой. Лодка моя волшеббно катилась по этому гладкому, кристальному озеру, затаенному внутри горы. Высокие стены, великолепный купол сооружен из груды скал и покрыт причудливыми арабесками сталактитов. Сноп дневного света вторгается в единственное отверстие со стороны моря и, проникая сквозь волны, как сквозь призму, окрашивает все лазурью. Скалистые стены, прозрачная вода, песок на дне и сталактиты на сводах — всё здесь небесно-голубого цвета. Эта синева так нежна, что кажется, как будто на все наброшена дымка серебристого газа. Не это ли сапфирная раковина неаполитанской сирены?... При каждом ударе весла на поверхность воды выбегали мириады серебристых пузырьков; каждая капля, упавшая вглубь, казалась жемчужным зерном. В этом волшебном тереме ни лодка, ни человеческие фигуры не отбрасывают от себя тени... Этот единственный в мире грот напоминает о тех подводных теремах, где, по воле поэтов, обитают морские нимфы, убирающие свои зеленые косы водяными растениями и перлами. Здесь видна далее площадка, где должно быть место для трона сладострастной богини, избравшей это очарованное озеро своей купаль-

ней. Но до сих пор живописцы, пытавшиеся изобразить этот прелестный феномен на полотне, слишком неумеренно тратили лазурь. Лазурный грот не исключительно лазурен. Своды являются зеленоватыми, как будто на них падает свет лампы, проникающий сквозь сосуд с жидкостью купороса. Если долго и внимательно всматриваться, опрокинутые пирамиды сталактитов кажутся почти красноватыми, а задняя часть грота принимает бледный мутно-розовый оттенок.

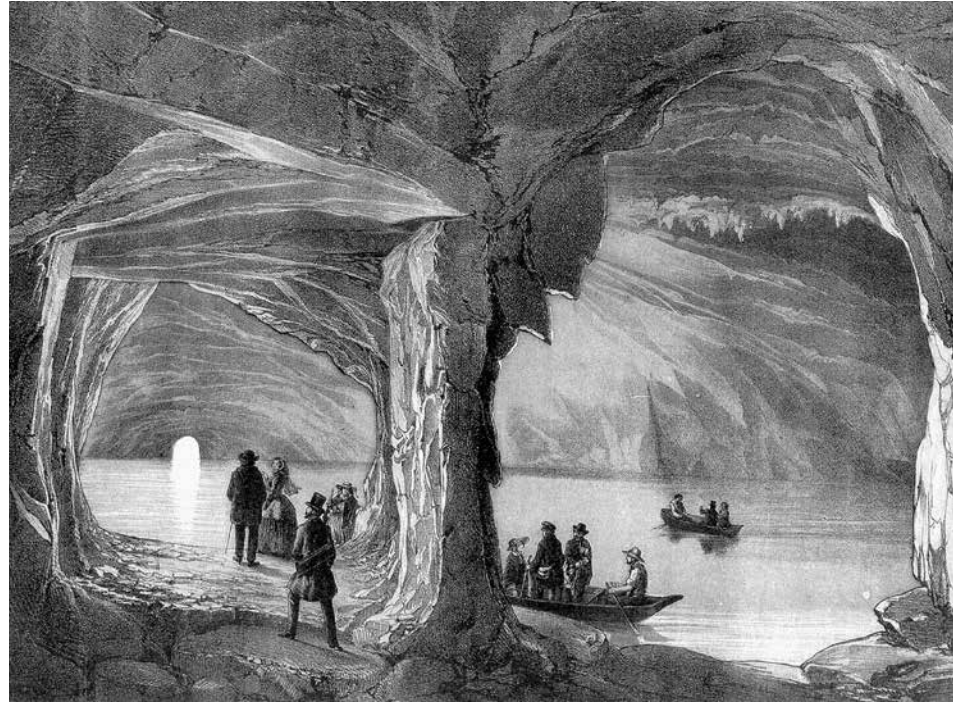
В. Д. ЯКОВЛЕВ. *Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* (1847). СПб., 1855, с. 100-110.

С. ГЛАГОЛЬ

1900

566

Но вот и Капри, и голубой грот. Осмотр его доведен до необычайной простоты. Вокруг парохода десятка два лодок. Торопливо пароход ссаживает на каждую лодку по два-три пассажира, лодка приближается к отвесной скале и крошечному в ней окошечку, не выше двух аршин над водою, и очень ловко ныряет в это отверстие. За первой лодкой — вторая, третья и так вся флотилия. Но впечатление в гроте действительно необыкновенное, совсем какое-то фееричное и сразу переносящее вас точно на сцену какого-то удивительного театра. Грот точно освещен сильным голубым бенгальскими огнем, зажженным где-то там, на дне моря... На фоне скал, точно затянутых голубоватым туманом, лодка и фигуры гребцов кажутся почти черным силуэтом, а под ними точно не вода, а какой-то расплавленный самосветящийся сапфир. Но повернитесь в другую сторону и смотрите от входа в глубь грота, и перед вами новый эффект. Стены грота почти черные, и на фоне их лишь с трудом различаешь контуры лодки и сероватые пятна дамских соломенных шляп и белых костюмов. Внизу вода густого синего цвета, точно синие чернила, но зато все, погруженное в воду, — киль лодки, лопасть весла, шаловливая



Путешественники в Лазурном гроте (литография 1840-х гг.).

дамская ручка или стрелой проносящаяся рыбка, — все это, отражая от своей поверхности свет, пронизывающий воду, искрится серебром и горит каким-то странным фосфорическим блеском.

С. Глаголь. *На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, Рим и Венецию.* М., 1900, с. 184–186.

В. РОЗАНОВ

1901

568

Но куда же мы плывем и что такое делается вообще?... Кормщик быстро греб и направлял нас к каменной стене Капри; оказалось, что в одном месте ее углов, зубцов и выступов есть совершенно невидимое с парохода отверстие, похожее на устье русской деревенской кухонной печи, едва ли выше его и только шире. “Пожалуйста, лягте, лягте совсем на дно лодки и не поднимайте головы”. В ту же секунду, сняв весла, он положил их внутрь лодки и сам тоже лег в корме ее лицом вверх; на момент сделалось темнее, совсем темно, послышался шум, лодочник схватился руками за какую-то веревку, и лодка, прежде плывшая, пошла теперь по этой веревке, немилосердно стучаясь одним боком о камень. Возня и темнота продолжалась около 2–3 минут. “Кончено. Встаньте. Встаньте, и садитесь на скамейку, и смотрите”, — сказал итальянец. Мы были в Лазоревом гроте. Стена Капри в этом месте выбегает из моря вертикально на огромную высь, но над самую воду и в воде в ней есть как бы дупло орешка или, еще лучше, отверстие осинового гнезда, в которое мы и вплыли. Оно до того мало, что пассажиры лодки нужно лечь на дно и не высовывать головы, иначе он разобьется или, по крайней мере, ушибется

больно о гранитные зубцы потолка этой щели. Мало этого, так как вода залива в самую тихую погоду здесь опускается и подымается, но, к счастью, медленными и сильными подъемами, то горлышко грота совершенно наполняется водою, или почти совершенно, то дает просвет немного более толщины лодки величиною. В эту-то минуту, когда вода опустилась, лодочник хватается за протянутый около стены канат и, быстро перебирая руками, перетягивает лодку на ту сторону горла. Там, где оно кончилось, начинается каменная грудь, большой выем, пещера, легкие залы, что угодно — самого фантастического и прекрасного вида, какой можно себе представить... Твердые контуры чего бы то ни было устранены (недостаток света), все мягко, ибо все неясно. От этой неясности все воздушно, облакообразно. Вода, лодка, пещера, потолок не разделяются один от другого, потеряли границу, как птицы, реющие в облаке, как бы несут на крыльях клоки тумана и сами делаются похожи на части облака. Так здесь — лазурь и в ней тени, тень вашего спутника в лодке, тень — вы, тень — другие лодки... Была ночь, ибо дневной свет (наружный) был совершенно отрезан и уничтожен; пещера светилась своим светом, ис-

569

М. ГОРЬКИЙ

1906

ходящим из ее стен, из ее потолка, но особенно из воды... Таким образом, не только предметы потеряли тяжесть, стали воздушными, но, казалось, они получили способность светить, фосфоресцировать, лить из себя лучи. И какие это были лучи! Грот сверкал и переливался лазурью... “Если бы здесь остаться. Еще лучше — жить!”

В. В. Розанов. *Итальянские впечатления. Помпеи* (1901) // Среди художников. М., 1994, с. 91–93.

Голубой грот. Это воистину сказка, но ее часто рассказывают глупцы и пошляки, а потому она не очень увлекает. Но здесь есть Зеленый грот, и это изваянная музыка Грига...

Письмо Л. Н. Андрееву 5 ноября 1906 г.

М. ОСОРГИН

1910-е

572

С рыбаком Чечилло, презируя бурю, мы поехали в последний раз взглянуть, как заливают море знаменитый Голубой грот... Сквозь узкую, на минуту открывшуюся щель мы проникли внутрь грота. И влились в волшебную лазурь, и вспоминали, как годом раньше, в компании еще пары любопытных, едва не оплатили ценой жизни дерзкое желание видеть грот в большую бурю. Море не приняло нас и вернуло земле. Чечилло героически спасал нас — и спас. А может быть, всех нас спасла раскрашенная Мадонна на скале над гротом. Мадонна стоит над входом в грот, в углубленной нише высочайшей отвесной скалы. Насколько помню — она раскрашена; отчетливо же помню только желтые полукруги под ее глазами. Когда я вынырнул из воронки воды, затянувшей меня до дна, и поймал скользившее по волнам весло, Мадонна смотрела с испугом и вся склонилась над морем... Но когда, годом позже, я ласково и благодарно посмотрел на раскрашенную и попорченную непросыхающей соленой влагой куклу, она притворилась, что никогда не оживала и что глаза ее всегда были тупы и безучастны. Чечилло, как моряк, — искренний католик; и я не осмелился поделиться с ним мыслью: “Божество делается божеством тогда, когда мы его очеловечиваем”...

М. Осоргин. *Saprenze <Каприйское>* // Сивцев Вражек. М., 1999, с. 347–350.)

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАРА-МУРЗА родился в 1956 г. в Москве. Доктор философских наук, профессор, заведующий сектором философии российской истории Института философии Российской академии наук, заведующий кафедрой политологии Российского государственного университета гуманитарных наук. Специалист в области истории русской философской и политической мысли XVIII–XX вв. Главная тема исследований — “Россия и Европа”, история российского европеизма и либерально-демократического реформаторства в России. Автор около тридцати монографий (“Реформатор. Русские о Петре I”, “Новое варварство как проблема российской цивилизации”, “Между Евразией и Азией”, “Как возможна Россия?” “Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях” и др.) и более двухсот научных и публицистических статей. Неоднократно бывал в научных командировках в Италии.

А. А. КАРА-МУРЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКИЕ О НЕАПОЛЕ



Директор издательства ОЛЬГА МОРОЗОВА

Редактор АЛЛА ХЕМЛИН

Корректор АННА ЧЕРНИЙ

Художественное оформление, макет и верстка

ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ

Подписано в печать **XX.XX.2015**

Бумага офсетная

Печать офсетная

Формат 84 x 108/32

Гарнитура Greta

Тираж 3000 экз

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

103001, Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1

e-mail: morozovabooks@Yandex.ru

По вопросам закупки книг обращаться:

e-mail: vertgal@yandex.ru

ООО "Книжный Дом Учкнига"

e-mail: dom_evg@omega-L.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в ОАО "Первая образцовая типография",
филиал, "Дом печати-ВЯТКА"

610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122